

ВИТАУТАС
СИРИОС-ГИРА



РАЙ КРАСНОГО
ДЕРЕВА





ВИТАУТАС
СИРИОС-
ГИРА

РАЙ
КРАСНОГО
ДЕРЕВА

ВИТАУТАС
СИРИОС-
ГИРА

РАЙ
КРАСНОГО
ДЕРЕВА

Перевел с литовского
БАНГУОЛИС БАЛАШЯВИЧЮС



ВИЛЬНЮС
1977

Vytautas Sirijos Gira
RAUDONMEDŽIO ROJUS
„Vaga“, 1972

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВИКТЕ

I

Вызвав по телефону такси, я добрался до вильнюсского аэропорта задолго до восьми; в этот утренний час не только не было жарко, хотя лето еще не кончилось, но под легкой одеждой зябла кожа. Выросшие поблизости жилые массивы, наверное, мешали ветру прорваться в центр города, а вот здесь, на просторах полей, он гулял без помех. Мимо здания аэропорта в сторону города катились автобусы с цыганами, которые, сменив образ существования, жили неподалеку уже не в шатрах или, вернее сказать, крытых повозках, а в обыкновенных домах с литовскими холодильниками и коврами, вытканными на Лентварской фабрике и призванными заменить им лесной мох или зеленую лужайку; из города же к аэропорту ехали не цыгане, а командировочные, все еще пахнувшие мылом и лосьоном после бритья, а может, тройным одеколоном «Янтарь» рижского производства — пятьдесят две копейки флакончик.

От меня не пахло одеколоном «Янтарь» — в спешке забыл побриться, — зато в кармане лежали янтарные запонки — один из сувениров, припасенных для улетающего друга. А друга, как мне казалось, я должен был застать в зале для иностранцев, где вежливые таможенники проверяют паспорта, испещренные записями едва ли не на всех языках мира и жирными печатями с гербами чуть ли не всех стран мира, если иностранец богат и половину своей жизни проводит в

перелетах (уже не в переносном, а в прямом смысле) из города в город, от океана к океану.

Я малость опоздал и вышел на площадку перед аэропортом, решив, что мой друг сейчас сидит под опекой улыбчивых пограничников, а может, таможенники проверяют его чемодан (если там есть что-то «подлежащее обложению пошлиной»), или не проверяют, поскольку таможенники могут работать иллюзионистами в цирке — не теми, что достают из рукава четырех живых голубей, хотя секунду назад рукав был пуст, а ясновидцами; когда-то в Антакальнисе один из таких ясновидящих циркачей назвал номер моего троллейбусного билета, окончательно заставив меня уверовать в феномен парапсихологии.

Вдали, на зеленом летнем поле, ветер взметал клубы пыли, хотя там были лишь коротко постриженная трава и бетонные взлетные полосы, отнюдь не склонные пылиться. Из желтой цистерны, напоминающей положенную набок банку горчицы с этикеткой канареечного цвета, что-то качали в резервуары самолета (возможно, термин и не тот, но я всегда был далек от авиации), другой автовоз тащил самолет к бетонной стартовой полосе, а добрый десяток крылатых ящиков самых разных конструкций блесстел на утреннем солнце — одни из них безмолвствовали, а другие тупели от собственного рева. Громкоговорители сообщили о прибытии самолета из Клайпеды. Неказистый аппарат собирался отбыть в Рокишкис — об этом я тоже узнал из динамиков. Стайка пассажиров, среди них мама с дочуркой лет пяти, уже шагали к этому самолету, дочурка почему-то всхлипывала, а мама с нетерпением, пожалуй, даже сердито дергала ее за рукав.

Я отвернулся от этой сцены, и сразу же увидел своего друга, в толпе пассажиров шагающего от здания к зеленому полю.

Не заметив в этой толпе ни одного таможенника или пограничника, я вдруг догадался, что их и не должно быть: мой друг летел не прямо в Нью-Йорк — предстояла пересадка в Ленинграде. Какие же таможенники на внутренних линиях?!

— Чарли! — крикнул я. — Я опоздал! Что ж, надеюсь, любезная стюардесса разрешит тебе остановиться и попрощаться со мной.

Любезная стюардесса улыбнулась:

— На минутку.

И, как бы поддакнув ей, оглушительно взревел самолет, стоящий рядом с оградой, тот самый, в резервуары которого продолговатая горчичная банка недавно качала горючее. А сама цистерна, на четырех, нет, шести колесах, сделав свое дело, уже маячила на другом конце аэродрома: видно, поехала наполнять свою ненасытную утробу горючим или смазкой.

С Чарли обниматься мы не стали, хотя иногда я подумывал, что это был мой лучший друг — если не сейчас, то тридцать с лишним лет назад, когда мы расстались. А копнув поглубже, пожалуй, признал бы, что это — и один из величайших мерзавцев, каких мне довелось встретить в жизни. Так или сяк, седеющим мужчинам обниматься не к лицу, тем более если один из них — иностранец, представляющий страну, в которой рукопожатие считают музейным пережитком. Мы улыбнулись, хотя и без веселья — не знали ведь, суждено ли нам еще встретиться. И не потому, что чувствовали потребность в этой встрече; нас обоих страшил бег времени. Словом, улыбались, показывая зубы, но наши взгляды были серьезны, или сосредоточены, что, в конце концов (хотя бы в портах и на вокзалах), одно и то же.

— В Ленинграде проведу одни сутки, — сказал Чарли. Это он говорил еще вчера, в ресторане «Жирмунай», где мы прощались по существу, призвав на помощь изумительную «Охотничью» настойку, а сейчас друг повторялся, но разве мог я прервать его («Чарли, скажи что-нибудь еще»)? — Затем Хельсинки. Полсуток. Послезавтра вечером буду в Нью-Йорке.

— Вчера уже говорил, — все-таки не удержался я. — Писать будешь?

— Постараюсь.

Конечно, мы оба понимали, что это — неправда. Но вежливость часто вынуждает нас лгать.

Стюардесса обернулась на зеленой лужайке и энергично взмахнула рукой. Трап уже подъехал к черной дыре в боку самолета, в которой вскоре исчезнут все пассажиры.

— Кстати, тут для тебя янтарные запонки.— Я порылся в карманах.— А тут бумажник с Тракайским замком.

— Да что ты,— сказал Чарли,— что ты.— Он сунул сувениры в карман.— Ну, я побежал.

Мы даже рук друг другу не пожали,— стюардесса взмахнула еще энергичней.

Я стоял, облокотившись на ограду, глядя, как мой друг, обернувшись, махнул с трапа рукой; потом мне показалось, что за иллюминатором мелькнули его роговые, с золотом очки. Может, оно так и было, хотя расстояние слишком велико для моих близоруких глаз. Я продолжал стоять, когда тягач повез самолет на взлетную полосу. Потом лайнер, уже на собственной тяге, медленно побежал, исподволь наращивая скорость, растворился в зелени поля и через некоторое время мелькнул над нашими головами как блестящая игрушка над большой витриной «детского мира», а грохот достиг ушей лишь когда на месте самолета остался облачно-белесый след.

А я сел на скамейку и погрузился в собственную пустоту. Нельзя сказать, что ни о чем не думал тогда, просто мысли были какие-то нелогичные, бессвязные — как во сне. Мне даже почудилось, что я вижу воочию, как мой настоящий или мнимый друг, удалившийся на столько-то километров, достает свежие номера «Тесы» и «Москоу ньюс» и начинает листать их. Читает заголовки, потом объявления, как будто он может спуститься с небес и оказаться на экспозиции молодых графиков в Выставочном дворце, или на постановке «Миндаугаса» в Академическом драмтеатре, наверстав то, что не успел сделать за свой короткий приезд. А может, просто не захотел: искусство никогда не привлекало Чарли.

Сколько я сидел на скамейке! Ладно, это не имеет значения. Даже эту фразу я записал здесь как рито-

рический вопрос. Время имеет значение для того, кто торопится на самолет, на встречу с новыми городами, людьми и восковыми манекенами в окнах магазинов. А для тех, кто смотрит назад, часов никто не изготавливает; секунды прошлого уже пересчитаны, они со скоростью света уносятся к далеким галактикам. Правда, улетаая, они продолжают существовать в нашей памяти. Но мчится ли память со скоростью света?

Об этом ли думал человек без часов в солнечном аэропорту среди торопящихся фигур с часами на запястьях и в жилетных карманах? Женский голос объявлял все новые номера рейсов, все новые часы и минуты, которые еще не летели к галактикам, а метались между кухней ресторана, в которой жарились ненастоящие (свиные) шашлыки для пилотов и пассажиров, и окошком почты с зевающей девицей, и дверью туалета, за которой уборщица вешала туалетную бумагу производства Григишкского комбината.

Бывает иногда, что человек видит себя как бы со стороны. Может, атмосферные условия виноваты (ветер угомонился, кожа уже не зябла, наоборот, тело изнывало от зноя, хотя солнце еще только близилось к зениту), а может, почти шоковое состояние (улетаая, Чарли окончательно оторвал частицу моего прошлого, тем самым изувечив меня), но я увидел себя чужими глазами. Мираж в вильнюсском аэропорту! Конечно, он отличался от иллюстраций в учебниках географии, не было здесь ни пальм, ни верблюдов. Зато из прошлого вынырнула пристань в Каунасе, пароход с большими лопастями, а на палубе парохода появился я со своей семьей и Чарли со своей; правда, Чарли тогда еще звали Казисом. На этом пароходе и началось наше знакомство, которое, пожалуй, оборвалось сегодня в аэропорту; а может, наоборот, может, сегодня снова сплелись оборванные нити? В сущности, какое это имеет значение...

Самолеты садились и взлетали. Высота девять километров, скорость девятьсот километров в час; через час — Ленинград; я за такое же время доберусь до дома. А ведь подожди я следующего рейса, я бы еще

застал своего друга в ленинградской гостинице «Астория», где он к тому времени закажет обед за чеки «Интуриста» и примется за добротный советский шницель, поглядывая на купол Исаакиевского собора. И, застав своего друга, я сказал бы ему: «Вот что, мой приятель, ты гость из-за границы, поэтому я и подарил тебе янтарные запонки вместо того, чтобы отвесить пощечину; да, мы, советские люди, гостей не трогаем. Но, даже очутившись в Нью-Йорке, я не смог бы ответить тебе этой пощечины — советскому туристу не рекомендуется драться. И по этой же причине я не могу сказать, что считаю тебя гнусным мерзавцем, о чем ты, человек трезвый, возможно, догадываешься и сам...»

Так размышляя, а иногда даже видя в лицах наш разговор в ленинградской «Астории», я сидел в автобусе, который то спускался с холма, то снова взбирался вверх, приближаясь к центру города, пока меня не осенило, что вся жизнь Чарли тоже могла быть миражем и что это не он делал подлости, а его второе «я», взирающее на себя со стороны. Раз уж в вильнюсском аэропорту я в какой-то миг увидел себя со стороны, то почему нечто подобное не могло случиться с Чарли? Разве вся его жизнь — не мираж? И где же начал мерещиться ему этот мираж — среди нью-йоркских небоскребов или в Каунасе, в котором пробежала его ранняя юность?

II

Моя юность тоже пробежала в Каунасе.

Если, начав рассказ о Чарли, я заговорил о себе, то это не из-за эгоцентризма. Изолированным может быть только сердце лягушки, которое, положенное на чашку в физиологической лаборатории, иллюстрирует закон «все или ничего». Да изолировано ли вообще что-нибудь в мире? Тем более не изолировано человеческое «я». Даже у химических формул со сложными цепочками молекул меньше вероятных вариантов, чем у человеческих судеб.

И все-таки, очутившись в Каунасе, я не сразу встретил Чарли. В тот час, когда, переступив демаркационную линию между буржуазной Литвой и Польшей, я катил на телеге к ближайшей железнодорожной станции, Чарли, такой же малыш, как я, еще не садился на пароход в Нью-Йорке и, покачиваясь на исполинских волнах, не приближался к берегам Европы. Обойдем нам тогда было по восемь лет, и мы сидели на мягких коленях своих матерей, не подозревая, какой жестокой окажется жизнь.

На меня, приехавшего из Вильнюса, Каунас произвел тогда своеобразное впечатление. Диковинные трамваи, запряженные лошадьми; галдящие и зазывающие пассажиров извозчики на просторной привокзальной площади; деревянные обветшалые дома, обступившие улицу, по которой мы ехали в город. (Позднее эта улица изменилась — рядом с ветхими домишками, слегка подкрашенными и подремонтированными, появились красивые трехэтажные дома; угловой, ближайший к вокзалу, вырос до четырех этажей, с рестораном внизу и борделем — конечно, нелегальным — наверху; да и в деревянных домишках, в которых обосновались небольшие гостиницы, жрицы любви за сходную цену принимали искренние вздохи мужчин, награждая взамен поддельными ласками и подлинным сифилисом.)

Как сейчас помню первый вечер в Каунасе, хотя с той поры минуло больше пятидесяти лет! Маленькая гостиница на улице Майрониса и чайные ложечки, чем-то провонявшие — даже сейчас слышу этот запах, и приторный чай, пропитанный им, и озабоченные родители, и моя сестра, которая пила чай, не чувствуя этой вони. И в то же время успокоенность, что не раздастся пулеметная очередь, не посыпится со стен штукатурка, не зазвонят выбитые окна, — все эти звуки врезались в сознание ребенка, потому что наш дом в Вильнюсе во время уличных боев находился в центре перестрелки.

Таким запомнился Каунас в самый первый вечер — спокойный, провонявший скверным чаем, а потом безмятежный сон на железной койке.

Чарли появился позднее, года через два. Можно себе представить, как потрясли прибывшего из Нью-Йорка юного американца деревянные тротуары главной улицы и трамвай на конной тяге! Тем более, что он поселился на той же самой, тогда еще убогой, улице Майрониса. Помню большой двор, захламленный деревянными ящиками от пианино; наверное, по соседству был магазин музыкальных инструментов. Квартира на втором этаже с балконом, выходящим в садик; а в этом садике — летний ресторан с отдельными павильонами для осторожных парочек, со столиками под зонтами на свежем воздухе для клиентов, не боющихся огласки, и с эстрадой, на которой творились чудеса. На этом балконе Чарли с друзьями проводил почти все летние вечера, и в числе этих друзей был, конечно, я. Чарли мы звали Казисом — этим именем его, наверно, и крестили, — понятие «Чарли», как я уже упоминал, появилось гораздо позже.

На сцене жонглировали актеры итальянского цирка «Труцци», в воздухе мелькали тарелки, шары, палочки, вылетая из рук волшебниц и возвращаясь обратно. Казалось, не две, а целых двенадцать рук подбрасывали в воздух эти вещи, а волшебницы были прекрасны — даже с далекого балкона мы видели их черные подкрашенные глаза. Обтянутые блестящим трико их тела вызывали непонятную еще тревогу (нам с Казисом было по десять лет). Или женщины-борцы, — тоже трико и красивые лица, и эти женщины безжалостно бросали друг дружку через голову, били сплетенными ладонями соперницу пониже затылка, а сидящая тут же за столиками и уплетающая жареного гуся публика не жалела аплодисментов. А чародеи черной магии, огромной пилой перепиливающие свою затиснутую в ящик ассистентку! И когда вот-вот должна была ступить на сцену полиция, чтобы арестовать убийцу, перепиленная красotka целым-целехонька выбегала из-за кулис и изящными реверансами благодарила жующих и пьющих зрителей за овации. После таких номеров тускнел Вильгельм Телль, стреляющий в яблоко на голове мальчика (хотя, судя по пропорциям, это

была переодетая девушка), или выстрелом гасящий свечу, которую держала рука, прижатая к выпирающей груди. Даже ножи, вонзающиеся в доску, не вызывали трепета — вот нож летит, вонзается у бедра девушки, дрожит и замирает. Вот блеснул второй, воткнувшись чуть выше... Страшнее всего, конечно, когда лезвие впивается в доску у самого лица. Это пугало нас, но вовсе не захватывало, и мы удивлялись хлопкам зрителей; наверно, наблюдая каждый вечер с балкона за программой, мы стали более разборчивы в великом искусстве цирка.

Так протекало наше с Казисом детство.

Рассказывая о Казисе, я не могу, конечно, умолчать о его брате Владасе, позже называемом Уолтером, на которого мы с Казисом тогда смотрели с более или менее скрываемым презрением (нас разделяла огромная разница в возрасте — целый год!). Лишь иногда, если Владасу удавалось нам угодить, мы удостаивали его благородным снисхождением.

И уж совсем мы не относили к роду человеческому крохотное существо, называемое Иреной, появившееся на свет на подбрасываемом волнами судне. Может, потому, что девочка родилась в океане, цвет ее глаз менялся, казался то прозрачно-голубым, то зеленел изумрудом. Правда, Иренины глаза я стал замечать гораздо позже — тогда ее уже называли изысканней — Айрин. Во всяком случае, так называл ее Казис, превратившийся в Чарли, она-то ведь, если мне не изменяет память, продолжала называть себя Иреной.

Продолжая рассказ о семье Куприсов (такая была у них фамилия, впоследствии получившая тоже более оригинальное звучание — Купер), следовало бы упомянуть и авторов этой троицы — дюжего, краснощекого отца, которого сыновья звали «папэ», и изможденную женщину, здоровье которой, наверно, подкосили неожиданные роды на пароходе. Эти догадки о здоровье «мамэ» Куприсов пришли мне в голову уже позднее, — когда мы глядели с балкона на сверкающие ножи, само понятие родов для нас было еще туманным.

Вскоре и мы с Казисом стали артистами. В «Народном доме» ставили пьесу Софии Кимантайте-Чюрлёнене «Цып-цып-цып, мяу-мяу-мяу». Режиссер проверила наши способности, и меня приняла в труппу, а Казиса — нет. Сделала она это с большим тактом, объяснив, что мальчиков и девочек пришло больше, чем в пьесе действующих лиц. Тогда я решительно встал и заявил, что тоже не буду играть.

— Почему?— удивилась режиссер.— Вы такие неразлучные друзья?

— Мы на пароходе познакомились, во время маевки,— объяснил я.— Плыли по Неману.

Режиссер повела плечами.

— Много народу плавает на пароходах по Неману. Да что с вами поделаешь. Мы тебе наденем шапку, которая закроет все лицо, и ты будешь играть мышку. (Это относилось к Казису.) Разговаривать тебе не придется — только побегаешь по сцене. А сейчас начнем репетицию!..

Я играл кота. Репетировали мы долго. Премьера проходила с аншлагом. В самом драматическом месте я, сказав «мяу», разразился смехом, и чем больше сдерживался, тем сильнее меня разбирало. Суфлер шептала мне целые фразы, а я повторял свое «мяу» и хохотал без конца. Чувствовал, как шевелятся мои длинные толстые котовьи усы, а все тело сотрясает непредвиденное веселье. Тогда ко мне приблизилась мышка, которой не надо было разговаривать, и так ущипнула меня в спину, что я сразу притих и продолжил свой драматический монолог. Публика не поспешила на хлопки исполнителям. А я (так утверждала мама) две недели ходил с синяком.

Кстати, на этих репетициях я познакомился с одним мальчиком, по национальности китайцем, воспитанником известного каунасского профессора. Я все глубже проникал в тайны жизни. Однако Казиса это не удивило.

— В Америке много китайцев,— сказал он мне.— Только разговаривают они по-английски, а этот — по-литовски.

— У них и свой язык есть,— вставил я.

— Есть. И буквы вот такие, рисованные,— он показал пальцем в воздухе, как выглядят китайские буквы.— Только они слабаки.

— Как это — слабаки?

— Кожа у них слабая. И работают они официантами в салунах.

— Только официантами?

— Да. Они мягко ходят. Будто кошки. Подкрадется к столику, поставит поднос и уходит, а гость даже не слышит. И еще — одного китайца на электрический стул посадили. Тот ножом белую женщину пырнул. Прямо в сердце. А есть и богатые китайцы — у них свои дома, салуны. Тех на электрический стул не сажаят, они боятся нож в руки взять. И они носят косы. Мужчины с косами, а женщины — без. У них все наоборот.

— Все?

— Все.

Так изо дня в день я узнавал все больше.

А потом мы расстались почти на целый год, и я преспокойно позабыл про семью Куприсов.

Вновь я увидел его в первом классе гимназии, когда нас посадили за одну парту, хотя ни Казис, ни я этого не просили. Будь я фаталистом, в этом мне слышались бы барабаны судьбы. А все объяснялось просто — в классе девочек было больше, чем мальчиков, по теории вероятности у нас было немало шансов оказаться за одной партой. И хотя про эту теорию мы еще не слышали, таблицу умножения — кто лучше, кто хуже — уже знали. Казису арифметика давалась легче, и я с него сдувал. Зато с литовским языком он был не в ладах, не различал коротких и долгих гласных.

Жили они уже в другом месте, в Жалякальнисе. Из-за этого я не горевал — владелец ресторана с эстрадой к тому времени обанкротился. На месте аккуратно выстроенных столиков простирался пустырь. Кажется, зимой на нем заливали каток. Позже там выросло непривычно высокое для тогдашнего Каунаса здание в пять или даже шесть этажей.

А отец Казиса отгрохал в Жалякальнисе деревянный одноэтажный дом. Скорее всего, по собственному проекту — слишком он был уродлив. Большая деревянная изба среди городских каменных домов, вот только конек не венчал крышу той избы, и рута не зеленела в палисаднике под окнами. Правда, внутри было просторно и, наверное, удобно.

Я снова стал бывать у них почти каждый день после уроков, если мы с Казисом не играли у меня — ведь, несмотря на весь житейский опыт (уже одиннадцатилетних мужчин), мы обожали играть. Оловянные солдатики и паровоз с вагонами были у меня, комнатные кегли — у него. Владаса по-прежнему отделяла от нас неизменная пропасть в один год, — лишь изредка мы принимали его в свою компанию. Правда, мы с Казисом тайком придумывали еще и другие игры, но о них, пожалуй, не стоит рассказывать.

И вдруг в жизни Куприсов произошел перелом. Тогда я не очень-то разбирался — что и как. Из неказистого, но все-таки собственного дома они переехали в две маленькие комнатухи в том же Жалякальнисе, но еще дальше от центра города — почти на самую окраину. Мы больше не играли в кегли — не было для них места, да и сами кегли куда-то исчезли. Теперь мы развлекались у меня, или через дыру в заборе городского сада наблюдали за схватками борцов (широкие груди атлетов были увешаны медалями, каждый из них обязательно был чемпионом), или нанимали лодку и катались по Неману (что родители, конечно, нам запрещали), или на пляже в щели кабинок подглядывали женщин. Разумеется, мы ходили и в гимназию. Это была прискорбная необходимость, насильно навязанная взрослыми более слабым — детям.

— Моего отца надули, — сказал однажды Казис, хотя я и не допытывался, почему изменился их образ жизни. — Он выдал векселя и не смог выкупить. Тогда описали наш дом и все, что в нем было.

— Меня бы не надули, — принялся рассуждать я. — Я бы векселей не выдавал.

— Дурак,— сказал Казис, но так добродушно, что я не обиделся.— Мой отец учредил акционерное общество и продавал веялки, но никто их не покупал, тогда компаньоны забрали свои деньги, вышли из дела, вот и явился судебный пристав.

— А что такое веялка?

— Машина такая, зерно очищает. И не только веялки, отец и бороны продавал.

— А почему никто не покупал?

— Откуда мне знать. Может, дорогие были. Мой отец в Америке во как промышлял (Казис поднял большой палец), а вот тут его надули.— И как-то весело закончил:— Ничего, он съездит домой и опять вернется с долларами.

— В Америку? И ты с ним поедешь?

— Я — нет. Слишком дорого всем ехать. Отец будет нам деньги присылать. Брат там у него, он войдет к нему в дело. Мой дядя с женой из золотых чашек пьют «Тодди».

— А что это?

— Напиток такой. Ложечки золотые и чашки, и два автомобиля, и две породистые собаки, побольше тебя.

— И тебя.

— И меня.

— А почему дядя вам не помогает? Почему денег не шлет?

— Как это?.. Он же сам их заработал, это его деньги.

— И твой отец там будет работать?

— Будет. Мой отец считает, как все учителя арифметики нашей гимназии вместе взятые. В уме. Я тоже еще буду пить из золотой чашки!..

— Ложка еще туда-сюда, а про золотые чашки что-то не слыхал,— засомневался я.

— А о сабвее слыхал?

— О каком еще сабвее?

— Железная дорога под землей. Не слыхал? А о Буффало Билле слыхал? О бизонах слыхал?

— О бизонах-то слыхал.

— Ничего ты не слыхал. В Америке все есть. Нищие едят похлебку из железных мисок, а у кого водятся доллары...

Он не договорил.

Вскоре я заболел и перестал ходить в школу. Так у меня пропали два учебных года. Казис не навещал меня. Изредка я вспоминал о нем, думал, что он вернулся с отцом в Америку и, наверно, охотится на бизонов. Чтобы он пил из золотой чашки — что-то не верилось.

Сдав экстерном экзамены в другую гимназию (в школах уже ввели раздельное обучение), я в первое же утро увидел в классе Казиса. Узнал его, по правде говоря, не сразу. Сидел он за партой не один, и я ничуть не огорчился. Наверно, привязанность к другу — достояние более зрелого возраста.

— А я-то думал, ты на бизонов охотишься, — сказал я, хлопнув его по плечу. Только теперь заметил, что Казис раздался вширь.

— Ты? — буркнул он, тоже не очень-то удивившись. И, повернувшись к товарищу по парте, беззаботно сказал: — Не обращай внимания, он всегда заливает.

Я обиделся. Выпалил:

— А золотые чашки, из которых пьют твои дядя и тетя?

Но тут вошел учитель, заскрипели парты, дружно встали тридцать мальчиков, а я спохватился, что не знаю даже, где мне сесть.

В распахнутые окна доносился размеренный цокот копыт — лошади с трудом тащили платформы с товарами, и возницы безжалостно хлестали кнутами коняг. Откуда-то влетал в окна рокот вроде отзвуков далекого грома, вдруг сходящий на тоненькое пчелиное жужжание. Лишь через несколько дней я догадался, что это в костеле неподалеку играет орган.

— Сегодня, дорогие ученики, — раздалось от учительской кафедры, — ду-ду-ду, ду-ду-ду...

Я сел за последнюю парту, невежливо оттолкнув хилого паренька, который безропотно подвинулся к стене. Видел голову Казиса. Представил себе, как он

пожирал глазами учителя: «вот какой я внимательный и прилежный». Почему-то мне показалось, что уши Казиса торчат точь-в-точь как в пьесе, в которой ему досталась бессловесная роль.

— Ду-ду-ду, ду-ду-ду,— дудел голос учителя.

Меня охватила дремота.

— Кто может ответить?— Это было произнесено отчетливо.— Кто может ответить, прошу поднять руку.

— Я, господин учитель! (Это крикнул Казис.)

И тут в классе раздалось «мяу».

Учитель притворился, что не расслышал.

— Мяу,— прозвучало громко.— Мяу!

Класс захохотал. Казис повернулся ко мне. В его глазах были презрение и ненависть.

— Стасюкайтис, прошу выйти,— сказал учитель.

Этого я не предвидел.

Мальчик, которого я отодвинул к стене, встал, ожидая, пока я пропущу его.

— Это не Стасюкайтис,— сказал Куприс,— это он.

Его палец грозно указывал на меня.

Учитель заколебался.

— Это я, господин учитель,— сказал Стасюкайтис. Он энергично оттолкнул меня и вышел из класса раньше, чем я сообразил, что мне делать.

Смешно мне не было, нет— ведь это не сцена театра. Чувствовал, как у меня горят уши. В окна влетали далекий грохот грома и пчелиное жужжание.

На перемене я зашел в учительскую. Наш учитель красными чернилами писал что-то в классном журнале.

— Стасюкайтис не виноват. Мяукал я,— сказал.

— Боялся признаться?

— Нет. Просто не сообразил.

— Лучше позже, чем никогда. Что, временами на тебя находит?

— Случается, господин учитель.

— Что же, на всех находит. А Стасюкайтис, ты смотри... Молодец. С Куприсом вы знакомы?

— Друзья.

— Ну, дружба-то его...— Учитель не договорил и ласково поглядел на меня сквозь толстые стекла очков.

Металлическая оправа стерлась и сильно давила на нос,— когда учитель снял очки и стал вытирать лицо платком, на носу остались красные вмятины.

— Если захочешь когда помяукать, признавайся сразу. А теперь иди, звонок. В твои-то годы можно придумать шалость поостроумнее.

Он близоруко подмигнул мне, и я понял, что мне суждено стать примерным учеником. На его уроках, во всяком случае.

Домой мы возвращались вместе со Стасюкайтисом. В кармане у меня была мелочь, которую на перемене не потратил на булочки, и на улице Гардино я купил две порции мороженого малинового цвета, зажатого между толстыми вафлями. Свою долю Стасюкайтис проглотил мгновенно.

Было начало сентября 1925 года. В небольших еврейских лавчонках красовались пирамиды блестящей карамели, дешевого одеколона, бутылок с лимонадом и коробок с таинственными надписями «Олла» или «Бон-тон». В те времена дети были наивнее, и мы не понимали, какие магические вещи скрываются в этих картонках.

День был погожий. Из-за труб невысоких домов светило солнце, и из всех детей Каунаса, которым уже стукнуло четырнадцать, я был самым счастливым.

III

Конечно, в тогдашнем Каунасе творились дела поважнее детских переживаний.

Если взять подшивки старых газет, можно проследить хронологию развития Каунаса со все усиливающимся внешним лоском города и всеми его язвами. Мы росли и изменялись быстро, но город менялся еще быстрее. На месте деревянных домов вырастали каменные, появились первые автобусы, крохотный отрезок Лайсвес аллеи напротив городского сада покрылся асфальтом. Потом асфальт стал распространяться, захва-

тывая все новые и новые улицы, а едкий дым кипящего вара поднимался из больших котлов на улицах и проникал сквозь оконные щели в квартиры горожан. Полицейские меняли форму, кафе — интерьер, проститутки — губную помаду. Сменился даже сам режим: заискивавшая перед фашистами «либеральная власть» была смещена, а офицеры посадили в президентский дворец своего ставленника. Но как Стасюкайтиса, так и меня гораздо больше интересовало появление на улицах сосисочников компании «Майстас» (исходящие паром никелированные судки, картонная тарелочка, которую ты получал вместе с сосиской, хрустящей булочкой и довольно забористой горчицей). Это занимало нас посильней, чем политический строй.

Наш разум еще не созрел для решения социальных проблем. Кругозор ограничивался тем, что видели и пережили мы сами. Все проявления зла или добра мы в состоянии были охватить позднее, возмужав и не только по учебникам разобравшись, что мир не заканчивается склонами Алексотаса с одной стороны и Жальякальниса — с другой.

Я говорил о неожиданной дружбе со Стасюкайтисом. Отступление о сосисочниках «Майстаса» прекрасно иллюстрирует мою путаницу в хронологии; вряд ли в то время, когда мне и Тадасу (так звали Стасюкайтиса) было по пятнадцати, никелированные судки с сосисками уже красовались на улицах Каунаса; наверно, эти дяденьки в белых халатах появятся на Лайсвес аллее позднее. А мороженое — да, его еще продавали частники, к этому времени «Пеноцентрасс» не успел еще их вытеснить, и на Лайсвес аллее не манило прохожих кафе-мороженое со звучным названием «Джелатериа Итальяна».

Все это, конечно, отступления, которых не избежать, когда рассказываешь о далеком детстве, даже если это не книга воспоминаний, а обыкновенный роман.

Тадас Стасюкайтис был беднее меня, хотя и мой отец, служащий одного из каунасских банков, едва сводил концы с концами, содержа меня, старшую мою

сестру и свою жену — нашу мать. Однако, как ни крути, мы были прилично одеты и сыты, а наша квартира на улице Бажничёс была уютной, во всяком случае, днем; вечером включались слабые электрические лампы и тут же гасли, поскольку, сберегая здоровье (а может, кошелек — или то и другое вместе), спать мы ложились с курами.

Стасюкайтисы же занимали одну комнату с прихожей в деревянном доме на самой окраине Жаялякальниса. Правда, город рос стремительно, и этот деревянный дом вскоре очутился в самом центре района, но это уже другая история. Жили они втроем — отец, рабочий, упал с лесов строящегося дома. Поскольку полиция или трудовая инспекция установила, что сорвался он по собственной оплошности, после смерти старика Стасюкайтиса (все, кому было за тридцать, казались нам стариками) семья осталась без средств на существование. Подрядчик, правда, оказался добросердечным человеком — дал денег на похороны, хотя и не был обязан это делать. Теперь Стасюкайтене, которая и раньше не сидела сложа руки, с утра до вечера стирала в богатом доме. Получала за это жалованье и обед, большую часть которого приносила домой. Викте, сестра Стасюкайтиса, старше нас на целых два года, присматривала за младенцем господ, иногда оставаясь ночевать: госпожа хворала и не могла вставать по ночам к ребенку. Ну, а Тадас за учебу платил только половину суммы, благо вторую половину покрывал родительский совет гимназии с дохода от ежегодного бала в зале общества женской прислуги имени святой Зиты. Эту первую половину давали мать и Викте, — обе хотели, чтоб хоть кто-нибудь из семьи получил образование. (Что Викте сыграет определенную роль в моей жизни, я узнал лишь года через два, когда моя дружба со Стасюкайтисом успела охладеть. Не потому, что мы поссорились, просто я попал в орбиту семьи Куприсов. Но об этом — позже.)

Впервые с альбомом «Оборона Севастополя» я познакомился, когда после этого мяуканья в гимназии, полакомившись мороженым, мы пошли к Стасюкайтису

домой. Такую квартиру я увидел впервые. Стасюкайтис привел меня к себе без всякого стеснения, может, он считал, что все люди живут, как его семья, — да нет, пожалуй, ведь в окнах соседних домов можно было увидеть и тюлевые занавески, и роскошные люстры, и какую-то нарядную мебель.

В следующий раз я вызвался зайти к Тадасу не из-за Крымской войны, а из-за Викте. По-видимому, во мне вовсю просыпались мужские инстинкты, хотя для этого вроде и не наступила пора. Притворившись, что разглядываю альбом, я краешком глаза наблюдал за Викте, а она, догадываясь об этом, а может и просто так вертелась в комнате, хотя, едва мы явились, сказала, что вот-вот уйдет к своему хозяину на весь вечер и ночь. Мама Стасюкайтиса еще не приходила с работы — она, наверно, сейчас гладила или крахмалила манжеты, а может, задыхаясь от пара, месила в большой лохани белье.

Я приходил сюда еще и еще — в третий, четвертый, пятый раз, но Викте не застал. Не потому ли я вскоре перестал бывать у Тадаса? Не думаю, что Казис подкупил меня жевательной резинкой. Как бы там ни было, моя дружба с Куприсами возобновилась.

Они тоже жили в Жялякальнисе. Две комнатки сверкали чистотой и отдавали мещанским уютом. Сейчас мы играли уже не в кегли, а в «блочки» — плоские кружочки, которые подпрыгивали, если нажать на край. Надо было заставить их прыгнуть в мягкую мишень, и тот, кому удавалось это первому, выходил победителем. В нас уже проснулся азарт, и мы играли подолгу, правда, не на деньги, а на конфеты или шоколад.

Отец Казиса все еще жил в Америке, а мать с одним каунасским дельцом держала ресторанчик, или даже варьете — по вечерам в нем артистка (псевдоним — Бируте) пела цыганские романсы, а сын дельца жонглировал тарелками и мячиками. (Он ребенком сбежал из дому и, скитаясь с бродячим цирком, немножко научился искусству жонглирования. Потом

сбежал уже из цирка домой и нашел применение своим талантам в ресторанчике.)

Изможденная женщина после отъезда мужа ожила и теперь выглядела совсем бодро. Дело шло, по-видимому, неплохо — когда мы перешли в следующий класс, Куприсы перебрались в большую квартиру на улице Путвинскиса. Пять просторных комнат на четвертом этаже с видом на город, устланный коврами паркет, блестящая мебель — орех или подделка под него. (Тогда я, конечно, еще не разбирался в дереве ценных пород.)

А в ресторанчике по вечерам было весело. Мы с Казисом иногда наблюдали из-за стойки, как пожилые господа подсаживаются к красивым девицам, которых здесь хватало. Но едва Казис проявил интерес к этим девицам, госпожа Купрене запретила нам ходить в ресторан. Но я уже успел заметить в ресторане Викте и усомнился, на самом ли деле она меняет по ночам детям пеленки. Может быть, и меняла, но вермут в бокале пахнул приятнее детских пеленок. Викте стала еще привлекательнее, а грим подчеркивал ее экзотическую красоту. Конечно, слово «экзотический» тогда для меня было таким же загадочным, как и слово «вермут». А может, и нет (я был восприимчив к цивилизации). Ресторанные сценки будоражили фантазию — в мои шестнадцать лет во мне уже бурлили сдерживаемые страсти, не давая сосредоточиться и посвятить себя учебе. Когда надо было начертать на доске окружность, мне на мгновение мерещилась женская грудь. Лишь на мгновение, но этого хватало, чтоб из головы улетучилось условие задачи, не говоря уже о решении, и я получал очередную двойку. Фотографии в немецких и французских журналах детально знакомили нас с заманчивыми явлениями жизни. Из гимназии мы возвращались по Неманской улице, поглядывая на стоящих в подворотнях проституток и не смея отведать запретного плода. Адов огонь, извергающийся из уст учителя на уроках закона божьего, или страх подцепить болезнь сдерживали нас с Казисом — сейчас уже

не скажу. Но тормоза действовали отменно. Тем более, что фантазия получала пищу совсем неожиданно.

Вот, скажем, перед самым переездом Куприсов на новую квартиру, я узнал, что Казис болен, сбежал с четвертого урока и пошел провести его. Не знаю, что побудило меня не звонить, а просто заглянуть в окно. Заглянул я, как вор, который хочет все видеть, оставаясь незамеченным, и увидел не Казиса, а его маму со своим компаньоном по ресторану. Стояло лето, вторые рамы из окон были вынуты, и я отчетливо слышал каждое слово.

— Да повяжи ты галстук и надень пиджак!— сказала госпожа Купрене.— Дети могут из школы прийти. Какого дьявола повадился ходить домой!

Услышав слово «дети», я замер, пригнул голову и, прокравшись под окнами, убежал вдоль забора подалее, пока не решил, что теперь меня уже не увидят. Правда, меня подмывало позвонить у дверей и справиться о здоровье Казиса, но я тут же сообразил, что и Казис наверняка сбежал с уроков. А Ирена и Владас прилежно сидели в школе (Ирена еще в начальных классах), даже не представляя себе, как сложна жизнь.

Рассказал ли я об этом Казису? Наверно, гораздо позже, а то и вовсе нет. Что ни говори, держать тайну в таком возрасте еще очень трудно. И все-таки я долго, очень долго ее хранил. Не потому ли, что в следующий мой приход госпожа Купрене спросила, не я ли однажды крался под окнами во время уроков? Я отнекивался, а госпожа Купрене толковала мне о порядочности. Хоть меня и потряс вид одевающегося компаньона, я все же понимал — если проболтаюсь Казису, дорога в их дом мне будет заказана: я не сомневался, что госпожа Купрене сразу узнает об этом, раз уж почуяла, что шатаюсь под окнами их квартиры. Потом, когда они переехали в большую квартиру на четвертом этаже, возможностей для такого шпионажа не было, визит компаньона постепенно тускнел в памяти, и вскоре я даже стал сомневаться, видел ли вообще его без галстука и пиджака: может, мне все это померещилось? Так госпожа Купрене реабилитировалась в моих глазах.

Снова зайти к Тадасу Стасюкайтису меня потянуло исключительно из-за его сестры. О том, что видел ее в ресторане, я все-таки Тадасу проболтался. Думал, он рассердится, покраснеет, крикнет: «Вранье!» А то и саданет меня кулаком в челюсть. Ничего такого не случилось. Тадас просто пропустил мои слова мимо ушей. Однако не сразу согласился, чтоб я к нему зашел.

— Чего ты у меня не видал?— спросил он. (Это он уже не раз говорил.)— Ты же с Казисом дружишь.

— Я дружу со всеми,— возразил я.— Да и не такие уж мы друзья.

— Повторишь это и при нем?

— И повторю! Думаешь, боюсь?

— Конечно, боишься. У него же ресторан — ты задарма ужинаешь, когда вы приходите.

— А ты откуда знаешь? (Хотел добавить: «Небось, от Викте?», но вовремя прикусил язык. Очень уж мне хотелось навестить эту жалкую лачугу, одну комнату с передней в ней и Викте в этой комнате.) — Зачем мне дармовой ужин, если и дома не голодаю?

— В ресторане веселее. Музыка играет, а тарелки цветами и птицами разрисованы.

— Ни птиц, ни цветов, только золотая каемочка. Ты что, никогда в ресторане не был?

— Я? А что я там потерял? Богатых дружков у меня нету.

И все-таки еще в тот же день я снова смотрел, как обороняли Севастополь, и поскольку эти картинки я уже знал наизусть, мне показалось, что я тоже участвую в сражении, веду солдат в атаку (сам-то я, разумеется, был офицером), даже увидел, как в солнечном свете блеснули штыки.

Едва мы уткнулись в альбом, пришла Викте.

— Мама дома?— спросила она у Тадаса, не обращая на меня ни малейшего внимания. (Раньше, когда я навещал Тадаса, она здоровалась со мной ласково, не скрывая своей симпатии.)

— Сама знаешь, что стирает.

Мы перевернули страницу, а Викте стала наводить порядок в шкафу, которого я раньше у них не видел.

Шкаф был красивый, канареечного цвета с темными прожилками и совершенно не вязался с убогой обстановкой лачуги. Не поворачивая головы, я косился на Викте, которая раскладывала розовое белье, и чувствовал, как озноб продирает спину, хотя и не было холодно; неужели это страх?.. Нет, это какое-то новое ощущение, и нельзя сказать, что неприятное, пускай и непривычное. Так или иначе, меня уже не волновал ни Севастополь, ни турки, ни французы. Я догадался, что Викте вот-вот уйдет, и мне страстно захотелось поговорить с ней,— сам еще не знал, о чем.

— Спасибо, Тадас,— сказал я, вставая из-за стола. Я уже знал, что надо делать: спрячусь где-нибудь, пока из дому не появится Викте. Даже если не посмею к ней подойти, прослежу, куда она пойдет. У меня вылетело из головы, что завтра в школе трудный день, что надо готовить уроки. Меня охватила одна мысль, и мысль эта была Викте.

— Я тебя провожу,— сказал Тадас, вставая из-за стола.

— Зачем? Не надо,— испугался я — ведь Тадас мог все испортить.

— Не надо так не надо,— удивился Тадас.

— Ты лучше позанимайся,— эти слова наверняка прозвучали смешно, потому что Тадас улыбнулся.— Завтра — экстемпораль (так в нашей гимназии назывались обыкновенные письменные работы) по латыни, да и задач по математике во сколько. Дашь мне списать? Мне их не решить.

— Твой отец-то ведь в банке работает!

— Он мне не помогает. «У тебя своя голова на плечах, сам и работай, мне и без тебя забот хватает»,— вот что он говорит, Тадас.

— Дело говорит. Но и я наделаю ошибок — мне тоже никто не помогает.

Викте появилась еще не скоро — часа через два, а то и позже, а я терпеливо ждал за углом дома, приготовившись спрятаться, если покажется Тадас. От Викте я тоже спрятался. Мечты заговорить с ней развеялись, едва я увидел ее. Теперь я боялся, как бы она меня

не заметила, и я крался за ней на расстоянии, прижимаясь к стенам и собираясь шмыгнуть за угол, если ей вздумается обернуться. Так я проводил ее до самого центра, а она зашла в кафе на Лайсвес аллее, и весь мой поход кончился провалом. И все-таки я терпеливо ждал на улице, умирая от холода и голода и прикидывая, что скажу родителям, когда спросят, где я шатался допоздна. Ранец с книгами я держал в руке, потому что считал себя взрослым и тащить ранец на спине было стыдно. Викте вышла из кафе уже в сумерках. И не со стариком, а с молодым мужчиной — даже издали видны были его длинные бакенбарды. Проводил я их до гостиницы «Континенталь» на улице Гедиминаса — мне это было по пути. И на улице больше не ждал. Топая домой, рисовал в своем воображении Викте, одновременно вспоминая госпожу Купрене, точнее, разговор, подслушанный под окном, когда она журила своего компаньона.

Назавтра в гимназии я схлопотал целых три двойки, но это меня уже не волновало.

IV

Не помню, сколько раз я еще бывал у Тадаса — один, два, три, а может, и ни одного. Не это важно. Сын неимущего чиновника, я мечтал о роскошной жизни, а Стасюкайтис был еще беднее меня. Куприсы — дело другое. В их квартире появлялись все новые вещи, которые восхищали и даже поражали меня. Например, ламповый приемник (в нашей квартире на улице Бажничёс был детекторный с наушниками). Или кинопроектор фирмы «Патэ». Куприсы брали напрокат фильмы, и в их квартире на экране, повешенном на стену, вспыхивал чудесный мир, так отличавшийся от скучного житья в Каунасе, что он напоминал пруд со стоящей водой. У Куприсов была даже кинокамера! Все это стоило бешеные деньги, но ресторан, видно, приносил недурной доход.

Когда мне исполнилось семнадцать (Казису и Тада-су — столько же), женщины в моем воображении оттеснили все остальное. Это даже нельзя назвать повышенной сексуальностью. Мои друзья страдали тем же. Женская душа тогда нас еще не интересовала. Из гимназии мы возвращались только по Неманской улице, однако, к нашему огорчению, вульгарно размалеванные проститутки, торчащие в подворотнях, не вызывали у нас никаких эмоций.

Тадас с нами не водился, а из школы я возвращался с Казисом и другими мальчиками из зажиточных семейств, потому что уже за школьной партой дружбу часто питало богатство. Те, за кого платил родительский комитет, держались в своем кружке. Только когда наш класс играл с другим в футбол, на площадке воцарялся час классового равенства. Помню одного мальчика, забившего пять мячей; мы решили, что для такой спортивной звезды место — только в нашей компании. Но он не прижился, сам этого не захотел. А я за учебу все-таки платил сам (точнее, мои родители), локти у меня не были заштопаны, стесняясь нашей скромной квартирki, никого к себе не приводил, и каким-то образом оказался в компании богатых, прикинувшись едва ли не миллионерским сынком. Например, когда мы начали тайком покуривать, покупал американские сигареты и с независимым видом угощал ими товарищей. А деньги-то я вытаскивал у отца из кармана, наплевав на его переживания — ведь каждый лит в нашей семье имел свое строгое назначение. Казис, правда, раза два забредал ко мне, знал, чего я стою, и это обстоятельство меня приводило в бешенство.

И вот однажды вечером на Лайсвес аллее, в самой ее середине, я присел на скамейку, чтоб поглазеть на прохожих, и только тогда заметил, что рядом сидит Викте. Ей было уже девятнадцать, выглядела она еще обворожительней, красилась она совсем не так, как уличные девки, и я даже не был уверен, румяна у нее на щеках или естественный румянец.

— Добрый вечер, барышня Викте, — сказал я и почему-то засмутился.

— Здравствуй, Каролис. Почему же я барышня?

Я пожал плечами и повторил:

— Барышня...— Мой голос прозвучал совсем ненатурально, и Викте рассмеялась.

— К Тадасу больше не приходишь?

— Некогда. Уроков много.

Врал я без зазрения совести.

— Эх, мальчик ты, мальчик... Кстати, все еще невинность блюдешь?

Я растерялся. В компании приятелей я за словом в карман не лез, а тут не знал, что и ответить.

Из этого неудобного положения меня спасла сама Викте, не ожидавшая ответа:

— Ну и блюда, раз хочется. А вот язык распускаешь. Зачем сказал моему брату, что видел меня в ресторане со стариком?

— Разве я говорил?

— Сам знаешь, что говорил. Да это пустяк, раньше или позже сам бы узнал. Ты мне нравился тогда — не думала, что такой болтун. Ладно, что было — сплыло. В кино хочешь? Картина в шести сериях. Сегодня первая.

Я хотел, конечно, только у меня не было денег...

— Уроки надо готовить.

— Раз надо, иди. А если денег нету, куплю тебе билет. Пошли?

Я пошел с ней в кино; мы сидели в ложе и ели шоколад «Тоблер», швейцарский и потому дорогой. В ложе мы сидели одни, тесно прижавшись друг к дружке, и я снова почувствовал, как спину продувает мороз. Может, потому, что на экране индеец снимал с белого скальп. И вдруг — сам не знаю, как это получилось — я положил на ее колено руку, — сделал то, о чем подлгу мечтал, сидя над нерешенной математической задачей. Она не столкнула моей руки, только сказала:

— Ого, какой ты! Думала, не посмеешь.

И тут я обнял ее (как хорошо, что в ложу больше никто не сел), но поцелуй не получился, губами я больше ловил воздух.

— Хватит уже,— сказала Викте.— Много женщин целовал?

На одном из балов родительского комитета школы я чмокнул в щеку ученицу гимназии святого Казимира и схлопотал пощечину. Об этом я вспомнил здесь, в ложе кино. В другой раз, гуляя у неказистого ручейка Гирступис, что в районе вокзала, поцеловал юную швею, точнее, ученицу швей, и пощечины не удостоился, однако поцелуй остался безответным.

— Случалось,— ответил я неопределенно.

— Здесь не место,— решила Викте.

«Вот когда это произойдет,— говорил я себе, когда в зале зажегся свет; мои глаза между тем шныряли по кинозалу — нет ли кого из учителей; нет, такой опасности не заметил.— Викте станет той женщиной.» Как все это получится, я себе не представлял, но не сомневался, что произойдет. Может, в гостинице «Континенталь»? А если меня туда не пустят? Мне казалось, что инициатива должна быть за Викте, я чувствовал, что она уже решила посвятить меня в одно из величайших таинств жизни.

— Вот что,— сказала Викте,— не могу зря терять время. А ты, если хочешь, приходи завтра. Домой. Во время уроков, когда Тадаса не будет. Небось, часто сачкуешь?

— Бывает.

— Приходи в десять утра. Буду одна.

Всю ночь я не сомкнул глаз, изнывая не столько от страсти, сколько от страха. Под утро решил к Викте не ходить и тут же крепко заснул.

И все-таки пошел. Пока пешочком, ничуть не торопясь, с ранцем под мышкой я добрал до Стасюкайтисов, было ровно десять.

Открыла мне Викте, одетая в розовый шелковый халатик. Еще в передней я спросил:

— А если Тадас тоже сбежит с уроков?

— Домой не пойдет. Знает, что я еще тут. Я ему строго-настрого запретила сачковать. Убежит еще раз — прощай школа. Я за него платить не стану. А он хочет закончить гимназию и выучиться на доктора. По-

ка не решил, правда, кого лечить — людей или животных. Ранец оставь тут.

— Мама не вернется?

— Вот смелый заяц!.. Не вернется. Чего тебе бояться-то? И чего стоишь как чурбан?

Но я совсем не знал, что же мне делать, и она сама сняла с меня пиджак. Я успел еще заметить в комнате новый стол и новые стулья, и электрическую лампочку под голубым абажуром.

А потом все вокруг перестало существовать, кроме Викте, точнее, ее тела, и мой страх — не опростоволось перед ней — растаял, потому что я был смел и решителен. Когда экстаз достиг высшей точки, я вдруг понял, что это — совсем иное дело, чем наши мальчишеские забавы, когда девушка существовала лишь в воображении.

А потом вернулся в действительность и стал себе противен, но это уныние длилось недолго; ведь нетрудно было осознать, что счастье, о котором столько твердят люди, таится именно в этих мгновениях — да и любовь, наверное, тоже. Насчет любви я, по правде, не был так уверен и, глядя на лежащую рядом Викте, думал, что эта девушка теперь мне очень и очень близка; неужели это и есть любовь? От любви кончают с собой (об этом писали в книгах, сообщали в газетах, рассказывали знакомые), но я бы не стал кончать с собой, лишившись близости Викте. Она для меня не была самобытная личность, а всего лишь заурядная (правда, прехорошенькая) представительница женщин, без которых, я был уверен, существование лишено смысла. (А может, мне только сейчас кажется, что именно так я тогда думал.)

— Викте, — повторил я ее имя. — Викте. Почему не Виктория? Виктория — красивее. Я читал книгу Гамсуна про большую любовь.

— Я-то в большую любовь не верю, — сказала Викте. — И поэтому я не Виктория. А у тебя, паренек, талант в этом деле. На вид — заморыш, но я так и знала, есть в тебе изюминка.

Она властно обняла меня, и снова растаяло все вокруг, остались только мы вдвоем, нет, даже не вдвоем, остался какой-то клубок неимоверной страсти, и я был лишь частью этого нового существа, пока снова не пришел в себя.

— Ты, паренек, меня совсем доконаешь,— сказала Викте с нескрываемым уважением.— Уходи теперь, а то что я буду делать на работе? Некогда мне для собственного удовольствия, валяй, уходи.

— Завтра опять к тебе приду,— решил я.

— Еще чего! Тебя из школы выгонят. Да и мне каждый день развлекаться недосуг.

— Когда же, Викте?..

— Послезавтра. Нет, послезавтра воскресенье, все дома. В понедельник.

— До свидания, Виктория.

— Подожди,— сказала она.— Сходи вечером в кино. На тебе лит. И еще лит на шоколад. Тадасу на сей раз, надеюсь, не проболтаешься?

— Да что ты!

— И запомни, я—Викте, а не какая-то Виктория.

Дома, уже после ужина, меня выпороли. Оказалось, в тот день не было последнего урока, и Казис, решив, что я заболел, пришел навестить меня. Тогда мама и узнала, что я не перестал убегать с уроков, а отец хладнокровно и методично отделал меня ремнем. Я не плакал, хотя кожа так и горела, но про себя поклялся, что в понедельник все равно пойду к Викте, а если меня и снова выпорют—сдеру из дому. Своего отца я давно недолюбливал, а в тот вечер просто возненавидел. Сестра Циле (или полностью—Цецилия) смотрела на меня и ухмылялась, так что я поклялся при случае расквитаться и с ней. Она была уже в выпускном классе, ужасно воображала, за ней увивался аптекарь с улицы Витаутаса—очкарик с вишнево-красным носом, и хотя Циле нравился какой-то студент, родители запретили ей с ним встречаться. У аптекаря были свои достоинства—большая квартира и собственный автомобиль, подержанный форд, на котором он катал по долине Мицкевича Циле с родителями или Циле

и меня. Иногда он давал мне денег на кино или шоколад, как и Викте, и на аптекаря я не дулся, хоть и считал уже полноправным членом нашей семьи.

В понедельник утром я снова был у Викте, однако когда, преисполненный мужской гордости (через два часа она меня снова выгнала), вышел на улицу, меня там поджидал парень с длинными бакенбардами (когда-то встречал Викте в его компании), который без долгих разговоров цапнул меня за шиворот и ткнул кулаком в нос. Может, я бы и стал сопротивляться или просто дал деру, но вкус крови во рту сковал меня, и я опять схлопотал — теперь в живот, под ложечку, и мне показалось, что это — конец. Я сел прямо на булыжник, тут же получил башмаком в голову, и это, наверно, длилось бы до тех пор, пока парень с бакенбардами меня бы не прикончил, но из дома выбежала Викте и ринулась на парня с кулаками. От боли ныли голова и лицо, но я все же успел увидеть, как парень залепил Викте пощечину.

— Только не на улице! — крикнула она.

— Можно и не на улице, — прорычал парень, и крик Викте раздался уже из лачуги. Я с трудом встал. Дома и телеграфные столбы вращались перед глазами, но я заковылял с горы вниз, в город, оставив визжащую Викте и поклявшись отомстить и парню с бакенбардами. Что это будет за месть, придумать еще не успел.

V

Недели через две после этого избиения в Жалякальнисе аптекарь посватался к моей сестре. Но родители решили, что сначала ей надо сдать экзамены на аттестат зрелости, и отложили свадьбу на лето.

Зато весьма торжественно отпраздновали помолвку. Пировали в квартире аптекаря, в два раза больше нашей и в четыре — квартиры Викте. В ней были четыре комнаты с ванной, всеми удобствами, канарейками на окне и аквариумом у стены. В аквариуме плавали кро-

хотные золотые рыбки. Когда зажигали лампочку за ним, рыбки и водоросли напоминали сказку, действие которой происходит на морском дне. Такого я еще не видел, и это мне импонировало больше, чем подержанный форд.

— Вы сами кормите рыбок и канареек?— спросила мама, на которую обитатели комнаты тоже произвели впечатление.

— А кому же еще. Доверь я это Петронеле, моей хозяйке, птицы и рыбки давно бы передохли. Тут нужна умелая рука.

Хозяйка Петронеле не была высохшей старой де-вой; может, она даже не принадлежала к обществу женской прислуги имени святой Зиты. Молодая крас-нощекая женщина, судя по внешности аптекаря, забо-тилась о нем неплохо, так что слова об умелой руке были брошены просто так, чтоб порисоваться. В буфе-те, рядом с хрустальными рюмками, выстроились в два ряда бутылки. Я успел разглядеть этикетки красного крупникаса¹ и понял, почему нос аптекаря успел при-обрести вишневый цвет.

Именно в тот день я получил вещь, о которой меч-тал с той минуты, когда в Жалякальнисе меня били по голове. Родителям тогда, конечно, объяснил, что по дороге в школу на меня напали хулиганы, и тем самым оправдался, почему снова пропустил уроки. Теперь мне позволяли ездить в школу и возвращаться домой на автобусах, которые уже появились в городе. По бе-регу Немана тогда еще тащилась «кукушка», а конку студенты тоже еще не успели свалить с рельс и сим-волически похоронить; а может, она уже не ходила.

— Что же тебе подарить?— спросил меня аптекарь. Не потому, конечно, что он радовался возможности сделать мне удовольствие, а просто желая угодить мне. Мама с отцом осматривали квартиру, а мы с аптека-рем стояли у аквариума, в котором плавали красные рыбки.— Будь тут золотая рыбка, она бы исполнила

¹ Медовый ликер.

любое твоё желание, но у меня такой рыбки нету. Так что бы ты хотел? Коньки?

— Спасибо, коньки у меня есть.

— Футбольный мяч?

— Монтекристо.

— Какое монтекристо?

— Пистолет. Не совсем настоящий. Стреляет маленькими пулями.

Я рассказал аптекарю, как выглядит монтекристо: такие бывают у шерифов в ковбойских фильмах, только монтекристо поменьше. Выстрелишь, барабан поворачивается, нажмешь опять — еще выстрел.

— Лучше я куплю тебе хорошие шведские коньки, а то еще пальнешь кому-нибудь в окно.

— Ну и что? Прострелил бы только стекло. Думаю, я такой дурак, чтоб по окнам стрелять?

— Еще хочешь играть в ковбоев? Шерифом побыть захотел?

На следующий день я уже стал обладателем новенького игрушечного револьвера. Помню свое разочарование, когда пуля не пробила даже доски. Зато прострелила лист картона, потом два, три. На Тракайской улице прицелился в ворону, не задел ее, зато с удовольствием наблюдал, как упала на землю небольшая веточка с дерева.

Пришла зима. На улицах звенели бубенцы: в низких санях, беспрестанно понукая лошадей, извозчики в тулупах катали парочек. На остановках они хлопали озябшими руками себя по плечам, хотя руки были в толстых рукавицах; изо рта у извозчиков вырывались клубы пара. Улицы покрывал белый до голубизны снег, скрипящий под ногами; ночью уже издали слышались шаги человека. Не берусь судить, что виновато — пятна на солнце или небольшое тогда количество дыма, выбрасываемого в атмосферу промышленностью, но зимы в те времена были холодные и календарные — с декабря по февраль стояли морозы. Зато летом было жарко и солнечно.

С последней встречи с Викте прошло месяца два, а то и больше, и мне снова захотелось ее увидеть. Сей-

час, внимательнее приглядываясь к своему прошлому, я начинаю сомневаться, что это было только физическое влечение. Когда тебе семнадцать, появляется потребность в близком человеке, с которым можно поделиться сокровенными мыслями, смелыми (и глупыми) мечтами, и человек этот не может быть мальчиком, а тем более — взрослым мужчиной. И мне чудилось не тело Викте, которое отнюдь не потеряло своей притягательности, а ее глаза (голубые с густыми ресницами, под правильными бровями), некрашенные белокурые волосы, нос, не большой и не маленький, почти цыганский цвет лица, и мне нестерпимо хотелось увидеть эти глаза, такие невинные, не вяжущиеся с профессией, которую избрала Викте. Конечно, лицо человека — тоже часть тела, но оно говорит о внутреннем «я» человека больше, чем, скажем, ноги или туловище.

Однажды утром я, как обычно, направился в школу — пешком до проспекта Витаутаса, потом на автобусе до Ратушной площади и еще полсотни шагов до двери гимназии. Все эти дни (и недели, и месяцы) я старательно посещал школу, не пропуская ни единого урока, и теперь снова мог симулировать болезнь. Почерк Казиса, если он чуть наклонял перо, был точь-в-точь как почерк моей матери — наполовину детский почерк человека, не привыкшего много писать. Учителя доверяли нам, и мы злоупотребляли этим доверием, подделывая записки родителей. Конечно, в меру, и наш обман обычно не выплывал наружу.

Приехал я пораньше и из переулка, оставаясь невидимым, наблюдал за всеми, кто торопился в школу. Едва увидев Тадаса, снова зашагал к автобусу. Сошел в центре города, у улицы Мицкевича. Оттуда, уже по улице Мицкевича, дошел до Аушрос такас и, скользя, стал подниматься по лестнице, ведущей в Жалякальнис. Фуникулера тогда еще не было, приходилось пользоваться собственными ногами.

К Викте я явился ровно в десять. Часов у меня, конечно, не было, но, вежливо извинившись, спросил об этом у какого-то прохожего. Викте, вроде бы, даже не удивилась.

— Вот смелый заяц,— сказала она; Викте уже была одета, может, даже собиралась выходить на работу.— Так отдубасили, да и у меня по твоей милости, и все неймется?

— Причем тут я?— на меня вдруг нахлынула злость. Вспомнил случайную нашу встречу на скамеечке на Лайсвес аллее и бесцеремонное обращение Викте ко мне.— Ведь это тебе понадобилась моя невинность.

— И вовсе не понадобилась. Ты мне просто нравился. Разве должна была говорить тебе о любви?

— О любви?— Мне захотелось поиздеваться над ней, может, даже довести до слез.— Ты можешь любить?

Ее лицо залила краска, и я подумал, что она еще способна обижаться. (Конечно, тогда я мог рассуждать совсем иначе, но сейчас, много лет спустя, я только так воспроизвожу ход своих мыслей. Я ведь почти слово в слово помню, что мы говорили друг дружке, даже то, что она покраснела, а мне стало жалко ее. Даже сегодня мог бы поклясться, что тогда я действительно ее пожалел.)

— Много ты понимаешь в любви, поросенок,— несмотря на обидные слова, голос ее звучал без обиды, пожалуй, даже ласково.— Думаешь, от веселой жизни сплю с каждым? Мама теперь в больнице, думаешь, все это задаром?— Она помахала сумкой.— Вот тут для нее еда, по-твоему, тоже задаром? А Тадас...— Она махнула рукой, будто сама себя убеждая, что с таким, как я, не о чем говорить.— Иди уж. Я тоже уйду.

Мы оказались в холодной прихожей, и я подумал, что вот мне опять топать в школу, я сердился на Викте и жалел ее; в памяти снова всплыло первое утро, проведенное у нее, ласковость Викте, когда меня раздрали отвращение к себе и гордость, что я уже не ребенок, и в голове мелькнуло, что это ведь могла быть и любовь. Разумеется, не моя любовь, а любовь ко мне,— и злость стала проходить.

— Может, и зря тебя обидел,— сказал я.— Но если ты меня... если я тебе нравился, какого черта ты путалась с этим своим котом?!

Слова «альфонс» в моем словаре тогда еще не было. А «кот» означал то же самое. Спать с первым встречным тогда мне казалось делом не очень-то похвальным, но естественным. За это платили деньги. Но без расчета ведь только любят. И нельзя одновременно любить двоих — и приятеля своего брата, притом моложе себя, и сутенера.

— Он меня любит,— сказала Викте.— Не смейся, любит. И защищает. А ты лучше уходи. Если он снова нас увидит, еще не так схлопочешь. Он-то ведь понимает, что доход от тебя мизерный, а никаких моих чувств к кому-нибудь еще не признает.

Она вытолкнула меня на улицу; струйки пара вырывались у меня из ноздрей, и я смахивал на извозчиков и лошадей, которые катали парочек на санях; сани всегда бывали окружены клубами пара.

Я направился к центру, решив спуститься опять по лестнице Аушрос такас, потом сесть на автобус на улице Мицкевича и поехать в гимназию — разгуливать по улице было холодновато, а кинотеатры еще не открылись. Даже не прикидывал, что скажу классному воспитателю, уповал на свой талант импровизатора. (По сей день помню, что именно таким было мое состояние.)

Его, парня с бакенбардами, встретил как раз на Аушрос такас. Я спускался по ступенькам, он шел вверх. По обеим сторонам лестницы выстроились заиндевевые деревья, изредка каркала ворона на ветке, и комок рыхлого снега падал, рассыпаясь в воздухе белесой пылью.

Наверно, я чувствовал себя как зверь, угодивший в капкан,— знал, что добром это не кончится. Неуклюже нащупывая рукой монтекристо, спрятанное в кармане пальто, я выронил ранец с книгами и тетрадами. Он заскользил по снегу, прыгая со ступенек, и подкатился к ногам парня. Я думал, он пнет ранец ногой, но парень носком туфли остановил его и осторожно оттолкнул в сторону.

— Почему не на уроках, кавалер? Родители денежки платят, а мы чем занимаемся?

В его голосе не было злобы, но глаза вдруг стали жесткими, как у бандитов в ковбойских фильмах,— посади его на коня, надень на голову сомбреро, а в руки дай пистолет или карабин — и хоть загоняй обратно на экран, с которого сошел. Но пистолета у него не было, а я пальцами правой руки уже сжимал монтекристо.

Я ждал, не покажется ли прохожий — позову на помощь; ноги дрожали, не знаю даже, от страха или от мороза, который вдруг показался лютым — снег был голубой, а заборы так и трещали; и этот голубоватый снег звонко поскрипывал под ногами сутенера.

— Не подходи,— сказал я, когда нас разделяли только три ступеньки (я стоял на месте, а парень не спеша поднимался). Он поднялся еще на одну ступеньку, и я на одну отступил.— Не подходи,— повторил я и вытащил монтекристо.

— Спрячь,— сказал он, однако остановился.

— Иди назад.

— Ты мне еще приказывать будешь? Убери эту игрушку. Вот так. А то еще нечаянно в глаз попадешь. Где был? У кого?

Я не ответил. Ждал прохожих, но их не было. Как нарочно — ни души. Потом внизу замаячила женская фигура, подходившая к лестнице. Я держал монтекристо дулом к земле и думал, как его замаскировать, чтоб прохожие не заметили. И в этот миг парень с бакенбардами одним прыжком, как настоящий кот, перемахнул все три ступеньки, а я не ждал этого прыжка. Почувствовав на своем горле его руку, я нажал на курок. Раздался негромкий щелчок. Я подумал, что монтекристо заело, и сейчас я окажусь на лестнице под ударами остроносой туфли. Мне и впрямь досталось правой рукой по голове, пока левая держала меня за глотку. В бешенстве я пнул врага, и он мешком свалился мне под ноги. Не дожидаясь нового удара, я схватил со снега ранец и припустил назад, вверх. Никто за мной не гнался. Парень с бакенбардами остался лежать на Аушрос такас. Женщина, поднимавшаяся

по ступенькам, еле передвигалась,— может, сердце у нее было слабое, или лестницу плохо посыпали песком.

Я посмотрел на монтекристо. Мне даже показалось, что из дула курится дымок, но это скорее была игра воображения. В капсуле первого патрона (обойма монтекристо напоминает лежащий на боку барабан) боек оставил круглую вмятину. Хотел зашвырнуть подальше в снег эту металлическую игрушку, из которой не сумел убить ворону и прострелить доску, но тут же вспомнил про отпечатки пальцев; я уже читал детективные романы.

Сейчас я уже не видел, что творится на лестнице, а заметив людей, сворачивающих с улицы на Аушрос такас, стал что-то насвистывать, стараясь выглядеть беззаботным, даже лицо отвернул в сторону, чтоб они меня не запомнили; вскоре они подойдут к месту, где лежит раненый парень с бакенбардами,— раненый, а может и мертвый. Если он ранен, то скажет полиции, кто его подстрелил; конечно, я подстрелил защищаясь, но сколько будут меня таскать, какой позор для дома, сколько пищи для вечерних газет! «Гимназист застрелил жожака проституток». Нет, может, они и не пронохают, чем он занимался, а вдруг он на самом деле лишь влюблен в Викте.

В школе свое опоздание объяснил коликами в животе, во что можно было поверить — до того я был бледен. Мне даже предложили идти домой, но я великодушно отказался. В тот день к доске меня не вызывали. На уроках мне вдруг подумалось, что полицейские наверняка уже ищут меня и вот-вот войдут в класс с директором и меня заберут. Я даже успел придумать речь на свою защиту. Угрызений совести почему-то не было, а, едва начав сомневаться в правоте своего поступка, вспоминал крики избиваемой Викте и свое бессилие, когда меня месили ногами, унижали, и я ничем не мог ей помочь.

Дома мама спрашивала, почему я почти ничего не ем, ведь на аппетит я никогда не жаловался. И я, со страхом прислушиваясь к скрипению снега под ногами прохожих (каждый из этих людей мог оказаться поли-

цейским, ищущим нашу квартиру), рассказывал матери, какими вкусными пирожками угощал меня приятель, и объяснял так правдоподобно, что даже почувствовал во рту вкус крема.

Полиция не явилась ни в тот, ни на другой день. Ни полиция, ни следователи в штатском. Они вообще не явились. А в газете, уже не помню какой, я обнаружил заметку, что на Аушрос такас убит человек, известный в преступном мире; предполагают, что с ним свели счеты другие подонки; поиски преступника не дали результатов. Пуля, писали в газете, была мелкого калибра, скорее всего от монтекристо, попала она в брюшную артерию; кровоизлияние во внутренности нельзя было остановить.

Наверно, не лишне будет заметить, что уже в день моего преступления (если самозащиту можно назвать преступлением), в день злосчастного выстрела, ваткой, смоченной в одеколоне Циле, я стер с монтекристо отпечатки пальцев. Потом вложил в обойму (или барабан, не знаю, как лучше назвать деталь этой игрушки, оказавшейся такой страшной) недостающий патрон.

Когда в следующий визит к аптекарю (ходили мы с Циле всегда вдвоем, одну ее родители к нему не пускали) тот рассказал мне об известном из газет случае с монтекристо, я безропотно вернул ему оружие, демонстративно вынув все патроны — словно у аптекаря могло возникнуть подозрение, что брат Циле застрелил человека. Аптекарь вроде бы не хотел брать, хотя, конечно, только этого и добивался, читая мне газетную заметку, но все-таки взял, сказав, что вернет мне монтекристо летом, если я поеду в деревню или на дачу в Неменчине, чтоб мог защититься от бешеной собаки, а то и зайца подстрелить.

К Викте я больше не пошел. Моя едва пробудившаяся страсть к другому полу вдруг угасла, я стал прилежнее учиться, чем до крайности удивил не столько учителей, сколько родителей, которые не надеялись, что их сын когда-нибудь полюбит книгу, а тем более — учебник.

Началось лето, сестра вышла замуж за аптекаря и перебралась к нему. Студента, который перед свадьбой Циле пришел к нам объясняться, родители попросту выгнали за дверь. Отец и слышать не хотел о любви студента и его научных перспективах. А Циле, как мне кажется, никогда не простила этого отцу, хотя за аптекаря вышла без особого сопротивления. Потом она стала изменять своему мужу, даже не стараясь это скрывать, и кто знает, может ее толкнула на это месть отцу.

Наконец мне стукнуло девятнадцать, и я перешел в выпускной класс. Знал, что надо еще поднажать, получить аттестат с одними пятерками, и жизненный путь, прямой и устланный розами без шипов, откроется передо мной.

VI

Рассказывая о первой своей связи с женщиной или о трагическом происшествии, которое, не отягчив моей совести, все же оставило осадок на всю жизнь, я обхожу недомолвками жизнь нашей семьи,—ведь отец с матерью только названы и выступают на страницах книги в виде бледных символов, да и драма сестры передана несколькими штрихами, причем больше места отводится золотым рыбкам в аквариуме аптекаря, чем самой сестре.

Подумав, почему мне так написалось, я пришел к выводу, что жизнь в родительском доме была настолько уж серой и монотонной, что даже пятно крови на снегу лестницы Аушрос такас не вызывало во мне надлежащего ужаса, а только послужило точкой опоры, чтоб я мог вырваться из этой серости. Вырваться, конечно, было невозможно: жизнь довоенного Каунаса погрязла в маразме. Жизнь горсточки спекулянтов, группы побольше, в которую входили сытые чиновники и лавочники, и массы неимущих (не говоря уж о безработных, число которых все росло) протекала особняком и, хотя антагонизм между отдельными группами

наружу прорывался редко, он таился в щелях домов Жалякальниса, в булыжной мостовой старых кварталов, в улыбках вульгарно размалеванных уличных девочек, в высоких фуражках фараонов (так мы называли полицейских). Единство нации присутствовало лишь за карточным столиком в президентском дворце. В других местах его и в помине не было.

В нашей семье никто не голодал, и я могу смело отнести нас к категории сытых чиновников. Отец работал, будто прикованный к своему стулу в банке, постоянно страхась (хоть нам этого не показывал), как бы его банк не обанкротился, да твердил, что сытый желудок важнее душевных порывов. Так он выразился однажды, когда я попросил денег на оперу, в которой пел Кипрас Петраускас, и отец мне этих денег не дал. (После происшествия на Аушрос такас я стал весьма щепетилен и перестал таскать деньги из отцовского кармана или маминой шкатулки: красное дерево с резьбой — морские волны, парусная лодка и вдали, на берегу, маяк.) Впоследствии я убедился, что отец не всегда применял к себе те мудрые изречения, которыми подчевал нас. Как-то я познакомился с хорошенькой девушкой из парикмахерской, которая подметала пол и щеткой чистила пиджаки клиентов. «Это не твой отец в пенсне, с пробором посередине и в синем костюме в белую полоску?» Конечно, это был мой отец, но я не признался. «Чудно, — сказала она, — вы похожи как две капли воды. И живет он тоже на улице Бажничёс». Потом она показала свои сережки. «Это его подарок». — «За что же он их тебе подарил?» — спросил я, не вытерпев, и, наверно, этим себя выдал. «Как думаешь, за что пожилые мужчины дарят девушкам сережки, сумочки или хотя бы шоколад? Ты-то мне ведь ничего не подаришь, скорее сам у меня пять литов возьмешь». Я был потрясен и, хотя девушка была недурна собой, снимала отдельную комнату на Шяуляйской улице, да еще я ей нравился, перестал с ней встречаться. Она, наверно, подумала, что я сумасшедший или импотент, но мне было все равно. К этой девушке я даже не притронулся.

Теперь, когда сестра вышла замуж, я мог успешно заниматься дома, ведь никто уже не отвлекал внимания. И все-таки я ходил в публичную читальню и там, вместе со студентами и рвущимися к свету самоучками, сидел в душном зале и листал страницы книг или паркеровской ручкой заносил в толстую тетрадь мысли, которые в этом зале рождались быстрее, чем дома. Свой дом я ненавидел, и даже сейчас мне трудно найти причину этой ненависти. Могла ли она родиться оттого, что я никогда не чувствовал домашнего тепла, судить не берусь. (Вечное перо, о котором обмолвился я, тоже получил летом — подарил аптекарь, возможно, в виде компенсации за монтекристо, которое он мне так и не вернул.)

В этой библиотеке я познакомился с Агне. Кажется, увидел, что она роется в сумочке в поисках ручки или карандаша, и предложил свой «Паркер». Не раз наблюдал такие сценки, но никогда до этого не проявлял благородства или хотя бы джентльменства. И если сейчас предложил перо, то, конечно, только из-за красоты Агне.

Разумеется, тогда я еще не знал, что она — Агне. Она была одной из множества посетительниц публичной читальни, одной и вместе с тем единственной, потому что другие женщины и девушки казались невзрачными (во всяком случае, на мой взгляд), а лицо и фигура Агне излучали саму женственность. (Я не боюсь показаться патетичным, применяя подобные фразы!)

Она напоминала мне Викте, ведь Викте тоже была красива, но на Агне я смотрел как на картину, сошедшую из позолоченных рам в зал со спертым воздухом — толстая, круглая печка отапливалась углем, а вентиляция была скверная. Волосы у Агне были такие же белокурые, как у Викте, но, прикинув, как выглядели бы волосы Агне на подушке, я тут же унимал себя, словно совершив святотатство. И глаза были такие же голубые, но у Викте они смотрели чуть насмешливо, вызываяще и сохраняли это выражение даже в такие минуты, когда женщине следует зажму-

риться или хотя бы отвести взгляд, раз уж ее глаза не способны выразить упоение. У Агне глаза были какие-то чистые, они вонзались в собеседника, словно видя его насквозь, и, если этим собеседником оказывался я, мне не оставалось ничего другого, как потушить взгляд. А может, потому я не выдерживал этого взгляда, что во мне пробуждались самые естественные желания? Сейчас трудно это сказать. Скорее всего, желаний-то и не было — во всяком случае, таких, как при виде Викте. Ведь когда я разглядывал красавиц на картинах из мифологии (или на репродукциях), у меня не возникали неприличные мысли. Агне тоже была картиной.

Агне вернула мне перо через несколько минут и вежливо поблагодарила, а я устоял (или, если точнее, не устоял) перед атакой первого ее взгляда. Я еще оставался в читальном зале, когда Агне выходила, и смотрел на нее — Агне шла походкой манекенщицы, не подчеркивая своей принадлежности к женскому полу. Я успел заметить точеные ноги, но, глядя на ноги, я думал о ее глазах. Сердился на себя, чурбана и недотепа, что не разузнал, кто она, где живет и придет ли еще в эту читальню. Хотя разговаривать-то в читальне запрещалось, даже после слов «пожалуйста» или «спасибо» на тебя поднимались десятки пар глаз — здесь было царство тишины и науки.

Занимался я в тот вечер с трудом. Все, что ни читал, куда-то исчезало, как бы вытекало сквозь решето.

В следующие два дня она не появилась, потом в читальне был выходной, и наконец снова в широком проеме двери (на который я смотрел чаще, чем в книгу) показалась фигура Агне. В тот день я не оказался чурбаном — вышел сразу же за ней, сделав вид, что это произошло случайно, догнав на дворе, сказал ей «добрый день», проводил до дома на улице Даукантаса и у дверей узнал, что ее зовут Агне.

Мне шел двадцатый год. Ей было столько же — об этом я узнал уже на следующий день. (Говорю про день, потому что Агне приходила в библиотеку утром и днем: училась она по вечерам.) До двери квартиры

она провожать себя не разрешала, и я прощался с ней в подворотне. На мое предложение встретиться где-нибудь в другом месте, не в библиотеке, Агне отвечала наивным «А зачем это?», а я даже не мог обидеться.

Потом узнал, что она по болезни пропустила три года, а теперь учится в гимназии для взрослых, которая в городе не пользовалась доброй славой, так как аттестаты зрелости там выдавались слишком легко. Судя по тому, как старательно занималась Агне, это, конечно, была неправда. И когда я после серии пятюрок стал хватать тройки (иногда даже с двумя минусами), Агне такая опасность не грозила, потому что я смотрел на Агне, а Агне смотрела в книгу. Конечно, в отдельные дни нам приходилось сидеть далеко друг от друга, иногда даже спиной. Но и в такие дни, казалось мне, я почти физически ощущал присутствие Агне. Даже сидя к ней спиной, я видел, когда она встает из-за стола, возвращает библиотекарше книгу и идет к двери. Что ж, я даже несколько дней пропускал уроки, чтобы увидеть Агне в читальне до обеда.

Пришла весна, может это была даже не весна, а конец зимы, но снег уже стаял, на деревьях собирались распуснуться почки, и угрожающе приближались экзамены на аттестат зрелости. Приближались для меня, но не для Агне. Ей до них оставались целых два года.

Мы с Агне были на «ты», но я ни разу не поцеловал ее, думая, что своими поцелуями унижу даже не столько свое чувство, сколько саму Агне. А может, не дошел до поцелуев из страха, что Агне перестанет со мной дружить.

Ведь Агне ни разу не позволила проводить ее до самой двери, не приглашала к себе домой, а когда я однажды сам вызвался зайти, так резко запротестовала, что я больше не смел напрашиваться. Мы с Агне были на «ты» и ничего друг о друге не знали. Ничего или, точнее, почти ничего. Школьные дела не были тайной, а вот свою жизнь в семье оба скрывали за непроницаемой завесой; интимные дела в прошлом или настоящем были для нас «табу». Мне, по правде гово-

ря, не верилось, чтобы у Агне (в прошлом или настоящем) была какая-то интимная жизнь — к ней я подходил с иной меркой, чем к себе. (Трудно требовать логики от ученика последнего класса, пусть даже с немалым жизненным опытом — ведь не каждому из моих сверстников выпадали такие злоключения, как мне.)

И вот однажды Агне не появилась в библиотеке. Не пришла она и на другой день. Я не мог пойти к ней домой, — не говоря уж о запрете, я не знал даже, где точно она живет: во дворе расположились полукругом несколько домов со множеством дверей. Я знал ее фамилию и, конечно, мог бы выведать у жильцов, но ведь этим бы нарушил запрет. . .

А когда она не показалась на третий и четвертый день, все, что ни читал, стало мгновенно улетучиваться из головы (или вообще туда не попадало), и я подумал, не влюбился ли в Агне. Это ошеломило меня — влюбиться в девушку, ни разу не поцеловав ее. . . И все-таки это случилось. Глупо отрицать красоту Викте; я сблизился с ней; из-за нее я сделал шаг, о котором старался не думать, но который все равно внезапно, без связи с тем, что видел, читал или слышал, всплыл в памяти — удивленный взгляд парня, который бросился на меня с кулаками и упал как подкошенный на заснеженной лестнице. С Викте меня связывали и физическая любовь и преступление. И все-таки это была не та истинная любовь, от которой ночью не можешь сомкнуть глаз, а днем — разобраться в тонкостях высшей математики.

На пятый день я пришел в канцелярию школы для взрослых.

— Я хотел справиться об Агне Нарунайте, — сказал я. — Она в школу ходит?

Пожилая женщина — учительница, а может, служащая канцелярии — посмотрела на меня без особого интереса. Глаза у нее были красные, наверное, от чтения.

— Нарунайте больна, — сказала она. — Вы ее приятель?

— Знакомый.

— Хорошо, когда знакомые интересуются. Хотите навестить ее?

Я заколебался. Знал ведь, что мое появление дома только ухудшило бы ее состояние. И все-таки ответил:

— Конечно. Где она?

— В больнице. В Красном кресте. Она уже хворала два года, не больше. Сейчас — рецидив. То есть возвращение болезни. Хорошо бы вы ее навестили.

— Обязательно. А чем она больна?

Покрасневшие глаза глянули на меня с сочувствием.

— Говорят, сейчас это вылечивают. Не знаю, как это называется. Что-то с кровью. Малокровие, наверно. Злокачественное.

Я поблагодарил и тут же, прибежав в читальню, заказал учебник по болезням крови. Библиотекаря удивилась и шепотом спросила:

— Собираетесь поступать на медицину? Эту книгу рановато читать. Потом, она немного устарела.

Но книгу дала. Я посмотрел, когда она издана: всего два года назад.

Я листал страницу за страницей. Болезней было много, в конце описания чаще всего чернело слово «безнадежно» или «прогноз неблагоприятен». Отыскал злокачественное малокровие. Немного успокоила фраза: «Раньше прогноз был неблагоприятен, в настоящее время при лечении печенкой бывают случаи выздоровления». Еще там были указания, как подготовить для больных печенку, пестрели такие термины, как лейкопения, тромбоцитопения, анизоцитоз, пойкилоцитоз, звучавшие так угрожающе, что я помнил их до того дня, когда пришлось снова знакомиться с ними уже как студенту.

Агне Нарунайте я нашел в хирургическом отделении и удивился этому. Даже у такого неискушенного в медицине молодого человека, каким был я, возникли сомнения, можно ли хирургическим путем лечить малокровие. Сама больница произвела на меня гнетущее впечатление, хотя все здесь блестело чистотой, а сестры милосердия казались очень милыми. Взгляд смуглой

сестрички подбодрил меня, и я спросил, почему Нарунайте лежит в этом отделении.

— О таких вещах спрашивайте у врача!— ответила сестричка — не сердито, даже с некоторым кокетством, потому что в мире немощных здоровый и симпатичный парень вроде меня повышает настроение даже у медсестер.

— А все-таки?— настойчиво повторил я.

— Пока не ясно, какая у нее анемия,— смилостивилась сестричка.— Вначале думали, что гемолитическая, поэтому и положили сюда. Собирались удалить селезенку.

Она сказала это просто — вроде «собирались пришить новую пуговицу». Можно было подумать, что она сама удаляет эти селезенки. (Что у человека есть селезенка, я слышал и раньше, но где она и для чего служит, пока не имел ни малейшего понятия.)

— Значит, операция?

— Может и нет. Наверно, у нее все-таки злокачественная анемия.

— Это лучше?

— Немного лучше. Но почему вы у меня спрашиваете? Я же не знаю диагноза.

Слово «немного» меня не успокоило. Сестричка была доброжелательна и повела прямо в палату, к кровати Агне.

Рядом с краснощекой сестричкой Агне казалась еще бледнее. Но все равно при виде ее мое сердце сжалось. На других трех кроватях стонали женщины.

— Зачем же ты пришел,— сказала Агне, но в голосе не было упрека. Я даже услышал нотку гордости, только не мог разобраться, чем она гордится.

— Сестра сказала, ничего опасного,— сказал я.

— Все же узнал, что я больна.

— Не так уж сложно узнать.

— Эти женщины,— Агне приглушила голос,— стонут целые сутки. Одна все равно стонет, если другие молчат.

— Их никто не навещает?

— Навещают. Ты пришел чуть раньше. Как же тебя пропустили?

Я пожал плечами. Вспомнил карточку на дверях: действительно, я перепутал часы.

— Наверно, в жизни всюду требуется нахальство.

— Всюду? .. Нет...

Потом мы молчали, я взял ее руку — бледную, почти прозрачную.

— Скоро поправишься, — повторил. — Может, принести тебе что-нибудь почитать из библиотеки?

— Не могу. Только начну читать, голова кружится. И без того кружится, но когда читаю — еще больше.

Мы еще поговорили о каких-то пустяках, ни словом не обмолвившись о самом главном для нас, точнее, для меня — о том, какое место занимает Агне в моей жизни.

В палату вошли первые посетители.

— Давай уж иди, — сказала Агне.

— Боишься, чтоб меня не увидели? Тебя тоже навещают?

— Навещают. И не надо, чтобы тебя увидели. Иди.

Я ушел порядком обидевшись и уже на улице убедил себя, что меня ничто не связывает с девушкой, которую даже ни разу не поцеловал. Потом всю неделю бодро продирался сквозь дебри литовского языка и математики, даже французский язык не был для меня труден, а что и говорить о немецком. В свободное время сидел на четвертом этаже дома на улице Путвинскиса и смотрел на себя, разгуливающего по белому экрану, — Казис снял меня, как я перехожу улицу, потом останавливаюсь, глупо ухмыляюсь и машу рукой аппарату. Да, в киноактеры я не годился.

Но однажды утром проснулся охваченный одной-единственной мыслью — снова увидеть Агне. Отец, напялив наушники, слушал у детекторного приемника последние известия, потом пил желудевый кофе с хрустящими булочками, которые мама уже успела принести из пекарни.

— Почему ты ничего не ешь? — спросила она меня. — Заболел?

— Нет,— возразил я, и кое-как одолел одну булочку с корицей. Всегда любил эти булочки, но сейчас тесто казалось безвкусным.

— Через неделю — экзамены,— продолжала мама.— Смотри, не ослабей. Ты уже решил, куда будешь поступать?

Спросила она вовремя, ведь я каждый день менял свои планы.

— На медицину... Конечно, если попаду.

— Вот и учись,— вставил отец.— В университете на отметки смотрят.

Любой его разговор со мной — из вот таких нравоучений. Не помню, чтоб хоть раз мы поговорили по душам. Я ведь бывал в домах своих приятелей; там родители и дети общались по-иному. А может, мне только так казалось.

В нашем доме нас всех объединяла только одна фамилия. И еще, пожалуй, стол — без изобилия, но рациональный и сытный. Ничего лишнего. Доброе или подбадривающее слово — тоже деликатес, наша семья была слишком бедна для такой роскоши.

Это настроение (увидеть Агне, обязательно увидеть Агне!) не покидало меня и в школе. Меня вызывали к доске, и, как следует позанимавшись всю прошлую неделю, я получил три пятерки. Успел пробиться в лучшие ученики класса, и теперь уже приятели списывали у меня диктанты и классные работы. Я не закрывал от других своей тетради, как первый ученик класса Зенонас Кубилявичюс, который тоже собирался поступать на медицину и, при круглых пятерках и родственнике — завхозе факультета, почти облачился в белый халат и препарировал мышцы пропитанного формалином трупа в прозекторской. (Завхоз факультета на приеме студентов не имел голоса, но всегда мог шепнуть фамилию декану, а это уже было кое-что.) Я-то щедро позволял списывать, даже учителя делали замечания, чтоб я держал тетрадь поближе к себе.

Писал о поэмах Майрониса, а думал об Агне. Из-за математических символов на меня тоже смотрели гла-

за Агне — голубые и невинные. Когда возвращался из гимназии, лошадь, тащившая платформу с ящиками пива, тоже выстукивала копытами слово «Агне». Я напевал песенки из репертуара популярных тогда певцов Шабаняускаса и Дольскиса, вставляя (про себя, а то и вслух) «Агне», где только позволял ритм и попадалось двухсложное слово.

Дома, торопливо пообедав (отец еще не вернулся из банка), сказал матери, что иду в библиотеку, хотя и не помышлял об этом. Слоняясь по улицам, посматривал на часы в окнах часовщиков, на куранты Военного музея и злился, что стрелки ползут по-черепашьи, ведь в молодости нашей они и впрямь едва двигаются.

Пришел я до часов посещения, надеясь улыбкой обольстить хорошеньких медсестер. И удивился, что снова дежурит чернявая краснощекая сестричка, которая тоже меня узнала и заулыбалась.

— А нашу красавицу уже забрали,— сказала она.— Как раз сегодня утром.

— Поправилась?

— Не совсем. Но операция не нужна, а печенку можно есть и дома. Кажется, скоро можно будет лечить и уколами. Ее сожитель так внимателен, очень любит ее.

Я почувствовал, что мои щеки заливают краска, а уши — точно. Стараясь не выдать своего волнения, сказал с подчеркнутым равнодушием, словно девушка меня совсем не интересовала.

— Все в порядке. Значит, поправится. А кто этот человек?

— Вам лучше знать, раз она ваша знакомая.

— Вместе учимся, сестричка.

(Это была ложь лишь наполовину, ведь мы действительно учились вместе в читальне.)

— Насколько знаю, частный адвокат.— Она рассмеелась:— Нечто среднее между мошенником и присяжным адвокатом. Медная табличка на двери, неплохой доход.

— Откуда вы знаете?

— Как-то уколы ему делала. Там и увидела эту девушку. Словом, живут как муж с женой.— Она снова рассмеялась, на этот раз, пожалуй, чуть смелее.— Мне кажется, ей его не хватает — немолодой он, соломенный вдовец. Жена от него с уланским лейтенантом сбежала. Неужели вы ничего не знаете?

— Не знал.

— Ревнивый старик, поберегитесь. Мало ли свободных девушек?

Это был уже намек... Глаза у сестрички блестели, я ей нравился. Не любил я Агне (а то, что любил, понял по ненависти, которую почувствовал тогда к ней, так обманувшей меня), — да, если б не Агне, я в тот же вечер назначил бы этой сестричке свидание. И не гулял бы с ней по улицам.

Но меня потрясло это предательство, потрясло больше, чем известие, что отец покупает подарки уборщице из парикмахерской. И все-таки был настолько вежлив, что, услышав от сестрички, в какие часы ее можно застать в больнице, поблагодарил ее и даже выдавил улыбку. И в мыслях у меня не было, что воспользуюсь этими сведениями.

VII

Экзамены на аттестат зрелости начались весьма торжественно, еще торжественнее завершились, но на меня они не произвели впечатления. Экзамены я сдавал без всякой натуги, как бы шутя, и моя мама дома волновалась гораздо больше.

Теперь, когда у меня было среднее образование, с плеч отца будто камень свалился. Сестра, окончившая гимназию раньше меня, дальше не училась и ждала ребенка. Веснушчатая, подурневшая, она иногда навещала нас, стараясь скрыть беременность хорошего покроя одеждой, — чаще одна, оставив мужа принимать или выдавать рецепты на лекарства от кашля; ни тени семейного счастья не отражалось на ее лице. А мне отец предложил подыскать работенку и помогать дому

или, если не хочу свое жалованье отдавать родителям, поселиться отдельно.

Несмотря на огорчение матери (наверно, лишь тогда я понял, что она любит меня, только не умеет выразить это иначе, чем своим кулинарным искусством, да и это не всегда удавалось из-за скудности наших средств), я решил отселиться. Конечно, после того, как найду работу. Отец не приказывал мне сию же минуту покинуть дом, он советовал внимательно осмотреться и подыскать такую службу, которая не мешала бы продолжать учебу.

А работы не было.

В то лето я не поехал ни в деревню под Шештокай, к маминим родственникам, ни в Качергине, где мы раньше снимали комнатку в крестьянской избе. Гулял по раскаленным улицам города, вдыхая противный запах смолы, поднимающейся от асфальта, которым уже были залиты центральные улицы.

А работы не было.

Без помощи отца я все-таки не обошелся. Получил (стояла уже середина лета) место ночного сторожа в Земельном банке. Радовался, что не в этом банке служит мой отец. Не знаю почему, но не хотелось мне работать в одном с ним учреждении.

Из окон Земельного банка был виден угол площади с каменным многоэтажным домом, в котором, наверное, жила Агне. А может, она жила в другом доме, во дворе, но меня это уже не волновало. (Так я себе твердил тогда.)

Работа была ночная. Я ходил по огромному зданию, и каждый час должен был нажать на кнопки контрольных часов на всех этажах. Если бы не нажал, утром это выяснилось бы. Но я успевал нажимать. Научился даже урывать от каждого часа пятнадцать минут для сна, вовремя просыпаться и, вооружившись фонариком и настоящим револьвером, успеть к контрольным часам. Ощупывая оружие, я с улыбкой вспоминал игрушечное монтекристо. Мысль о злосчастном выстреле старался выбросить из головы. А если не удавалось, принимался логически рассуждать, что парень с бакен-

бардами изуродовал бы меня. Может, по сей день оставался придурком от ударов башмака по голове. Не жалел я его, но каждый раз подташнивало, едва только представлял себе крохотную пулю, проникающую между кишками в артерию,— как писала тогда газета.

В собственную комнату перебрался, получив первое жалованье. Правда, слово «собственную» стоило бы писать в кавычках: жили мы в ней втроем. Оба мои компаньона были студенты-медики, перешедшие уже на второй курс. Деревянный дом на улице Кястутиса, во дворе, выглядел неказистее нашего на улице Бажничёс, но тут я почувствовал себя привольнее. Не могу сказать, что в родительском доме меня очень уж стесняли: скорее, сковывала ледяная атмосфера, царившая в нашей семье.

Однако свобода — понятие весьма относительное. Вот и я, оказавшись на воле, был связан по рукам и ногам нехваткой времени. С ночного дежурства возвращался, выбившись из сил, и, свалившись на железную койку, забывался каменным сном, от которого просыпался днем еще больше уставшим. Я даже снов тогда не видел. Проснувшись, умывался и отправлялся обедать в столовую «Вишня» на улице Донелайтиса, а иногда в студенческую столовую в подвальчике на той же улице: там было еще дешевле, но не так вкусно. Суп и хлеб в студенческой столовой давали бесплатно, неимущие тем и довольствовались, если только не стеснялись обедать таким не совсем честным способом; я так поступать не мог.

Может быть, следует сказать, что мое заявление и аттестат зрелости уже лежали в канцелярии медицинского факультета; изредка я ходил в университет взглянуть, не вывешены ли списки с фамилиями принятых. И, представляя самого себя через несколько десятков лет, я уже рисовал на тетради будущую печать:

Проф. g-p мег. КАРОЛИС ТУЛЕЙКИС

И тут же рвал листки, едва заслышав, что кто-нибудь из соседей по комнате вытирает за дверью ноги... В том, что стану профессором, ничуть не сомневался; зато не был уверен, попаду ли вообще на медицинский

факультет. Агне немного спутала мои карты, и я не всегда успевал подготовить урок на пятерку. Поэтому и аттестат зрелости выглядел пестро: немало четверок, столько же троек и не так уж густо пятерок. Не подвернись тогда Агне, на листе, украшенном фотографией гимназии, круглой печатью и подписями педагогов, преобладали бы пятерки.

Я, правда, еще не догадывался, что не смогу совмещать учебу со своей службой; надо было подыскать такую работенку, которая не мешала бы занятиям. Какое тут учение, если, пробежав целую ночь по коридорам здания в несколько этажей, утром будешь клевать носом в аудитории на лекции о строении человеческого скелета?

Среди выпускников не было Тадаса Стасюкайтиса. Походив несколько дней на уроки в последнем классе, однажды утром он не явился и вовсе исчез с нашего горизонта. Может быть, классный наставник и интересовался его судьбой, а вот я — нет. Зенонас Кубилявичюс окончил школу на одних пятерках и тоже собирался изучать медицину, но в том, что он поступит, сомнений не было. Казис окончил школу примерно с такими же отметками, как и я, и на вопрос, что будет делать дальше, не отвечал, только подмигивал, — или даже не подмигивал, а угощал леденцами «Валда» — вкусными освежающими конфетками, изготовленными, как он говорил, из сахара и старых галош.

К Куприсам я заглядывал все реже, хотя с Казисом мы частенько встречались в городе и ходили в кино смотреть картины с Эмилем Яннингсом или Марленой Дитрих. Может быть, эти актеры тогда еще не были знамениты, и в моих воспоминаниях все перепуталось, но я уже предупреждал читателя о возможных хронологических неточностях.

Однажды вечером, когда на экране служанка пробывалась в жены миллионера (картина, конечно, была американская), я бросил взгляд на женщину, сидевшую впереди, и почувствовал, что мое лицо залила краска. Это была Агне!

Она была не одна, сидела, иногда перебрасываясь словом с каким-то стариком (ему не было и пятидесяти, но нам с Казисом он казался дряхлым старцем), и я не сомневался, что этот старик — частный адвокат, с которым живет Агне. Не помню, какое чувство охватило меня тогда — возродившаяся любовь (если это вообще была любовь), презрение, ненависть — а скорее всего — все эти чувства сразу.

— Чего тебе не сидится? — шепотом спросил Казис.

Агне оглянулась на меня, а может, это мне только показалось, но этого было достаточно, чтобы я перестал следить за событиями на экране.

Когда кончился сеанс, мы с Казисом шли сзади, и мне захотелось убедиться, войдет ли Агне со стариком в тот дом, который я видел из окон Земельного банка.

— Ты с ней знаком? — спросил Казис. — Красивая, ведьма!

— Не ведьма, и не такая уж красивая.

— Еще как красива! Как только ты ее увидел, стал вертеться как на электрическом стуле.

— Не выдумывай, — обиделся я.

— Нравится она тебе?

— Ни да, ни нет.

Я, пожалуй, считал, что сказал правду.

— Тогда познакомь меня, — предложил Казис.

— С удовольствием. А вот как?

— Кто этот старик?

— Не знаю, — соврал я. А может, и не соврал; то, что я слышал от сестры милосердия, могло оказаться и сплетней. — Чего пристал? Не знаю. Может, отец...

— Напиши письмо и назначь свидание. А придем вдвоем! ..

Мы проследовали за ней и стариком до самих ворот на улице Даукантаса, а потом, когда они исчезли в глубине двора, шмыгнули в подворотню и мы. Да, это был одноэтажный домик, тот самый, который я видел из Земельного банка. Стукнула закрываемая дверь, во двор из окон хлынул электрический свет, затем закрылись изнутри ставни, и свет пробивался только из щелей. Если б не Казис, я бы подкрался и заглянул

в эти щели; но не мог же я показать, что девушка меня интересуется...

Я простился и, проклиная про себя Казиса, что не успел из-за него поужинать, отправился на свое ночное бдение. А письмо написать пообещал. Все же улыбалась возможность и мне ее увидеть. Сам-то я никогда бы до этого не додумался. А если б и додумался, то не посмел. Вдвоем всегда удобней пускаться на авантюры, а Казис был хорошим товарищем во всяких затеях.

Узнать адрес не составляло труда, достаточно было зайти во двор и посмотреть номер квартиры. Так я и сделал, приготовившись, если откроется дверь, нырнуть в подъезд соседнего дома.

Уже отправив письмо, сообразил, что Казис предложил для свидания поздний час с тем расчетом, что мне придется бежать на свою ночную службу. А Казис с Агне останутся вдвоем. Меня снова стала грызть ревность, будто Агне была моей невестой, а не сожительницей частного адвоката. Все-таки я довольно легко себя успокоил, положившись на сдержанный характер Агне. Да и Казиса трудно было назвать красавцем: бледное лицо с узкими (или приспущенными) веками, тусклая улыбка (не вяжущаяся с довольно злыми глазами) и мешковатое тело. (В гимназии Казис прослыл силачом; видно, ресторанный пицца шла ему впрок — в детстве-то он был щуплее меня. А уж бледность лица и вовсе не гармонировала с фигурой тяжелоатлета.)

Придет ли Агне? В этом я не был уверен. И все-таки она пришла, а я снова почувствовал, что равнодушен к ней, и то, что я твердил себе, стараясь выбросить ее из головы, было обыкновенным самообманом.

Мы встретились в городском саду, напротив театра, и я тут же подумал, что и сам мог ей назначить свидание, и она, конечно, пришла бы, как пришла вот сейчас. Неужели такая мысль никогда у меня не возникала? Нет, причина была не в том. Меня ведь оскорбило, что в ее жизни существует какой-то частный адвокат. Викте — другое дело, она каждый день встре-

чалась с несколькими, и это я считал почти естественным делом — такую профессию выбрала она сама. Но Агне, к которой мне страшно было даже прикоснуться?!

В городском саду, слева, было летнее кафе. Казис повел нас туда и угощал какао и пирожными. Пирожные были с розовым кремом, так и тающим во рту. Мы говорили о картинах и кинозвездах, о купании в Немане и поездках на пароходе в Кулаутуву, Качергине, даже в далекую Вилькию; Казис как раз и предложил нам такое путешествие. Я подумал, что времени не хватит — пароход из этого рейса возвращается почти в полночь, а мне в это время уже надо нажимать на кнопки контрольных часов в коридорах банка. Агне не сказала ни «да», ни «нет», только улыбнулась Казису; эта улыбка мне не понравилась, но я даже бровью не повел. Тем более, сам был виноват, ведь свел их.

Потом мне надо было торопиться на работу, а Агне сказала, что пойдет домой. Всем нам было по пути, и мы расстались только на улице Даукантаса.

Потом я снова долго не встречался с Казисом: меня угнетали события в родительском доме, и я целыми днями валялся в кровати, погрузившись в полудрему — как черепаха в своей скорлупе — и отгоняя грустные мысли.

Я ведь изредка захаживал в квартиру на улице Бажничёс, чаще когда отца не бывало дома. И вот однажды застал свою мать плачущей. На мои вопросы она отвечала лаконичным «ничего», и чем убедительнее удавалось ей это произнести, тем увереннее я считал, что она говорит неправду.

— Не хотела причинять тебе боль, — наконец сказала мама, видя, что я не отстану. — Это твой отец хотел, чтобы ты ушел из дому... Короче, чтоб не путался под ногами.

— Да ведь я сам решил уйти, — попытался оправдать я отца — мне казалось, что и впрямь было так. — А почему я ему мешал?

— Отец сейчас домой девчонку водит, Каролис, — сказала мама таким голосом, что сразу стало ясно —

любви между моими родителями нет и не было; словно молния озарила меня, и я понял, почему в нашем доме все складывалось иначе, чем у других. («Других» я знал немного, но мне казалось, что там царит согласие. Я даже о матери Казиса забыл; нет, она не считается, муж-то ведь далеко, за океаном.)

— Кто эта девка?

— Не все ли равно. Из страхового общества, зовут Хелей, Эяна, наверно, маленькая такая, рыженькая.

— Сволочь!— сказал я в сердцах, сознавая собственное бессилие— ведь только и мог, что выругаться.

— Разве можно так об отце,— возмутилась мать, считая, что приличие этого требует.— Пройдет... Не первая она у него и не последняя.

— И как эти молоденькие связываются с такими стариками,— не унимался я.

— Видно, не такой уж он старик.

Перед моими глазами мелькнула Агне и ее частный адвокат. Может, и он был не такой уж старик?

— А может, мне вернуться домой? Скажу, что отказали в комнате или что неудобно втроем.

Я не кривил душой: втроем действительно было неудобно. Хорошо еще, что мои и обоих студентов часы не совпадали. А когда сидели в комнате втроем, свой уголок у родителей вспоминался со светлой грустью.

— Если ты вернешься, Каролис, отец, чего доброго, вообще уйдет из дому. А теперь— побеждает, побеждает и успокоится. Недолго уж ему за девчонками гоняться, скоро совсем состарится. Только не вздумай эту Эяну поколотить, все мне боком выйдет. И отцу не показывай, что знаешь.

Поколотить барышню из страхового общества и впрямь мне захотелось, и мать, как ясновидящая, отгадала мои мысли. Поцеловал мать в щеку и ушел. На улице почувствовал ненависть ко всем девушкам на свете— за исключением, пожалуй, Викте. Хотел даже заглянуть к ней, но побоялся. Вдруг она любила этого парня с бакенбардами? Не сомневался, что она догадывается, кто застрелил его,— догадывается, ведь ни-

каких доказательств у нее быть не может. Если она обвинит меня, приготовился отречься. Никто не должен узнать этого. (Вспомнил, как после заключения на Аушрос такас я пытался что-то прочесть на лице Тадаса Стасюкайтиса. Так ничего и не прочел. И не очень-то удивился: было бы странно, если б Викте поделилась своими переживаниями с братом. Она содержала его, отдавая дань семье, а ее личная жизнь принадлежала только ей одной.)

Что мне причинило большую боль — измена отца или Агне — сейчас трудно вспомнить. Да и какой верности я мог требовать от Агне? Я ведь и намеком не дал ей понять о своих чувствах, желал, чтоб она сама это почувствовала. Была ли это любовь вообще — по сей день не могу сказать твердо. Ревность — да, ревность была, но разве ревность обязательно должна быть спутницей любви? Скорее всего истинная любовь не знает ревности. Но так я способен рассуждать теперь, в двадцать лет такие понятия в голову еще не приходят.

Агне с Казисом поехали без меня, точнее, поплыли на пароходе куда-то за Качергине на маевку, — значит, на палубе играл духовой оркестр, был буфет с бутербродами, пивом и лимонадом, потом все гуляли по лесу, и, наконец, Казис с Агне уединились, и я не стану утомлять читателя довольно натуралистическими подробностями, которых не пожалел в своем рассказе Казис. Понимал ли он, какие я при этом испытывал страдания? Наверно, да, хоть и притворился, что не понимает. Приятно ведь показать свое превосходство там, где я, лопух, ничего не добился (как он догадался или узнал от Агне). А я-то и не хотел чего-то добиваться... Агне была для меня идеалом, который я не мог смешивать с грязью, а тогда мне казалось, что физическая близость — осквернение любви. Первые уроки любви, преподанные Викте (слово «любовь» в данном случае можно писать и в кавычках), здесь виноваты или моя юношеская неопытность — не суть важно. В моей голове тогда еще не укладывалось, что любовь — понятие, вмещающее оба компонента — и платоническое

чувство, которое я испытывал к Агне, и физическую близость, изведенную с Викте.

Я был потрясен. Не занимало меня даже, принят ли я на медицинский; не удосужился сходить в деканат и взглянуть на списки. И весьма равнодушно воспринял известие, что семья Казиса ликвидирует квартиру, сворачивает дело в ресторане и на время уезжает в Соединенные Штаты, поскольку в противном случае они потеряют американское подданство. Нет, скорее я даже обрадовался — ведь все не мог простить Казису подлость по отношению ко мне; а этого он никогда бы не понял, даже если я попытался бы ему объяснить. Нашу дружбу уже омрачила и моя работа ночным сторожем. Казис прямо этого не высказывал, но я стал улавливать в его взгляде некое подобие презрения, он стал даже покровительственно трепать меня по плечу, как, может, треплет богач своего бедного родственника или господин верного слугу, или сутенер проститутку, ловко очистившую карманы своего гостя.

Что же влекло меня к подъезду больницы Красного креста, когда кончилась смена у сестер милосердия? Привлекательность сестрички, которая проводила меня когда-то в палату Агне? Пожалуй. Встретил я как-то ее на улице, поздоровался, обменялся фразами о погоде, работе и последней картине, и вдруг увидел, что она ничуть не хуже Агне — пожалуй, даже ярче и естественнее. Как ни крути, сестричка явно интересовалась мною, тут же сказала, где живет (улица Донелайтиса, как раз напротив столовой «Вишня», отдельная комната в новом двухэтажном доме), и в один из ее дней, свободных от дежурства (она мне перечислила их в последнюю нашу встречу на улице), я заглянул к ней. Потом заходил все чаще. Образ Агне тускнел, и я, наконец, сблизился с этой сестричкой, не понимая, люблю ее или меня просто влечет к ней. Перестал заходить к ней, лишь когда она, поначалу намеками, а потом все откровеннее, заговорила о свадьбе. Такой внезапный разрыв не делает мне чести, но мне было двадцать лет, и я считал себя слишком молодым для столь серьезного шага.

VIII

Сам не заметил, как перешел на второй курс.

В Земельном банке я уже не работал: не удавалось совмещать ночные бдения с лекциями. Вечера теперь чаще всего проводил в прозекторской. Это был большой, залитый электрическим светом зал со столами, на которых лежали пропитанные формалином трупы.

А еще в прошлом году, во втором семестре, прозекторская помещалась в деревянном бараке, где топились железные печурки, а вокруг барака выросло огромное новое здание медицинского факультета на улице Мицкевича. То самое здание, в которое мы переехали на втором курсе.

Сейчас я зарабатывал на жизнь уроками. Меня величали «господином репетитором», иногда потчевали чаем и бутербродами. Платили гроши, но концы с концами я все-таки сводил. Чтобы учить других, пришлось самому кое-что повторить из курса гимназии. Сейчас, оглядываясь назад, я не перестаю удивляться, как умудрялся совмещать это с напряженными занятиями. Некогда даже было увлекаться прекрасным полом, что в студенческом возрасте не менее важно, чем сон или пища. У меня была только одна цель: переходить с курса на курс и окончить-таки университет.

Иногда, когда я навещал мать, она пыталась мне сунуть несколько литов, сэкономленных на продуктах. Для начала я сопротивлялся, а потом позволял уговорить себя и, чмокнув мать в щеку, небрежно засовывал деньги в карман.

Мой отец, распрощавшись с барышней из страхового общества, завел девушку из «Летукиса»¹, но домой ее не водил. Видно, у новой подружки была собственная комната. Мать немного повеселела, но худела и чахла на глазах, и я уговаривал ее провериться у хорошего врача. Однако визит стоил десять или пятнадцать литов — крупную сумму для нашей семьи.

Моя сестра, хоть и жила неподалеку, напротив автобусной станции, навещала мать реже, чем я. У нее

¹ Союз кооперативных товариществ Литвы.

своих забот было достаточно — воспитывала девочку, некрасивую и похожую на аптекаря, хотя кто мог знать, какой красавицей она вырастет... Так или иначе, я стал дядей. Я бывал у сестры редко, один раз выпал на крестины. Аптекарь старался отгородиться от родных жены, а у меня тоже не было желания особого поддерживать с ним отношения. Таким образом, я чувствовал себя очень одиноким на этом свете (который пока что ограничивался Каунасом), только лекции и занятия с учениками не оставляли времени из-за этого переживать.

Казис со своими как в воду канул. Не получил от него ни словечка, хотя не представляю, по какому адресу он мог мне написать. Нельзя было требовать от Казиса такой сообразительности, чтоб он написал в университет.

Зенонас Кубилявичюс и здесь шел на всех парах, но я пока что сдавал зачеты и экзамены не хуже, что, кажется, не очень-то ему нравилось. В прозекторской мы работали за отдельными столами. Бросали друг другу «привет», и на этом разговор кончался.

Стремительно приближалась осень. Листья на деревьях стали желтыми и красными, кружась волчком, опускались на тротуары, по небу ветер гонял сизые тучи, изредка открывая бледное и нежаркое солнце. Часто моросил дождик, шелестя в еще не опавших листьях. В такие дни особенно хорошо бывало среди жизнерадостных студентов. Веселье не покидало нас даже в прозекторской. Эти пропитанные формалином препараты не напоминали нам о смерти, а если иногда мы и находили какую-то связь, смерть казалась далекой и нереальной, касающей всех людей на свете, кроме каунасских студентов-медиков.

Поэтому и день поминовения усопших не произвел на нас большого впечатления, хотя и повлиял на мой образ мыслей. Студенты атейтиники¹ стали собирать пожертвования на молебен за упокой душ людей, по телам которых мы изучали анатомию. Но другие сту-

¹ Члены клерикальной молодежной организации.

денты тоже собирали пожертвования. Один из них, такой тихоня, что слово из него можно было вытянуть, лишь спросив о чем-нибудь (ответ чаще всего состоял из лаконичных «да» или «нет»), вдруг разразился:

— Мертвым все равно, молимся за них или нет. А вот живым — не все равно. Я имею в виду заключенных, друзья. И предлагаю жертвовать деньги не на молебен, а на улучшение условий содержания политических заключенных.

Каторжная тюрьма была по соседству с университетом. Большинство наших препаратов (сейчас мне странно, что мы так называли останки людей) доставлялось из тюремного морга. Попадались, конечно, и неопознанные утопленники, и лица, которых некому было хоронить. Всех этих людей (а ведь до того, как угодить на наш стол, они были людьми) объединяла общая доля — бедность.

Я пожертвовал и для политзаключенных и на мессу. Не потому что религия была близка моему сердцу: пожертвования на молебен собирала миловидная девушка, и неудобно было отказать ей. Однако для политзаключенных я выделил больше.

Паренька, предложившего собирать пожертвования для политзаключенных, звали Пятрас Старкус. Он, как и я, зарабатывал репетиторством. Только обучал он не учеников, а студентов. Если какому-нибудь сынку из богатого семейства не давалась физика или химия, Старкус его так натаскивал, что тот сдавал экзамены на пятерки. Учеников у него было немного, зато он брал дороже, чем я. Что ж, мне работать с лентяями и тупицами гимназистами было куда легче.

Наверно, с Пятрасом я подружился после того, как вручил ему свои несколько литов. Выяснилось, что не такой уж он неразговорчивый. Мы часто вместе возвращались с лекций. Оказалось, что домой нам было по пути — я снимал комнатку на улице Жемайчу, а Старкус жил еще дальше, на высоком обрыве, с которого виднелась Нерис и Вилиямполе за рекой.

Я любил Жалякальнис, хотя поселился здесь только потому, что в центре комнаты стоили дороже. Конеч-

но, можно было найти дешевую комнату и в Шанчяй, но этот район мне не нравился, Панямуне и Вилиям-поле, не говоря уж о Фреде, были слишком далеко. А в Старом городе комнаты стоили не намного дешевле, чем в центре.

Какие были политические убеждения Старкуса, я так и не узнал точно, во всяком случае, он был из левых. Правду говоря, в понятии «левый» тогда для меня умещались все политические партии и идеологии. Более того: мне казалось, что все левые — это коммунисты. А слово «коммунист» поначалу наводило на меня страх. Говорю «поначалу», потому что истины, преподанные мне таким ничтожеством, каким был банковский служащий (которого я должен был считать своим отцом), вскоре предстали в ином свете, подчас превратившись в свою противоположность. Конечно, уже после того, как этот банковский служащий потерял в моих глазах последнее уважение.

Раз уж я говорю отступлениями (а когда рассказываешь о далеком прошлом, трудно вообразить монолог без отступлений), придется вернуться от рассуждений об идеологии в комнату на улице Жемайчу. Снял ее по сходной цене лишь потому, что изучал медицину. То, что я только начинал ее изучать, не имело значения. Хозяйка, пожилая вдова, супруг которой, представитель фирмы швейных машин, сейчас покоился под гранитным надгробием в самом конце кладбища, страдала ипохондрией, и присутствие под одной крышей студента-медика придавало ей мужества влачить свое душевное бремя. Пожалуй, стоило бы мне сказать, что съезжаю, как она еще снизила бы плату, хотя, повторяю, комната и без того была недорогая. Почти каждый вечер она стучалась в мою дверь, чтоб показать, где у нее болит. Каждый раз у нее болело в другом месте, и диагноз (вдова зачитывалась популярными медицинскими изданиями и сама себя лечила) тоже был другой. Я авторитетно высмеивал ее страхи — я искренне не верил, чтобы эта женщина может чем-то хворать, и моя убежденность передавалась ей. Она возвраща-

лась к себе успокоенная, и иногда в виде гонорара приносила мне варенье собственного приготовления (особенно нравились мне «райские яблочки») или печенье из слоеного теста.

Единственное окно моей комнатки выходило в сад. Столик у окна, полка для книг (на ней не хватало черепа, непременно атрибута студентов-медиков, символа и украшения, которого я никак не мог раздобыть), железная койка и два стула (на одном я сидел, а другой служил платяным шкафом, для которого в комнатке уже не оставалось места),— все это движимое имущество было собственностью хозяйки квартиры (и всего дома). Моими были только анатомия Раубера и Копша на немецком языке (дорогая книга, которую все-таки осилил купить), один костюм и одна пара туфель.

А сад и правда был прекрасен. Жил я в этой комнатушке уже второй год, стало быть, видел сад во все времена года. В конце весны он радовал глаз розовыми и белыми цветами плодовых деревьев, а в распахнутое окно врывался хмельной запах сирени, жасмина и нарциссов. И кусты сирени или жасмина, или нарциссы, благоухающие каждый в отдельности, сливались воедино; меня захлестывал иной, своеобразный аромат, мешающий сосредоточиться, развеивающий мысли и будоражащий чувства. И все-таки я занимался. Правда, старался не выходить в садик — ведь если бы я уселся под каким-нибудь цветущим кустом, ни одна из умных дисциплин, которые я так старательно вдавливал, не задержалась бы в голове.

На втором курсе, уже после дня поминовения усопших, когда я сидел поздним вечером над учебником анатомии, до меня донесся свист. Улица была тихая, по ней редко кто проезжал, — автомобилей тогда в Каунасе было мало, а извозчикам тоже здесь нечего было делать. Скорее чутьем, чем головой, я понял, что ищут меня.

Вышел на улицу.

Облокотившись о деревянный забор, окружавший наш дом, стоял Старкус. Под забором что-то лежало. Присмотревшись, я разглядел ранец.

— Тулейкис, ты бы не мог оказать дружескую услугу?

Я промычал нечто неопределенное, не зная, какая потребуется услуга и смогу ли ее оказать.

— Парень ты вроде ничего, на тебя можно положиться. Ни в какую корпорацию не вступаешь, а это уже кое-что. И среди корпорантов встречаются приличные ребята. Но доверять им не могу.

— Туманно говоришь, Пятрас.

— Яснее и не буду. В твоей комнате никто не шарит?

— Нет. Хозяйка у меня порядочная. Вчера ее уговорил, что заражения крови у нее нету. Она палец иглой уколола — поболело немного, и прошло.

— Здесь, у забора — ранец. Когда уйду, повремени немного, и спрячь у себя. Ты вне подозрений.

— Что же в этом ранце? Бомбы?

— Похлеще. Но ни ты, ни твоя хозяйка в воздух не взлетите. Там хорошо упаковано, не развязывай.

— А что мне с ним делать?

— Если завтра-послезавтра не заберу, за ним придет девушка.

— Красивая?

— Не знаю. Видел часто, а вот красотой не поинтересовался. Зато умница. Спросят, нет ли чего для Вале.

— Ее зовут Вале?

— Это неважно. А может, сам заберу. Только не уноси далеко. Я их запутал, через заборы сюда добирался. Но от них так легко не отделаешься.

— Полиция?

— В штатском. Ну, я пошел, пока никого не видно. Будь здоров, Каролис.

Ранец, какие носят ученики начальных классов, я сразу в дом не понес, сперва спрятал в кустах жасмина. Долго наблюдал за улицей. Проходили влюбленные пары — даже осенью многие падают жертвой любви. Прогрохотала двуконная платформа с ящиками — наверно, везли кому-то пиво. Ранец в свою комнату я перенес только некоторое время спустя. Наверху он чуть-чуть отсырел, хотя на улице дождя не было, и я

испугался, не испортилось ли содержимое. Нет, кипа бумаг, хорошо завернутая и крепко перевязанная, была сухая. «Куда я дену ранец, если нагрянет полиция?» — подумалось. Полицейских я боялся. Знал, как жестоко они набрасывались на рабочих-стачечников. Это ни для кого не было секретом.

Назавтра Пятрас Старкус не явился на лекции, не пришел и на третий день. Хотел навестить его, решив, что он болен, но не знал точного адреса; когда провожал его, он прощался со мной не доходя обрыва. Потом, видел я, он спускался с него по тропинке. Внизу текла Нерис, за рекой толпились деревянные домишки Вилиямполе, убогие и серые. Старкус исчезал за одним из тех домиков, которые из-за реки, наверно, казались ласточкиными гнездами, прилепившимися к круче.

Через три дня пришла девушка. Моя хозяйка была крайне возмущена этим, однако ее впустила.

— Вале? — спросил я.

Она улыбнулась:

— Она самая. А если я из охранки?

— Для охранки не подходите. Там все с квадратными лицами — сразу видно, что переодетые полицейские.

— Давайте пакет.

Я подал. Спросил:

— Пятрас болен?

— Хуже. Его взяли.

— Все-таки...

— За хранение этого пакета и вы получили бы порядком. Годков этак семь. Не отвертелись бы, хоть и ничего не знали.

— Зачем же вы подвергали меня опасности?

— Вас-то? Вся страна в опасности. Чем вы лучше других?

Я не знал, что ответить, и черты ее лица снова смягчились.

Проводил ее до калитки. Она не ушла, пока не убедилась, что улица совершенно пуста.

— Спасибо, товарищ, — сказала она.

Ко мне так обращались впервые, и это потрясло меня.

Поздним вечером, перед тем как идти спать, хозяйка объясняла мне, что я, наверно, знаю, какие опасности в наше время подстерегают молодого мужчину от каждой девушки. Она так вжилась в свою роль, что даже забыла, в каком боку у нее колики.

А два дня спустя, в такой же вечер, ко мне снова пришла женщина, но хозяйка, наверно, сразу поняла, что это моя сестра. Знала о ее существовании и удивлялась, что та ни разу меня не навестила. Мама приходила несколько раз и восхищалась садом. «Если б что-нибудь такое было у нас»,— говорила она.

— Мама умерла!— крикнула сестра с порога.

Я ничего не сказал, да и не мог: казалось, меня схватили за горло и душат.

Наконец я пришел в себя.

— Когда?

— Несколько часов назад. Последние дни плохо себя чувствовала.

— И отец не вызвал врача?

— Мама не хотела.

Да, это было похоже на правду. Ведь сколько раз я уговаривал мать показаться врачу, когда ей стало хуже.

— Почему только сейчас сказала?

— Сейчас? Может, тебя легко найти?

— Так отчего умерла, скажи наконец?

— Это определяют судебные медики. Может, пошевелишься?

Наверно, моя сестра грубым тоном прикрывала волнение, а может, жизнь с нелюбимым мужем сделала ее такой. Скорей всего, виной здесь была смерть матери. Я дважды видел Циле с молодым человеком, который мне очень даже не понравился, но, наверно, нравился сестре,— судя по тому, как она на него смотрела. И это не был тот студент, за которого ей не позволил выйти отец.

Несколько дней я жил как во сне. Смотрел на покойную мать, на сплетенные восковые руки, на чадя-

щие свечи и временами думал: вот-вот я проснусь и окажется, что все это неправда, страшный сон.

Но я не проснулся, ни когда ксендз окропил могилу, ни когда комья сырой осенней земли застучали по крышке дешевого деревянного гроба. В мыслях не было связи, едва зародившись, они тут же обрывались, уступая место другим, а иногда в голове вдруг разверзалась пустота, и это было страшнее всего. Безотказно действовали только рефлексy — я крестился, кидал землю, говорил «благодарю» соседям, выражавшим соболезнование, перекинулся несколькими словами с аптекарем, который тоже присутствовал на похоронах, сказал сестре «не плачь» — она была в истерике. Пожалуй, ей не так уж было жаль матери — просто охватил страх от столкновения со смертью. Отцу, звавшему меня домой на поминки, я ответил «нет», поклявшись себе никогда больше не переступить порога дома на улице Бажничёс.

Как лунатик, в стороне от всех, я брел по кладбищу, минуя гранитные надгробия, кресты, среди которых были и сколоченные из двух пропеллеров (под ними покоились погибшие летчики), ветхие деревянные крестики, на которых нельзя уже было разобрать фамилию похороненного, смотрел на фотографии красивых девушек, которых смерть подкосила в самом расцвете (об этом говорилось и в поэтических эпитафиях). Под ногами шуршали багровые листья, опавшие с оголенных уже деревьев, наготу которых подчеркивал один-единственный лист, удержавшийся на самой верхушке клена, трепещущий на ветру и никак не желающий оторваться.

Дня через два я проснулся с ясной головой. Обвинил себя, что не заботился о матери, не сводил ее силой к врачу, потом стал искать оправданий и, обнаружив какие-то доводы в свою пользу, успокоился.

А вскоре выпал снег, и в городе снова зазвенели бубенцы, но извозчиков на улицах стало меньше, — их уже вытесняли автомобили; меня это не волновало. Приближалась очередная сессия.

IX

Когда учишься в университете, сколько бы ты ни сидел над книгой или микроскопом, в свободные часы вдалбливая лодырям и тупицам синусы да косинусы, все равно обзаводишься новыми друзьями.

Старкус исчез из нашего поля зрения, и я не сомневался, что он все еще в охранке. Какое-то время я глубоко переживал за него, но юность легко побеждает грусть. Я дружил теперь с парнями и девушками — с девушками, пожалуй, даже больше, забывая о разнице полов; нас объединяли занятия, которые все больше увлекали меня. Связь с сестрой милосердия оборвалась из-за моей вялости и ее желания узаконить эту связь, и я снова зажил непорочной жизнью, как пустынный. Когда весь день видишь только анатомические препараты (мы продолжали так называть пропитанные формалином трупы) да сердце лягушки, не говоря уж об учениках, лень которых — источник твоего существования, быстро забываешь вкус отведанного однажды запретного плода, хотя при других условиях этот плод затмил бы тебе все на свете.

Я мог спокойно дружить с девушками, не думая о том, чем мы разнимся.

У нее, Палёните, было два имени — Алдона-Юлия. Мы работали в прозекторской за одним столом. Там занималось много девушек, но они поглядывали на других парней, а Алдона-Юлия — только на меня. Это не значит, что она не бросала взгляды и на других, но равнодушно — как на люстру, колонну, стол прозекторской, наконец. На меня же она смотрела по-иному. Вначале это меня раздражало, и я притворялся, что не замечаю ее взглядов. В раздевалке она долго надевала меховые сапожки, основательно закутывалась в шаль. Казалось, она поджидает меня. Я бросал слово-другое, намекал, что она спешит на свидание, раз уж так наряжается, а потом, понимая, что она хочет уйти со мной, резко прощался («я спешу») и оставлял ее в теплом и светлом полуподвале факультета, где в малень-

ком буфете за раздевалкой профессор анатомии сражался со студентами в шахматы.

Шагая по улице Мицкевича, я уже жалел, что поступил по-хамски — Алдона-Юлия мне нравилась. Это была брюнетка, со здоровым цветом лица, карими глазами преданного пса и ямочками на щеках; когда ее красивые губы, не толстые и не тонкие, приоткрывали два ряда зубов ослепительной белизны, наверно, никогда не знавших зубного врача, невольно думалось, что такие зубы изображают на рекламах зубной пасты.

Может, меня смущало убожество духовной жизни Алдоны-Юлии? Не думаю. Бросив на себя критический взгляд, мог бы даже сказать, что в этой области она меня превосходила. Правда, я стал завсегдатаем в опере, с галерки восхищался страстями на сцене и несравненным мастерством Кипраса Петраускаса; так и не научившись курить (выкурил однажды штук пятнадцать сигарет и жестоко поплатился за это — весь вечер меня рвало), в курительной комнате, чтоб выглядеть посолиднее, все-таки выкуривал сигарету-другую марки «Кипрас Петраускас», пуская дым через нос и не затягиваясь. Алдона-Юлия ходила не только в оперу, она посещала и концерты. Как я потом узнал, сама она училась игре на рояле, а на медицинский факультет поступила больше по воле отца-врача, чем по своему желанию; правда, однажды поступив, она в этом не раскаивалась и пальцами пианистки так мастерски препарировала затерявшуюся между мускулами ветвь нерва, что даже профессор, остановившись у нашего стола, кивал головой, глядя на нас с прищуром, выпуская клубы дыма (студентам курить здесь запрещалось), и одновременно говорил скрипучим голосом что-то нечленораздельное, но это была не ругань — ругался он весьма внятно.

Потом за Алдоной-Юлией стал ухаживать Зенонас Кубилявичюс. Я бы стерпел любого из студентов, но Зенонасу давно не мог простить его эгоизм, а может, карьеризм, хотя это, скорее всего, синонимы. Вспомнил, как он прикрывал локтем письменные по матема-

тике, чтобы никто не увидел ответ, как он криво ухмылялся, когда кого-нибудь прогоняли от доски. И его поднятую руку, когда учитель спрашивал: «Ну, кто может ответить?» Да, Зенонас мог ответить всегда — он был машиной для зубрежки, что, в сущности, не предосудительно, не будь это связано с завистью к другим и сомнением.

Увидев, как они на «Травиате» сидят в партере (я, как всегда, стоял на галерке), я понял, что дальше так продолжаться не может. Алдона-Юлия была слишком хороша для этого проныры. Поэтому на следующий день в прозекторской поинтересовался:

— Как вчера понравилась «Травиата»?

— Ах, спасибо. Зенонас рассказал, что мы были?

— Сам видел. Стоял в галерке и видел вас в партере.

— И не выходили в антракте?

— Нет.

— Жаль. Поболтали бы втроем. Кстати, Зенонас очень хвалил вас.

«Вот сволочь,— подумал я,— он меня ненавидит, не знаю даже почему, но пускает пыль в глаза, показывая свое благородство и даже великодушие».

— У него нет никаких оснований хвалить меня, а у меня — его.

— Откуда такая антипатия?

— Может, и не антипатия. Каждый идет своей дорогой.

Понял, что звучит это слишком театрально, но не был уверен, заметит ли эту театральность Алдона-Юлия.

— Причем тут свои дороги, Каролис? Дороги могут и не скрещиваться. Да и на одной дороге места хватает всем.

Она посмотрела на меня своими карими глазами верного пса, и четко очерченные брови чуть вздернулись, словно она хотела еще о чем-то спросить; она в самом деле хотела что-то сказать, потому что махнула рукой с пинцетом и выдохнула: «ничего».

У раздевалки ее уже поджидал Зенонас, а я, злой и расстроенный, потащился домой. Это заметила даже хозяйка, когда я пришел на кухню вскипятить чаю. Она, наверно, только что начиталась о сахарной болезни, потому что тут же спросила, нет ли у нее этих симптомов, и я, хотя о диабете знал, пожалуй, меньше ее, решительно возразил. За это меня угостили яблочным пирогом.

Прошло дня два, а может, больше, и я предложил Алдоне-Юлии сходить в кино. Она посмотрела с нескрываемым удивлением, но, немного помедлив, согласилась. (Если и помедлила, то лишь столько, сколько требуют приличия или этикет, а может, прикидывала, есть ли у нее завтра свободный часок.) Но домой ушла опять с Зенонасом, который ждал ее в раздевалке, не отходя ни на минутку, а у меня не было оснований подойти и сказать ему «отвяжись» или «я пойду с ней, а не ты». Даже решился я на это, неизвестно еще, как бы прореагировала Алдона-Юлия; скорее всего удивилась бы и снова вздернула свои черные брови да еще неодобрительно покачала головой.

В кинотеатре «Глория» давали картину с Кларком Гейблом, а в дивертисменте выступал Александр Вертинский, который нам понравился не меньше фильма. На улице поджигал мороз, как всегда под конец зимы. Мы шли мимо кафе, там играла музыка, за заиндеветыми окнами виднелись спины сидящих за столиками людей.

— Сходим когда-нибудь, ладно?— спросила Алдона-Юлия.

Я что-то промычал, потому что боялся кафе до смерти. Там ведь надо бойко ходить между столиками в поисках свободного места, а твои руки кажутся чужими, как бы пришитыми к телу— не знаешь, куда их деть. Кино и театр— другое дело. Там люди смотрят на занавес или на белый холст, а в кафе все глазеют на тебя. Даже не на тебя, а на твои руки. Я уже не раз бывал в кафе (правда, и не десятки раз), и каждый раз мой лоб покрывался испариной от волнения.

Алдона-Юлия ждала ответа, потому что мое мычание ей ничего не говорило.

— Обязательно,— сказал я. И, будто черт меня дернул, добавил:— Давайте сейчас?

Сразу же пожалел о сказанном, но жребий был брошен.

— Только на минутку,— согласилась она.— Папа будет волноваться.

— А мама?

— Мама будет волноваться потому, что волнуется папа,— сказала Алдона-Юлия, и в ее словах мне слышалась горечь. А может, мне показалось, потому что я с волнением думал о том, как пройду по залу, и все, что слышал и видел, было как в тумане.

Поблуждав среди мраморных столиков, мы уселись в самом центре зала, и это окончательно испортило мое настроение. Взгляды всех были направлены только на меня, и никто на свете не мог бы убедить меня, что у этих людей есть достаточно своих забот. Оркестр играл танго, стены зала сверкали блесками, нарядно одетые официантки в белых передниках сновали между столиками. Мы заказали по стакану шоколада и по пирожному; взбитые сливки лезли из стакана и, едва я прикоснулся к ним ложечкой, белая пена шлепнулась на стол. А тут еще пирожное перевернулось. Алдона-Юлия со смехом сняла крем салфеткой, а я попытался пошутить над собственной неловкостью, но шутка не получилась, я даже сам не понял, что хотел сказать.

Оркестр уже играл английский вальс, а Алдона-Юлия сказала:

— Через неделю мой день рождения. Придете к нам?

Я молчал, соображая, что ответить, а она ждала. Это был аристократический дом, если принять, что в Каунасе существует аристократия. В любом случае, это был не дом внезапно разбогатевшего купца. Отец — известный каунасский врач, а Алдона-Юлия — единственная его дочь. Судя по тому, какие гонорары брал

ее отец, какую широкую имел практику, и по нарядам Алдоны-Юлии, этот дом — полная чаша. Без сомнения, у них бывали люди, у которых дом тоже полная чаша и которые, лавируя между столиками в кафе или ресторане, знают, куда девать руки.

— Алдона-Юлия... — начал было и не кончил, так как сначала решил сказать «нет», а потом заколебался.

— Что же? — спросила она после паузы, не дождавшись ответа. — Что же? — повторила и добавила: — Думаю, меня можно называть только первым именем.

— В вашей зачетке два.

— И в паспорте... Что же?..

— Ничего...

— Придете? Кстати, не смешно ли, что мы знакомы уже второй год, и все еще «выкаем»?

Я хотел ответить, что не смешно, потому что она из богатых сфер, а я, сын низшего (или среднего) банковского служащего, сам себя содержу, вдавливая лентяам, что Пи (пишется, конечно, греческой буквой) равняется 3,14159, а они зазубривали это, все равно не понимая сути; еще мог бы рассказать, как, бегая по этажам Земельного банка, нажимал на кнопки контрольных часов.

Нет, не рассказал об этом, да она и без того знала о моем репетиторстве — на курсе это ни для кого не было тайной. Да и Зенонас, конечно, постарался преподнести это в анекдотическом виде, одновременно хваля меня (что должно было показать его с выгодной стороны), — родители Зенонаса были богатыми горожанами из Шяуляй, в деньгах он никогда не стеснялся.

— Стоит ли, — все-таки сказал я. — Наверно, не пойду к вашей компании.

— Еще чего! Приглашу двух девочек с курса...

— И Зенонаса?

— Зенонаса?.. Чудесно. Если хотите — могу и его. Он говорит, в гимназии вы были закадычными приятелями.

Я рассмеялся.

— О, мы — и закадычные приятели!

— Могу и не приглашать его, Каролис...

— Да ладно, пускай приходит, все-таки не буду чувствовать себя...

Не закончил. Не знаю, что хотел сказать: «так глупо» или «так одиноко». Мысль оборвалась одновременно с последним аккордом медленного фокстрота. Музыканты клали инструменты на стулья и прислоняли к фортепьяно, а это значило, что они делают перерыв. Наверно, уходили поужинать, конечно, тут же, в кафе.

Я проводил Алдону-Юлию домой.

Господи, в каком тесном кругу вращается моя жизнь! Та же площадь, на другом краю которой светятся щели в ставнях дома Агне. А напротив — большие окна Земельного банка. Интересно, кто там теперь бегает среди контрольных часов? Куранты на башне Военного музея пробили одиннадцать.

Мы сказали друг другу «спокойной ночи», и Алдона-Юлия задержала свою руку в моей. Так мы прощались впервые. При свете уличного фонаря красота Алдоны-Юлии была какой-то таинственной, во всяком случае, так мне показалось.

Я не знал, что делать с ее рукой. Наверно, следовало сказать что-нибудь о красоте Алдоны-Юлии или просто поцеловать ее. Пожалуй, так. Но я притворился простаком, не понимающим, почему она медлит; я держал ее ладонь, как держат платок или театральный бинокль, но не как руку понравившейся девушки (в тот вечер я понял, что девушка нравится мне). И, насколько помню, промелькнули тогда в воображении грубая, циничная, но и искренняя любовь Викте, и профессиональная любовь сестры милосердия, хотя у сестры милосердия профессия была и другая, чем у Викте. Конечно, тогда, перед двухэтажным особняком Алдоны-Юлии, понятие «профессиональная любовь» еще не приходило в голову, такое сравнение я бы привел позднее; могу лишь сказать, что сестра милосердия в моих воспоминаниях занимала куда меньше места, чем Викте. Агне же превратилась в тень, не оставив-

шую ни знака, ни отметины,—вроде тучи, что затмила городскую площадь и тут же прошла, а на площади снова блестит булыжник или сереет асфальт.

Дни снова потекли по привычному руслу, только мы с Алдоной-Юлией перешли на «ты». Не помню уже, кто первый стал «тыкать», но, зная свой характер (или хотя бы полагая, что знаю его), склонен думать, что это был не я. Мне даже показалось, что коллеги, с которыми мы вместе работали на практических занятиях, поначалу улыбались и даже перемигивались, когда мы с ней разговаривали. Может, в наших интонациях появились новые нотки, которые не слышали мы сами, но улавливали другие. А ведь ничего не произошло, кроме того, что мы сходили в кино и кафе; вряд ли что-нибудь значило то затянувшееся рукопожатие.

Когда настал день рождения Алдоны-Юлии, я, перед тем как уйти из дому, долго утюжил брюки, глядя в окно на заснеженный сад, где на сучьях прыгали воробьи и синицы. Снег падал с веток на землю, у самой земли рассыпаясь белой пылью. Моя хозяйка читала популярную книгу, выискивая новую болезнь, словно недостаточно ей было той неизлечимой, которой она давно уже хворала — старости.

Х

Когда Алдона-Юлия представила меня своему отцу, я растерялся. Так и не понял — вспомнил он меня или нет. Скорее всего, нет — новобранцев-то было много; но мог и вспомнить, ведь я тогда уже был студентом-медиком.

Пока я прикидывал, узнаёт ли он меня (сам не был так речист, чтобы напомнить об этой истории, да и не знал, тактично ли напоминать), гости листали семейные альбомы и рассматривали картины на стенах — оригиналы и репродукции. На картине Жмуйдзинавичюса текла очень спокойная река, и деревья на ней были спокойны, и воздух спокоен, когда малейшее дунове-

ние ветерка не колеблет листву, когда дремлет трава и плоты застывают посреди реки; один плотовщик стоял, держась за длинное весло, другой сидя думал о чем-то или, может быть, спал. Солнца не было видно. Оно скрывалось за спокойными деревьями, стройными, задумчивыми,— лес на картинах часто выглядит задумчивым — здесь его не тревожат ни удары топора лесоруба, ни звук охотничьего рога, ни гомон вспугнутых птиц. А на реке застыли волны, розово-серые или розовые и серые, и при виде этой картины самому хотелось проникнуться спокойствием, какое ощущал плотовщик — тот, который сидел. Картин Шимониса было две. Одна изображала замок, из которого вырастал другой замок, а из другого — третий; небо было темно-зеленое, без единой тучки, может, это было даже не небо, а вода или утонувший замок; нет, не вода,— перед замком стоял часовой в одежде древнего литовца (а может, не литовца), держа в руках странное оружие — не то пику, не то топор. Это был не часовой, а видимость часового, да и замок приبلудился из снов художника. Вторая картина изображала пустыню с причудливым кактусом, видение далеких миров, если они существуют, хотя вряд ли я тогда думал об этом. Но смотрел именно на этот кактус, когда Алдона-Юлия, хозяйка вечера, пригласила всех к столу. Я не знал, куда сесть, но этот вопрос уже был решен хозяйкой: у приборов белели карточки с фамилиями; «К. Тулейкис» соседствовал с карточкой «Палёните». И все же я стеснялся сесть рядом с хозяйкой, не считая себя достойным такого почетного места. Но тут вмешалась мама Алдоны-Юлии:

— Господин Тулейкис, почему вы не садитесь на свое место?

Сама мама сидела на другом конце стола рядом с доктором Палёнисом. Там беседовали гости постарше. Молодежь сидела отдельно, там, где было и мое место.

Я со страхом глядел на обилие разнообразных тарелок, рюмок, вилок и ножей. На таком балу был

впервые. Поэтому ел, присмотревшись, как это делают другие, машинально отвечал на вопросы коротким «нет» или «да», посматривая на отца Алдоны-Юлии, который не так давно спас меня от брани унтер-офицеров и тиранства старшины, от ползания по грязи на учениях, от сна при включенном свете в огромной казарме, где после подъема нужно молниеносно заправить кровать без единой морщинки и где все равно не угодишь, потому что такова уж система воспитания солдат.

Когда меня освободили от службы, коллеги объяснили мне, что когда в комиссии работает доктор Палёнис, медики часто избегают службы в армии. Полковник запаса, консультант военного госпиталя, доктор Палёнис пользовался весом в комиссии по призыву новобранцев; только этим можно объяснить, что, ознакомившись с моим делом (я стоял голышом перед столом комиссии), прослушав сердце, он изрек «не годен», все члены комиссии дружно покачали головами, будто повторяя «не годен», и только один из них засомневался и предложил отправить меня в военный госпиталь на обследование. «Не вижу смысла,— сказал полковник запаса Палёнис,— поражение клапана вследствие ревматизма; органическое поражение или функциональное — невелика разница. Сейчас к военной службе не годен. А может, там и врожденный порок. Не годен.»

Покинув помещение комиссии на улице Гедиминаса, я не на шутку испугался. Долго ждал в приемной известного врача на Лайсвес аллее, который наконец-то вызвал меня и, узнав, что я — студент-медик, не проявил энтузиазма: хотя визит к врачу стоил много, со студентов-медиков платы обычно не брали. «Сердце как у быка,— сказал врач.— Никакого шума. Никакого порока. Что вы себе придумываете?» Я едва сдержался не брякнув, что ничего не придумываю, и по этой причине меня освободили от воинской повинности. Во время прикусил язык: у меня мелькнула мысль, что полковник запаса всю эту историю выдумал.

И вот сейчас он сидит на другом конце стола.

— Как тебе нравится мой отец?—спросила Алдона-Юлия, накладывая на мою тарелку винегрет.— Если не нравится, можешь не отвечать.

— Не терроризируй молодого человека,— с деланной серьезностью сказала девушка, сидевшая напротив меня. Глаза ее были отнюдь не серьезны. Я не мог даже понять, красива она или нет; таких женщин (об этом я узнал позже) называют интересными, и вскружить мужчине голову они могут сильнее, чем писанные красавицы. Но Анита (так ее звали), кажется, не собиралась вскружить мне голову. Зенонасу эта опасность тоже не угрожала. Кубилявичюс сидел рядом с ней через стул от Алдоны-Юлии, и я понял это как уступку именинницы мне: ведь было бы логичнее, если бы по обе стороны Алдоны-Юлии сидели парни. Но мне правда было приятнее смотреть в лукавые глаза Аниты, чем в глаза Зенонаса, в которых отражалось самодовольство, что я не мог вынести, особенно сейчас, когда в этой гостинной и без того разыгрался мой комплекс неполноценности.

По обе стороны стола сидели другие сокурсники — два парня и две девушки. Парни (Зенонас тоже) были в корпорантских лентах под пиджаками, надетых наискосок жилета. В первый студенческий год они были фуксами, сейчас уже стали сеньорами. Я не вступил ни в одну корпорацию. Может, под влиянием Старкуса? Много разговаривать с ним не пришлось, но на все корпорации он смотрел с насмешкой, хотя и без особой ненависти. Может, эта его насмешка заразила и меня. А скорей всего, не вступил потому, что никто меня не приглашал. Раб контрольных часов в банке, пускай и в прошлом,— неважная рекомендация, чтобы стать корпорантом. Конечно, среди корпорантов были парни и беднее меня: они должны были подчеркнуть демократичность этих студенческих объединений. Но такие бедолаги выглядели белыми неграми в общественных организациях: на сборах и вечерах, где выпивались бочки пива, не они провозглашали лозунги за единство нации, не они с рапирами или шпагами стояли у черного флага корпорации, украшенного золотой

бахромой, символизирующей золото, которое потечет в карманы завтрашних врачей.

Алдона-Юлия положила на мою тарелку заливной рыбы, потому что после винегрета я отведал уже и селедки и шпротов. Поскольку за рыбу никто еще не брался, повременил и я, сделав вид, что немного устал от еды; просто-напросто не знал, какую вилку брать; неясно мне было и назначение широкого ножа, лежащего рядом с двумя другими. Зенонас, конечно, догадался, почему я медлю, и, состроив серьезную мину, спросил:

— Нет аппетита?..

Меня подмывало приклеить тарелку с заливной рыбой к его роже; представляю, какая суматоха поднялась бы за столом...

— „*Arbiter elegantiarum*“ меня не научил, чем едят рыбу,— сказал я демонстративно громко. На «галерке» взрослых даже разговор прервался, наверно, прислушивались к тому, что я сказал; потом шум возобновился.

— Ну и злюка же ты,— сказала Алдона-Юлия, но мне казалось, что она довольна моей репликой.

— Кто упомянул „*arbiter elegantiarum*“?— спросил один из гостей. Он как раз занимал такой чин в корпорации медиков, если это можно назвать чином, конечно. Мне казалось, что богатые и без того элегантны, и так знают, когда каким ножом пользоваться. А бедности элегантность не привьешь.

Я сейчас относился к какой-то промежуточной категории, как бы висел между мещанским уютом, которого мог добиваться, и нищетой.

— Я только так,— сказал миролюбиво— этот «арбитр» был приличным парнем. А то, что на студенческих торжествах он держал в руках шпагу (или рапиру, отличишь тут), не казалось преступлением даже Старкусу. «Пусть поиграются,— говорил он.— Сабли у них тупые, не рубят».

— Удивлен, почему ты не вступаешь в нашу корпорацию,— продолжал арбитр элегантности.— Ни в «Гаю»,

ни в «Ажуолас», наверно, ты не пойдешь — политикой не интересуешься. А наша корпорация вне политики. Среди наших филистеров есть и таутининки¹, и ауш-рининки², и жайздрининки³.

Филистерами называли врачей, принадлежащих к корпорации в студенческие годы. Я вспомнил, что действительно среди филистеров есть врачи различных взглядов.

— Аполитичность в наше время — тоже политика, — ответил я словами Старкуса. Подумал, что он был бы доволен, слыша это. И еще подумал, что сейчас он в тюрьме хлебает жидкое крупяное варено, а я набиваю брюхо всякими новыми для себя деликатесами.

— Что значит — «в наше время»? — спросил Зенонас. Вопрос был явно провокационный.

Я ничего не ответил, даже не взглянул на Зенонаса.

— Я мог бы рекомендовать тебя, Тулейкис, — продолжал арбитр.

— Спасибо. Не хочу подносить бокалы с пивом сеньорам. Не желаю, чтобы мною помыкали и заставляли лазить под стол. Не гожусь я в фуксы.

— В нашей корпорации нет фуксов. Мы их называем юниорами. И под стол лазить не будешь.

— Чего вы пристали к Каролису? — вмешалась Алдона-Юлия. — Лучше предложи всем выпить, господин арбитр. Тост за меня уже был, а петь «долгие лета» рановато, вот и придумай что-нибудь другое.

— За корпорацию «Патриа», за наших сестер-меди-чек! Предлагаю до дна! *Prosit! Vivant virgines!*

У арбитра был звонкий голос, черные блестящие глаза и тонкие мексиканские усики. Мне показалось, что Зенонас смотрит на него с завистью, хотя оба они принадлежали к одной корпорации.

— Как хорошо, что я не принадлежу к этому цирку, — буркнула Анита и уточнила: — Что я не корпорантка. И даже не медичка.

¹ Члены правящей националистической партии.

² Члены молодежной организации социалистического толка.

³ Члены социалдемократической студенческой организации.

— Ты не откажешься показать нам свое искусство?— поинтересовалась Алдона-Юлия.

— Думаю, что моего искусства здесь никто не поймет.

— Даже я?— спросила именинница.

— Причем тут ты? Твой друг, пожалуй, тоже б понял,— она взглянула на меня.— Он не размахивает саблей на попойках.

Зенонас услышал эти слова, хотя все за столом разговаривали, и обрывки фраз летали между гостями как шарики пинг-понга. Мне показалось, что он даже побледнел; конечно, это был лишь плод моей фантазии, однако на его щеках заходили желваки. Я знал Зенонаса. Такое не свидетельствовало, что он доволен.

— Никто не размахивает, как вы выразились, саблей на наших вечерах,— отозвался Зенонас, и его голос прозвучал несколько агрессивно.

— Я не к вам обращаюсь,— холодно отрезала Анита. Она даже не повернула головы к Зенонасу, казалось, говорила хрустальному бокалу с французским вином.

— Помни, Анита, ведь и я корпорантка. Ты слышала тост в честь моей корпорации.

— Ты-то не размахиваешь саблей, Алдона.

Зенонас помрачнел, а я был доволен.

— Вижу, Зенонас, и у тебя пропал аппетит,— сказал я.

— Я уже ел заливную рыбу, это не составило для меня проблемы.— Он думал, что поддел меня.

— Да, для тебя еда никогда не была проблемой,— подхватил я.— Уже в колыбели ты махал серебряной вилкой, воображая, что это рапира корпоранта.

— Не понимаю, что здесь творится,— недовольно сказала Алдона-Юлия.— Праздничное настроение, называется. Вы же школьные приятели. И оставьте наконец в покое корпорации. Это ты начала, Анита. И в наказание придется тебе танцевать.

— В наказание или за вкусный ужин?

— Анита, ты невыносима!

— Девушки, вы всерьез или в шутку?— спросила моя соседка слева. Это была миловидная студентка-стоматолог, очарованная безупречными блестящими зубами арбитра элеганции. Мои зубы тоже были ничего, но она на меня не обращала внимания; наверно, требовались еще мексиканские усики. Алдона-Юлия знала, как рассадить гостей за столом. За исключением Зенонаса: его-то вообще не стоило усаживать. Сам виноват — согласился, чтоб его пригласили.

Горничная проворно поменяла тарелки, и появились огромные блюда с индюшатиной. Чернослив важно выстроился вдоль золотой каемки блюд. За столом воцарился мир.

После ужина, перед сладким и кофе, гости снова вернулись в гостиную. Двустворчатая стеклянная дверь бесшумно закрылась. В столовой госпожа Палёнене со служанкой убирала со стола.

Корпорант с мексиканскими усиками сел за рояль, раскрыл ноты, и из-под пальцев, обычно держащих или скальпель, или рапиру, полилась музыка. Для меня это было неожиданностью, равно как и то, что Анита начала танцевать.

Она танцевала босиком, руки ее изгибались вопреки законам анатомии — я прекрасно знал, где находятся суставы. Конечно, это была иллюзия; человек ведь не может не повиноваться своей анатомии. Ноги Аниты едва касались пушистого ковра, а часто совсем не касались: опять иллюзия. Тело иногда изгибалось назад так, что Анита, крепко упираясь ногами в ковер, почти касалась его своими густыми волосами. Я уже видел балерин, которые, легко касаясь подмостков сцены кончиками пальцев, кружились в пируэтах или в прыжке растягивали шпагат, но там им помогали пуанты. Это было нечто другое, не знаю даже, — танец это или акробатика. И самое странное, сейчас Анита была не только интересна, она казалась прекрасной. Когда же танец кончился и раздались аплодисменты, она скромно опустилась в кресло в углу гостиной, и прекрасны-

ми остались только ее глаза. Выйти на бис она отказалась.

— Свободный танец,— сказала какая-то дама доктору Палёнису.— Это, конечно, оригинально, но никогда не вытеснит классический балет. Барышня Анита, кажется, последовательница Мери Вигман.

— Не разбираюсь я в этих тонкостях,— признался доктор Палёнис,— и не очень-то понимаю, чем Мери Вигман отличается от прекрасной Айседоры.

— Танец Айседоры родился из танца древних греков.

— Для меня это слишком сложно.

— Ценю Аниту, доктор, но предпочитаю классический балет.

Для меня все эти понятия были внове. Не знал даже, за кого я: за Аниту или за балерин Каунасской оперы, где вместе с билетом на галерку можно было купить и танец лебедей и цыганские страсти.

— Какие думы тебя терзают?— спросила меня подошедшая Алдона-Юлия.— И почему ты одинок как демон?

— Не нашел своей Тамары.

— Что ж, Тамаре придется так и остаться в монастыре. Сейчас будет кофе. Сладости любишь?

— Страшно.

— Помню, как ел пирожное с кремом.

— Который плюхнулся на скатерть.

— Теперь получишь изумительный «наполеон».

— Наполеон?— я понимал — не следует спрашивать, показывая собственное невежество, но мне казалось, что перед Алдоной-Юлией могу не играть.

— Кто желает быть Наполеоном?— спросил подошедший к нам доктор Палёнис. Он положил руку дочке на плечо.

— Наполеон неважно кончил,— сказал я.

— Не надо было ввязываться в войну с русскими. Снова открылась раздвижная стеклянная дверь.

— Милые гости, прошу к кофе,— пригласила госпожа Палёнене.

Теперь за столом все расселись по-другому. «Старики» перемешались с молодежью. Я оказался рядом с доктором Палёнисом.

— До меня долетели обрывки ваших разговоров,— сказал он.— Если бы вы вступили в корпорацию...

Подошла Алдона-Юлия.

— Хоть ты, папа, не терзай бедного Каролиса. Как тебе нравится торт?

Вопрос был адресован не отцу, а мне.

— Ого!— ответил я.

Она рассмеялась и ушла.

— Я тоже против всей этой мишуры,— продолжал доктор Палёнис.— Это традиции прусских буршей. И немцам, на мой взгляд, они годятся. Мы — страна земледельцев — еще не успели создать свои университетские традиции.

— У меня даже времени бы не нашлось, чтоб участвовать в этих обрядах.

— Обрядах! Метко сказано. Кстати, вы зарабатываете уроками?

Профессиональные нищие кичатся своей бедностью, хотя у многих припрятан изрядный капиталец. Я нищим не был, так что напоминание о бедности вызывало у меня стыд и ярость. Сейчас, когда я ел торт, кусочки которого таяли во рту, едва поднесешь ложечку к губам, этот сплав стыда и ярости как-то притупился. И все-таки я немного покраснел; сам почувствовал, что щеки горят.

— Зарабатываю.

— Когда же вы спите? Так долго не выдержите.

Меня подмывало рассказать, как я проверял контрольные часы, урывая по пятнадцати минут в час на сон и автоматически просыпаясь. Сон тоже приходил автоматически, часто я засыпал на ходу. Это был профессиональный лунатизм.

Не стал рассказывать. Наконец, работая в Земельном банке, я не учился.

— Некоторые живут не лучше. Многие.

— А некоторые — лучше,— возразил доктор Палёнис.— Значительно лучше. Почему бы вам не получать стипендию?

За столом царил порядочный гул, никто не прислушивался к нашему разговору.

— Не знаю, чью стипендию я бы мог получать.

— Министерства обороны. Если не ошибаюсь, триста литов в месяц. Занимались бы без всяких забот.

— Не думаю, господин доктор, что мне ни с того ни с сего отвалят стипендию.

Я говорил уже не как застенчивый юнец, несколько бокалов вина состарили мою речь лет на двадцать.

— После университета отработали бы.

— Где?

— В армии. Работа легкая. Если случится больной потяжелее — посылаете в военный госпиталь. Квартира, обмундирование, хорошее жалованье.

— Не годен к военной службе. Освобожден.

— А я вас помню. Каждому пожелал бы такого здоровья.

Снова подошла Алдона-Юлия.

— Два медика обязательно должны говорить о здоровье. Даже за столом.

То, что Алдона-Юлия свалила нас с доктором в одну кучу, показалось мне святотатством. Я почитал доктора Палёниса. И посмотрел на нее с осуждением.

— Дамы и господа, начинается вечер танцев! Вальс барышень! Какую музыку желаете? Рояль отпадает, сам хочу танцевать! Останется патефон и радио! Коллега Алдона, неужели вы меня не пригласите?

Я был благодарен арбитру элеганции, который перебрал вина и горланил теперь за столом. Алдоне-Юлии пришлось подчиниться воле гостя.

— Но здесь снова встает вопрос о корпорации. Стипендии распределяют военные врачи — филистеры корпорации. Я, хоть и не член этой комиссии, но, как филистер корпорации, мог бы вам посодействовать.

Я подумал, что бы посоветовал мне Пятрас Старкус. Сейчас, похлебав жидкой тюремной баланды, он, наверно, спит, и ему снится, как охранка следит за ним, а может, не спит и смотрит на бледный лунный свет, падающий сквозь зарешеченное окно.

Ко мне подошла Анита.

— Отпустите, господин доктор, эту молодую душу,— сказала она Палёнису.— Сейчас вальс барышень, и я хочу соблазнить его. С позволения Алдоны.

Я был признателен Аните. Пятрас Старкус снова исчез за тюремными стенами. Триста литов — огромные деньги, но я не хотел подносить пиво сеньору корпорации Зенонасу Кубилявичюсу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

АНИТА

I

Новая моя комната на улице Кястутиса — в далеко не новом доме; даже в деревянном. Каунас к 1935 году настолько принарядился, что найти деревянный дом становится все труднее. Я имею в виду, конечно, центр; подальше к окраинам, рядом с красивыми каменными котеджами, напоминающими виллы заграничных курортов (эти курорты я видел в кино), — рядом с этими котеджами еще сколько угодно нищеты, глядящей из окошек, вставленных в бревенчатые стены.

А моя комната на улице Кястутиса была большая, светлая и с отдельным входом. И новая мебель — под орех, принадлежащая, конечно, не мне, а владельцу квартиры. В такой комнате уже не стыдно принять гостя или гостью. Платил я за комнату изрядно и мог водить к себе кого угодно, не спрашиваясь хозяев. Однако этим правом не злоупотреблял. К четвертому курсу у медика уже вырабатывается осмотрительность.

Май, на редкость холодный, принес мне новые нагрузки. Занятия все усложнялись (хотя на втором курсе, после сдачи анатомии, мне уже казалось, что стану свободным, как птица), а вдобавок я стал работать в частной клинике модного врача на должности ассистента. Конечно, слово «ассистент» было фиктивное, — с каких это пор студенты становились ассистентами? Но когда врач, сделав важную мину, говорил: «Сейчас мой ассистент возьмет у вас кровь», это благотворно влияло на больных, особенно женского пола. И когда

я иглой Франка слегка пробивал кожу пальца, пациентке казалось, что происходит сеанс черной магии, и те капли крови, которые я собирал в тонкие пробирки, предназначаешь для ритуального обряда. Иначе говоря, я выполнял работу то сестры милосердия, то фельдшера или лаборанта, однако мне уже не приходилось вдалбливать ученикам в головы бином Ньютона. И, хотя частная лечебница (тогда их торжественно называли «частными клиниками») отнимало все время, остающееся от лекций и практических занятий на кафедрах, работать в ней было куда интереснее, чем с ленивыми гимназистами. Тем более, что мой шеф, требуя отработать установленное количество часов, не обращал внимания, в какое время я их отрабатываю.

Модному врачу меня рекомендовал доктор Палёнис. Это меня немного удивило — мой шеф был еврей, а Палёнис — филистер корпорации, которая называла себя аполитичной, что не мешало ей чуть-чуть отдавать расизмом. Даже не общайся я прежде со Старкусом, все равно бы понял, что расизм — тоже политика. И моя работа в больнице, владельцем которой был не литовец, диктовалась той же политикой.

А Пятрас Старкус все-таки объявился, только медицину больше не изучал. Материальные условия не позволили, или какие-то иные злые силы не пустили его на факультет, но в университет он не вернулся.

Изредка я встречался с ним. То в городской больнице, когда приходилось там дежурить во время практики, и он навещал меня, то в моей комнате, а однажды поговорили и в частной лечебнице, когда я остался в ней на ночь. Врач жил в том же доме, и при необходимости я мог его вызвать. То, что, кроме сестер, дежурит еще и «господин ассистент», придавало лечебнице больше солидности.

Однажды майским вечером, когда я мерз в своей комнате за учебником по внутренним болезням, потому что топить печку в такое время года казалось просто смешным, в мою дверь кто-то тихо постучался. Для визитов время было позднее, и я немного удивился.

Открыл дверь.

На пороге стоял Старкус с портфелем в руке. В комнату заходить сразу не стал.

— Здравствуй, Каролис,— сказал он вполголоса.— Ты один?

— Один. Заходи.

— Если не боишься...

— Чего мне бояться, Пятрас? Ведь из тюрьмы не сбежал?

— Не так громко, Каролис... Говорил же тебе, что и не был в тюрьме. Охранка меня таскала, но улики не было, пришлось отпустить. Но следят. Заметаю следы. А на этот раз хвоста за мной нет.

— Значит, порядок. За моей квартирой не следят.

— Это потому, что вместе нас не видели. Увидят — и за тобой начнется слежка.

— И ничего не выследят. Я — студент-медик, политикой не занимаюсь...

— Уверен в этом? А ранец, что я тебе подкинул?

— Единственный раз...

— Хватило бы и этого единственного. Может, и не по-товарищески подвергать опасности хорошего человека, но другого выхода нет.

— Значит, опять что-то притащил?

— Да.

— И ты уверен, что я опять кому-то передам?

— Уверен.

— Ладно... Что там?

— Зачем тебе знать? В случае чего, сможешь невинными глазами глядеть на полицейских и божиться, что ничего не знаешь. Думал, шоколад.

— Значит, на этот раз уже бомбы. Дом не разнесет, если задену ненароком?

— Дом — незначительный объект. Пробуем подорвать режим. Это похлеще бомб.

— Ясно. Опять явится красавица с паролем?

— Наоборот. Другая красавица, танцовщица, ответит тебе в Йонаву. Попросишь ее. Уж эту танцовщицу точно никто не заподозрит, хотя охранка что-то пронюхала. Заглянете в корчму. Каунаские бездельники приезжают туда повеселиться.

— Очень хорошо ты проинформирован о танцовщице. А что скажет моя невеста?

— О невесте ты мне ничего не рассказывал. Что ж, поздравляю. Недавно?

— Недавно.

— Значит, от нее придется скрыть. Конечно, мне жаль, что учу тебя вратъ будущей жене. Кто она такая?

— Хочешь и ее привлечь?

— О, нет.

— Знаешь ее по прозекторской.

— Медичка?

— Палёните.

— Эта черненькая... Мать у нее еврейка.

— Откуда ты, Пятрас, так информирован? Я тоже только недавно узнал. От Аниты. Палёнисы почему-то скрывают.

— А ты что, не видишь, как разные корпоранты «Литвы» смотрят на евреев? Если б только смотрели! В аудиториях для них отдельные места предлагают. Фашисты в Литве ждут своего мессию.

— Да ведь сама Палёните не еврейка. И вообще ты перебарщиваешь.

— Убедишься. А теперь слушай. Только без записей.

Он рассказал, как найти хутор сразу же за городком, описал внешность хозяина, и как с ним разговаривать, чтобы не принял за провокатора. Человек, приехавший на автомобиле с элегантной женщиной, может вызвать подозрение.

Прикинул, что смог бы это проверить в воскресенье. С одним условием: если у Аниты будет время. И, конечно, если она захочет.

— Неприятные задания ты на меня взваливаешь, Старкус.

— Мою фамилию даже здесь не следует упоминать. Помни про стены.

— Как я ей объясню?

— Дело твое. Если она с тобой дружна, значит, нравишься. А раз нравишься — все для тебя сделает, хоть ты и обручен с другой.

— С ее подругой.

— Тем более. Захочет отбить. Прости, что так говорю. Это юмор такой, кладбищенский. Портфель пока спрячь. Мне пора. Куда можно попасть через твой двор?

— Поплутаешь и выйдешь на набережную.

— Удачи, Каролис. Спасибо.

Уговорить Аниту в воскресенье посетить Йонаву («немного поразвлекаться и посидеть в корчме») не составило большого труда, но она отнеслась к этой затее с подозрением.

— С Алдоной поссорились?— спросила она.

— Почему? С Алдоной-Юлией мы дружим.

Не знаю, почему женщины всегда завидуют своим лучшим подругам. Если не всегда, то часто. Почувствовал, что слова о моих прекрасных отношениях с Алдоной-Юлией разозлили Аниту, хотя она этого и не показала.

Странно, когда в середине мая на шоссе тебя встречает мокрый снег. Он таял в воздухе, у самой земли, опускался на ветровое стекло автомобиля, где тоже сразу таял, а вперемежку со снегом моросил дождь, и казалось, что вода льет из одной тучи, а снег — из другой.

— В Рокишкисе вчера выпал снег и не стоял, — сказала Анита. Она сидела за рулем, «дворник» старательно сметал с лобового стекла струйки воды, а «Додж» мощно тянул вперед. Движение на Йонавском шоссе было небольшое: одноконные брички, крестьянские телеги, иногда платформы на шинных колесах, которые тянули крепкие ломовые лошади, автомобилей же было мало.

Я любовался, как Анита ведет автомобиль. Несколько раз и я, правда, очень медленно, уже правил этой машиной, обычно в долине Мицкевича, Анита же внимательно следила, чтобы я не съехал в канаву или, того хуже, не врезался в дерево. Но сейчас Анита ехала

со скоростью в сто километров, о которой говорил только спидометр, потому что машина летела плавно, легко, без напряжения. Если б не мелькающие мимо телеграфные столбы, можно было бы подумать, что мы стоим на месте.

— Зачем тебе портфель?— спросила Анита.

Я предвидел этот вопрос. Засунув руку в портфель, нащупал перевязанный бечевкой пакет. Рядом с ним лежал завернутый в бумагу турецкий хлеб с изюмом. Он был испечен в еврейской пекарне на Лайсвес аллее.

— Попробуй,— протянул я пирог, черный, но вкусно пахнущий медом.

— И из-за этого стоило тащить портфель?

— В нем еще кое-что есть,— ответил я. (Это была святая правда, ведь я не мог объяснить ей, что именно там было — тем более, что и сам этого не знал.)

— Ты же говорил о корчме, Каролис. Денег стало жалко, раз собираешься кормить меня из портфеля?

— Денег? Если у меня не хватит, заплаतिшь ты.

— Или боишься, что нас увидят и доложат Алдоне?

— Вы — лучшие подруги.

— Зенонас тоже твой лучший друг.

— Не о нем речь. И разве я это тебе говорил?

— Он так утверждает. (Анита подчеркнула слово «он».)

— Противный тип.

— Потому, что ему тоже нравится Алдона?

— Зато он ей не нравится, Анита.

— Женщин не поймешь, Каролис. Мы сами себя не понимаем.

— Ты чуть в канаву не свернула.

— Могла задеть телегу. Если бы мы свернули в канаву, Зенонас был бы счастлив. Твой лучший друг. Он бы явился на молебен за упокой твоей души. И госпожа Палёнене, твоя будущая теща.

— Что правда, то правда. Не жалуется она меня.

— Она думает, что ты не пара для ее дочери.

— Чего же ты хочешь, Анита? Поссорить меня с Палёнисами?

— Помочь тебе реально оценить обстановку.

— Ну, а на молебен она бы не пришла. Она — еврейка.

— Крещеная, Каролис, крещеная.

Мы больше не разговаривали на эту тему, временами вообще замолкали. Погода вроде бы разгулялась: показалось солнце, но такое хмурое, какое бывает только в ноябре или марте.

— Кажется, уже Йонава, — сказал я.

— Странно, что тебе дают такие поручения. Здесь что-то не так. Йонава — не курортный городок.

Я уже до того объяснил Аните, что мой шеф, владелец частной лечебницы, послал меня договориться насчет дачи. Так последовательно и логично объяснил, что сам в это поверил.

Теперь мы плутали среди хуторов за городком в поисках нужного мне дома. Старкус наглядно обрисовал его, но ничего похожего я не видел. Вдруг вспомнил, что по проселочной дороге надо свернуть направо, но и этих дорог здесь было несколько.

И все-таки я нашел этот дом. Гибрид деревенской избы и виллы, с двумя башенками по обе стороны крыши — строение, какое могло присниться гениальному архитектору еще в утробе матери.

Аниту я оставил в автомобиле. Наверно, дико выглядело прибытие «эмиссара красных» с запретной литературой на роскошном лимузине.

Хозяин стоял на пороге и недоверчиво смотрел на меня.

Я произнес незначительную фразу, продиктованную мне Старкусом, которая для этого человека должна была означать что-то важное.

Владелец дома все еще смотрел на меня с недоверием.

— Может, все-таки пригласите в дом, — немного раздраженно сказал я. Злился на Старкуса. Делаешь человеку услугу, а на тебя смотрят, как на шпика.

— Что ж, заходите.

Вошел и заколебался, — а вдруг не туда попал, да еще, стараясь запомнить, что придется сказать, начисто забыл, какой должен быть ответ.

— Вытащил из портфеля пакет.

— Это вам, наверно? Или здесь много таких домов с двумя башенками?

Хозяин засмеялся.

— Больше не найдете. А это для меня. Можете уезжать, только развернитесь чуть подальше. Пусть не думают, что вы ко мне приезжали.

— Здесь же лес кругом. И, кроме нас, ни души.

— Найдутся. Не задерживайтесь. И спасибо вам.

— Передать что-нибудь?

— Скажите «спасибо».

Вот и весь разговор.

— Дом уже сдан,— пояснил я Аните,— поэтому и разговор короткий.

— А я-то думала, в портфеле у тебя подписанный договор о найме.

Неужели портфель так бросается в глаза?

— Может проедем чуть дальше?— сказал я.— Вдруг еще найдем приличный домик, как ты считаешь?

— А этот, по-твоему, подходит для дачи?

— Наверно. Шеф велел отыскать именно его.

Мне показалось, что Анита иронически усмехнулась. Это не была злая или желчная ирония, но все же ирония.

Мы еще проехали по подмокнувшей лесной дороге, обнаружили несколько неказистых деревенских изб, из которых глазели на нас удивленные хозяева. Наверно, никогда еще сюда не заворачивала такая роскошная машина.

— Сколько еще прикажешь ехать?

— Прикажу? Дальше вроде нет смысла.

Дорогу развезло, как в марте. Еще не распускались кусты. Май 1935 года пока что украшали только фиалки. Здесь я их что-то не видел, но вспомнил заметку в газете.

— В газете прочитал о сиротке, которая продает фиалки.

— Как в сентиментальном рассказе: «Купите, господин, фиалки».

— Именно так, Анита. Целый день на улице Ожешко, на лестнице, ведущей в Жалякальнис. Если выручка плохая, тетя выгоняет ее из дому.

— Мало ли нищих?

— Девочке четырнадцать лет. Как ты думаешь, кем она вырастет?

— Или проституткой, или святой.

— Возможен еще третий вариант.

Я не стал развивать мысль, вспомнив намеки Аниты по поводу портфеля. Вся эта поездка казалась ей подозрительной.

— Продолжай, Каролис, продолжай. Почему замолчал?

— Не указывай мне, когда говорить,— сказал я.— Ты же хорошая, избалованная, добродетельная, распущенная папашина дочка. Последний эпитет говорю в шутку.

— За те два года, что мы знакомы, ты далеко шагнул. Да, прошло уже более двух лет. Тогда ты молчал за столом и разглядывал вилки.

— И не знал, которую взять.

— Я не это хотела сказать, Каролис, не обижайся.— Голос Аниты звучал ласковее.— Хотела сказать: притворялся сосредоточенным, чтобы с тобой никто не заговорил.

— И немало говорил.

— Делал над собой усилие.

— Твой отец — один из самых богатых людей в Каунасе,— сказал я.— Директор компании спальных вагонов...

— Акционер крупных банков, и так далее,— насмешливо перебила меня Анита,— но оставь моего отца в покое.

— И оставлю. Упомянул ради контраста. Мой отец был мелкой мышкой в пенсне, с пробором посередине и в синем пиджаке в белую полоску, каждый день трусил в банк, сидел там с залатанной задницей, брюки менялись, а синий пиджак оставался, правда, рукава стали лосниться, потом прохудились, и на них тоже нашивали заплаты. Износив пиджак, отец покупал

точно такой же. Он старался, чтоб мы не голодали, и, наверно, по-своему любил нас. Когда я начал работать сам...

— Ты что-то делал с контрольными часами в Земельном банке. Об этом не раз рассказывал Зенонас.

— Я и правда не знал, какой вилкой брать рыбу, а какой — скиландис, и как есть рыбу, и откусывать ли хлеб от всего ломтя или отламывать по кусочку.

— Что ты хочешь сказать?

— Хочу тебе объяснить, почему тогда уставился на вилки. Может, тебя компрометирует мое общество?

— Интересно, почему ты вспомнил об этом сейчас, когда я привезла тебя в Йонаву, чтоб ты исполнил свою миссию. Не смотри такими страшными глазами, я имею в виду миссию снятия дачи для твоего шефа. А насчет компрометации — ты теперь принят в избранное литовское общество, поскольку личность госпожи Ревекки Палёнене здесь ничего не меняет, тем более, что сейчас она — Цецилия.

— Как и моя сестра.

— Вот видишь. Твоя сестра тоже вошла в общество. И ты, того и гляди, станешь в университете ассистентом, потом профессором...

— Не принадлежу к корпорациям.

— У тебя хорошая голова. И хороший будущий тесть.

— Хочешь сказать, что я обручился с Алдоной-Юлией ради карьеры?

— Не знаю, хочу ли это сказать, но сказал это ты, а не я.

Автомобиль плавно катил по улицам Йонавы, хотя мостовая была неровная, булыжники разной величины. У «Доджа» изумительная амортизация; хорошо бы такой амортизацией обладали мои чувства, самолюбие, вся моя психика. Наверно, надо иметь такого отца, как у Аниты; она незыблема, словно ее «Додж».

Мы больше не разговариваем, и меня подмывает выйти из машины, добраться до вокзала и ближайшим поездом, пускай хоть ночью, вернуться в Каунас. Знаю, что это нереально, — какой бы ни была Анита (в этот

миг я ненавидел ее), она оказала мне услугу. Мне? Не мне, а Старкусу. И еще тем, которые хотят скинуть ее отца и, может, так и сделают когда-нибудь,— во всяком случае, Старкус в это верит.

— Кажется, мы приехали,— «Додж» останавливается мягко, как кошка (хищников покрупнее я видел только в кино и на картинах).— «У дороги кабачок», или как там поют, Каролис. Ты вроде надулся? Неужели я тебя обидела?

Не пойму, издевается она надо мной или говорит серьезно. Как бы там ни было, в Каунасе я сам предложил съездить в эту корчму, и отступить некуда.

Скатерть бумажная, но чистая; это, конечно, лист полутвердой бумаги, которой накрывают столы во второразрядных заведениях. Еда деревенская, но вкусная.

— Хоть не придется ломать голову насчет вилок,— говорю.

— Перестань, мстительный ты человек! Тебе не кажется, что мы продрогли, и следовало бы выпить графинчик чего-нибудь покрепче?

— Разве мы продрогли?

— Душа у нас продрогла.

«Тряёс дявинярёс» сначала обжигает, потом растекается по телу равномерным приятным теплом. Пьем мы понемногу, но все-таки пьем, и Анита не отстаёт от меня.

Расплачиваюсь с краснощекой официанткой, хотя Анита порывается платить и даже сует мне свою сумочку. Почему-то вспоминаю, как получал от Викте деньги на кино, и сравниваю ее с Анитой; предпочел бы, чтоб рядом сидела Викте. Разговор был бы короткий, без психологических тонкостей и кружения вокруг да около. Да, «Тряёс дявинярёс» уже сделала свое дело.

Садимся в автомобиль, Анита пытается завести мотор, но тот не показывает никаких признаков жизни. Потом начинает чихать, что ему отнюдь не свойственно: когда «Додж» двигается, вообще ничего не слышно, словно под капотом не мотор, а Илья-пророк, несущий «Додж» Аниты по воздуху.

Через полчаса мы возвращаемся в корчму и спрашиваем у официантки, не знает ли она какого-нибудь автомеханика. Нет, но она знает такого слесаря, который чинит часы и мотоциклы. Нет, пригласить его она не может, сегодня воскресенье, а по выходным слесаря не бывает дома, а если даже он и дома, то ни за какие деньги его оттуда не выманишь. Да и корчму ей нельзя оставить, уже темнеет, и из Каунаса может нагрянуть какая-нибудь веселая компания. Вот завтра — дело другое.

Анита снова идет к автомобилю. Я наблюдаю за ней издали.

Нет, это безнадежно.

У меня с утра занятия в хирургической клинике, но это меньше всего волнует Аниту. Возвращаемся в корчму и пьем кислое пойло, — называемое кофе.

— Наверху у нас вроде гостиницы, — говорит краснощекая официантка, — и господа могут переночевать.

Что-то иронически бормочу.

Анита улыбается.

— Если, господа, не возьмете комнату сейчас, то, когда приедет компания из Каунаса, уже нельзя будет. Они заказывают комнату еще до того, как приходят сюда пить.

«Противная сводня», — думаю об официантке, которой лень ходить за слесарем, чинящем часы и мотоциклы. Ловлю себя на том, что думаю без всякой злости.

Анита улыбается.

Меня начинает мучить совесть. Нет, это нечто другое — ведь я еще не провинился, — это как бы провозвестники угрызений совести; «продромальный период» на языке медиков. Вспоминаю, что Алдона-Юлия пальцем прикоснуться к себе не позволяет, хоть мы и обручены; кончилось даже тем (чего тут от себя скрывать), что однажды после вечера у Палёнисов зашел в маленькую гостиницу «Венеция» на улице 16-го февраля, заказал комнату и, сунув горничной пару литов, сказал, что очень одинок и что наверняка в гостинице найдется женщина, которая тоже чувствует себя оди-

нокой. До смерти боялся подцепить венерическую болезнь, но чувство одиночества (насчет этого я не врал) оказалось сильнее страха перед бледной спирохетой, которая, к счастью, меня миновала.

Об этом я вспомнил без энтузиазма, но и без отвращения; даже с какой-то горечью думал об Алдоне-Юлии, которую считал непосредственной виновницей того события.

Над корчмой — только одна комната, правда, большая, с двумя деревянными кроватями. Табуретка, на ней умывальник с облупившейся эмалью, ведро; потрепанные, но очень чистые полотенца.

Постельное белье тоже свежее.

— У тебя еще есть время сбежать, — сказала, раздеваясь, Анита. Ее платье громко шуршало. — Вот непорочный Иосиф. Расстегни мне лифчик. Как ты думаешь, есть в этой отвратительной комнате клопы?

Задремал я только под утро и тут же проснулся оттого, что меня кто-то душил; нет, это была только рука Аниты, мирно покоящаяся на моей шее.

Попробовал высвободиться, и Анита проснулась.

— Доброе утро, — сказала она и поцеловала меня. При свете занимающегося дня она казалась такой же прекрасной, как и в танце; гораздо красивее, чем за столом, когда запоминались ее глаза. Густые волосы, цвет которых каждый раз казался другим, теперь рассыпались черным веером по подушке, хотя Аниту трудно было назвать брюнеткой.

— Алдона сделает глупость, если променяет тебя на Зенонаса, — сказала она и снова обняла меня; я подумал, что невежливо оттолкнуть ее руку, хотя страшно хотелось повернуться на другой бок и еще часок соснуть.

— Откуда ты знаешь, каков Зенонас, — лениво пробормотал я. — И почему Алдона должна меня променять?

— Предчувствие, мой дорогой, предчувствие. Бывшая Ревекка, ныне Цецилия тоже не считает тебя для нее парой. Я ведь уже говорила тебе.

— Все-таки хочешь поссорить меня с Палёнисами?

— Да что ты! С какой стати?— Я ничего не ответил, и Анита, как бы читая мои мысли, продолжила:— Думаешь, сама хочу за тебя выйти?

— Может, и хочешь,— ответил я.— Кажется, я тебе нравлюсь. Но тебе нужен богатый.

— Это тебе нужна богатая, мой милый! Наверняка тоже бы открыл клинику, целовал дамочкам ручки и драл с них семь шкур, мысленно посылая этих ипохондричек ко всем чертям. Конечно, ты мне нравишься—достаточно красив, пользуешься туалетным мылом, и мужской силы в тебе достаточно, но это еще не основание, чтобы брать тебя в мужья.

— Боюсь, что за Альберта Эйнштейна тебе не выйти.

— Предпочла бы тебя.

Она стала ласкать меня, но мне теперь хотелось только еще немного поспать. Анита обиделась и тоже повернулась на другой бок.

Утром мы снова позавтракали в корчме, а когда Анита попробовала завести мотор, он включился сразу. Краснощекая официантка была довольна, что ей не надо бежать за слесарем, чинящем часы и мотоциклы.

Мы снова неслись со скоростью ста километров в час, а иногда и быстрее, и в хирургическую клинику я почти не опоздал. Мне показалось, что Зенонас поглядывает на меня не то с подозрением, не то иронически. Конечно, это была игра воображения, но меня вдруг охватила злость, что я никак не могу отделаться от этого Зенонаса, что всегда попадаю с ним в одну и ту же группу.

II

Как Алдона-Юлия узнала о нашей поездке в Йонаву? В черную магию я не верил. С балкона Куприсов когда-то видел, как женщина, которую только что разрезали пилой, изящным реверансом приветствует зрителей. Нет чудес и тайн на свете.

Не верилось, что об этом растрезвонила сама Ани-та. Она была лучшей подругой Алдоны-Юлии. Одно дело соблазнить жениха подруги тайком, что придает преступлению (если это преступление) двойную прелесть. Но разрушить жизнь подруги? (Ведь девушки придают такое значение браку!)

И уж совсем невероятно, чтобы в Йонаве нас кто-нибудь узнал. Правда, после помолвки с дочерью знаменитого каунасского врача меня «допустили» в общество. Пусть и через черный ход (так я думал), но я туда проник. Однако в Йонаве не попался никто из общих знакомых.

Поэтому я был неприятно удивлен, когда открывшая дверь горничная пригласила не Алдону-Юлию, а ее маму и, пока та не появилась, держала меня в прихожей, хотя раньше всегда тут же проводила в гостиную или комнату невесты. (Голубые занавески, диван с голубыми думками и коричневым плюшевым медведем, кожаное кресло, застекленный книжный шкаф с медицинскими книгами, стихами Антанаса Мишкиниса, «Паном Тадеушом» и смеющимся паяцем, а на шкафу — череп, который я в свое время так и не сумел раздобыть и который теперь меня уже не волновал; я не был датским принцем и не собирался произносить монолог.)

— Именно чего-то такого я и ждала, — сказала госпожа Цецилия (это был ответ на мое приветствие; руки она мне не подала). — Для Алдоны это было большим ударом. — Потом госпожа Палёнене поправилась: — Ей казалось, что это — большой удар.

У меня и в мыслях не было, что до этого дома уже могли дойти слухи (хотя разве это слухи?) о моем путешествии с Анитой. Я чувствовал себя в безопасности.

— Не понимаю, госпожа Палёнене, о чем вы?

— Я — ни о чем, господин Тулейкис. Ни о чем. Простите, я очень занята.

— Но все-таки...

— Все-таки вы нашли себе другую подружку. Но я не сказала бы, что Йонава — самое подходящее место для... — Она искала слово, которое выразило бы

мысли, не оскорбляя этих благопристойных стен.— Не самое подходящее место... э-э... для любовных...

Она не договорила. Резко повернулась, так, что взвизгнул под каблуком ее туфельки паркет, и скрылась за дверью гостиной.

Я попытался изобразить ироническую ухмылку. Лицо горничной выражало удовлетворение. Можно было прочесть мысль: «Этот мужик больше не будет носить грязь на дорожку». Может, она думала не о дорожке, а о паркете. Или о том, что больше не придется ставить для меня тарелку и спрашивать, не желаю ли я колбасок с чесноком из фирмы Розмарина или сладкоислой селедки. (Госпожа Цецилия, хоть и крещеная, обожала еврейские блюда. Я тоже их любил, хоть и не подвергался обрезанию.)

Спускаясь по лестнице, я решил, что больше в этом доме ни с кем не придется разговаривать. И тут же столкнулся с доктором Палёнисом. Он, немного посапывая, поднимался вверх. «Единственное препятствие, мешающее ему подняться до звезд, это обыкновенная лестница»,— подумалось мне.

Он первым поздоровался со мной (я даже не успел сказать «здравствуйте», он опередил). Даже руку протянул.

— Уже потеплело,— буркнул я, решив, что молчать невежливо.— Странный май, верно?

Даже «доктор» не добавил.

— Что там у вас творится?— спросил отец Алдоны Юлии. Мои рассуждения о погоде он, повидимому, пропустил мимо ушей.

Я ляпнул:

— С кем?

И понял, что это еще более глупо, чем распространяться о хорошей или плохой погоде.

— Любовные треугольники, черт знает что. Как в театре. Алдона, Анита, господин Каролис.

«Господин Каролис» прозвучало еще идиотичнее. Я решил, что надо поскорее уносить ноги. Подальше от этого дома, от доктора Палёниса, да и от себя.

Когда разминулись с отцом Алдоны-Юлии, он добавил:

— Это не меняет моего мнения насчет стипендии.

Я подумал: «Столько продержался без вашей стипендии, обойдусь и дальше». Хотел сказать: «Благодаря вам ее получает Кубилявичюс». Хорошо, что не сказал. Разве Зенонас виноват, что меня с Анитой понесло в Йонаву?

Несколько дней спустя в офицерском клубе давали благотворительный бал. Я пошел туда, потому что обещал Аните. Она должна была танцевать в концертной программе.

Чувствовал себя, должен признаться, не в своей тарелке. Теперь я, правда, уже знал, куда девать руки. Решив убедиться, что они мне не мешают, раза два специально прошепствовал от одного угла огромного зала до другого. Очутившись в центре, на какую-то секунду снова почувствовал себя игрушечным паяцем с пришитыми руками — вроде того, что в книжном шкафу Алдоны-Юлии; и тут же снова стал поразительно спокойным. Зато было не по себе, что все мужчины явились во фраках или смокингах, и только некоторые в черных костюмах. В приглашениях было написано: «Дамы в бальных туалетах, господа в вечерних костюмах». Поскольку в зал меня впустили, черный костюм, надо полагать, за вечерний сошел.

Вот тогда я и встретил китайца. Уже издали блестяли его желтое лицо и раскосые глаза. Он тоже был одинок, но в смокинге.

— Давно не виделись, — сказал я.

Он улыбнулся, как умеют улыбаться только китайцы, а может, еще и японцы.

— Когда-то играли, — сказал он.

— Встречались и потом, — вставил я.

— Да-да, — поддакнул он.

Сказал он это, конечно, из вежливости, ведь встречались мы только в театре или на улице, здоровались и расходились. Не будь он китайцем, я давно бы забыл, что в детстве вместе играли в представление. Ведь хо-

тя китайцев — миллионы, но в Каунасе был только один.

— Помнишь «Цып-цып-цып, мяу-мяу-мяу»? — напомнил я. — Ты играл мышку.

— Кошку!

— Мышку!

— Кошку!

— Может быть, — уступил я, хотя по сей день помнил всех, кто играл кошек. — Весело было, правда?

Он не ответил, было ли ему весело. Мне показалось, что даже теперь ему невесело, хотя он был и в смокинге.

Разговор иссяк, но я не отошел: китаец был единственным лучом надежды в этом зале, полном шелеста бальных платьев.

Танцы еще не начались, время для всеобщего разгула было отведено после концертной программы. Теперь оркестр играл попури: «Королева чардаша», «Марица»... В разукрашенных барах костюмированные дамы продавали спиртное. Одна капля алкоголя, по их глубокому убеждению, снимет одну сиротскую слезу. В Восточном баре дамы были пышнотелые и носили шаровары. Широоченные шелковые штаны шелестели громче платьев. Тысяча и одна ночь спустилась в этот бар с полумесяцем, арабской вязью и мечетями на холсте. В Античном баре дамы были немного изящнее и носили туники; они, наверно, сами не знали, гречанки они или римлянки. Черно-белые декорации. Никакой пышности.

В обоих барах давали литовский крупникас, только в Восточном — красный, а в Античном — желтый. Когда мы собрались двинуться в третий бар, начался концерт.

Пели солистки (альт и два сопрано), какой-то вундеркинд исполнял на рояле «Осеннюю песню» (китаец шепнул мне название, не сказав фамилии композитора, а я постеснялся спросить), потом «Турецкий марш» (это название уже я шепнул китайцу, тоже не упомянув композитора, потому что не знал), потом бас из оперного хора исполнял арию Мефистофеля о золоте

(тут публика не поскупилась на хлопки, басы всегда нравятся публике), наконец Анита.

Ее танец назывался «Мечта бабочки», хотя с тем же успехом мог быть назван «Сном цыганки» и еще бог весть как. Словом, это был поэтичный танец о чем-то непостижимом, чего, возможно, не могла постичь и сама исполнительница, не говоря уж об аккомпаниаторе, потому что танец Аниты тоже был музыкой, а музыку каждый волен толковать по-своему.

Анита танцевала босиком, она была одета (или точнее — раздета) в черное; что ж, не все бабочки белые. Простора здесь было больше, чем в гостиной Палёни-сов, прыжки Аниты повыше, и она порхала между фраками, повернувшись спиной к Турецкому бару, и фраками у Античного бара, а фраки, смокинги и бальные платья пожирали ее глазами, только оркестранты, которые теперь отдыхали, смотрели равнодушно или вовсе не смотрели. Наконец аккомпаниатор, мощным аккордом завершивший мелодию, поднял от клавиатуры обе руки, и казалось, что эти руки — две белые бабочки, которые наконец проснулись и собрались упорхнуть.

Танец Аниты закончился.

На паркете кружилась первая пара, которая, наверно, прошла школу маэстро Валентинова, и голубой Дунай плыл по паркету офицерского клуба. Старичок с седой бородкой клинышком вывел даму на голову выше себя; старичок то и дело притоптывал левой ногой, не попадая в такт, — ему, наверно, казалось, что оркестр играет польку.

Зал уже был набит битком парами, которые наступали друг другу на ноги, сталкивались или чудом увертывались, извинялись или морщились украдкой. Чтоб попасть в другой зал, поменьше, надо было пробираться вдоль стен, а танцующая толпа, казалось, собиралась прижать проходящих к стене, раздавить и утереть паркет шуршащими длинными платьями.

Когда мы с китайцем таким манером двигались у самой стены, нас разделила видная дородная пара, и я потерял своего компаньона из виду. Подумал даже,

что он скучал со мной и воспользовался случаем, чтоб удрать.

Могло быть и так.

Я не испугался, когда кто-то подкрался сзади и закрыл ладонями мне глаза.

— Анита?

А вот сказав это, встревожился: вдруг на бал явилась Алдона-Юлия и заигрывает со мной, чтоб помириться? Я бы снова ее смертельно оскорбил.

Анита рассмеялась:

— А ты думал, что Эйнштейн?

Она еще не забыла наш разговор в Йонаве.

Я насмешливо буркнул:

— Думал, что китаец.

— Видела вас вместе,— сказала Анита.— Думала, вы случайно оказались рядом. Давно с ним знаком? А ты полон тайн. Не удивлюсь, если окажется, что торгуешь белыми рабынями или являешься эмиссаром турецкой разведки.

Хотел добавить: «Или торгую кокаином», но сдержался. Зачем оскорблять Аниту? В городе поговаривали, что именно этим промышляет ее папаша. Международные спальные вагоны — хорошая ширма для контрабанды.

— Ты чудесно танцевала.

— Правда? Почему-то волновалась сегодня. Особенно, когда увидела тебя.

— Сама ведь пригласила.

— И все-таки волновалась. Только не подумай, что в тебя влюбилась.

— Вот этого уж точно не подумаю. Скорее я начну танцевать на сцене, чем ты влюбишься.

— А ты обнаглел.

— Я просто поддакиваю.

— Это не обязательно. Ну, ладно, не обижайся. Тебе здесь не скучно?

— Теперь уже нет. Ничуть нескучно. Больше выступать не будешь?

— За кого ты меня принимаешь? За танцовщицу из кабаре?

— Не придирайся, Анита.

— Пойдем лучше в ресторан.

— Нет.

— Деньги у меня есть.

— Не сомневаюсь, Анита.

— С женщинами не спорят. Кстати, найди китайца.

— Зачем он тебе?

— Хочу познакомиться. Могут у меня быть капризы?

— Кроме капризов, у тебя ничего и нету, красotka.

— Так обращаются к служанкам. Еще берут их за подбородок и хлопают по заднице.

— Я гладил. В Йонаве.

— Ты хам, Каролис.

— Тебе такие и нужны.

— Нет. Мне нужен китаец. Найди его.

— Да пошла ты...

Не знаю, почему меня охватила ярость. Я ведь успел уже познакомиться с капризами Аниты, и не сегодня. Все-таки уже три года...

— Как знаешь,— сказала Анита, и я сжалился над ней.

— Ну ладно, пойду поищу, хоть и не уверен, захочет ли он знакомиться. Он стеснительный.

— Ты уверен, что он такой уж стеснительный? Давно его знаешь?

— С детства. Он играл мышку, а я кошку. Прости, кота.

— Оказывается, ты уже тогда разбирался в разнице полов! Ладно, Каролис, поищем вдвоем. Значит, и тебе скучно?

— Скучно.

— На балу или вообще?

— На балу. Так мне скучать некогда. Работаю фельдшером, как тебе известно. Все в той же частной лечебнице. Существенная нагрузка к...

— Счастливец...

— Я?!

— Не я же. Мне-то вообще скучно. В корне.

— Это потому, что у тебя слишком много денег, Анита.

— Хватает. Если понадобятся — проси. Никому в долг не даю, но тебе — с удовольствием, даже без отдачи.

— Обойдусь как-нибудь. Смотри, он... Кстати, он утверждает, что тоже играл кошку.

— Да, это существенная разница.

Китаец стоял в дальнем вестибюле, где тоже был устроен бар. Дамы с крылышками, изображающие бабочек, грациозно разливали красный напиток. Я подумал, что это опять крупникас, но вскоре убедился, что это «шери бренди», а по-нашему — вишневка.

— Куда же ты пропал, — сказал я экс-артисту. — Познакомьтесь, пожалуйста: Ричардас Урнежюс.

— Альгирдас, — поправил меня китаец. Хорошо помню, что раньше его звали Ричардасом. Видно, волна патриотизма распространялась все дальше.

— А это барышня Анита Реслер, — продолжал я.

— Барышню Реслер знает весь Каунас, — галантно сказал Альгирдас Урнежюс.

— Вся Литва, — поправил я.

Анита насмешливо глянула на меня и добавила:

— Хотя бы город Йонава.

Альгирдас не понял, причем тут Йонава, и подал нам рюмки, которые наполнила пухленькая «бабочка».

— Вечер бабочек, — буркнул я, чтобы услышала Анита, но не слышали дамы. — Порхают или торгуют водкой.

— Ты становишься скучным, — заметила Анита. — Не насилуй себя. Остроумными люди рождаются. — Потом повернулась к китайцу. — Господин Урнежюс, Каролис приглашает нас в «Версаль».

Я мысленно прикинул, хватит ли денег. Хватит. Потом целый месяц придется сидеть на молоке и роксах. Полезно, разгрузка организма.

— Приглашаю, а как же, — подтвердил я.

III

Ни разу еще не пропускал практических занятий без уважительной причины.

А на утро после благотворительного бала пропустил. Вряд ли попойку можно считать уважительной причиной.

И напиваться мне раньше не приходилось. Под хмельком бывал — да, но это совсем другое дело.

Голова раскалывается, лежу пластом, это понятно. Но ребра? Ноги? И руки?

Приоткрыл одеяло: сплошь синяки. Не сказал бы, что все тело ими усеяно, но десятка полтора насчитал.

Били меня крепко, однако и я никого не щадил.

Интересно, пожалуются они или будут молчать? А может, просто подкараулят меня в темном переулке?

Попытался восстановить хронологию событий всего вечера (или ночи), поскольку был педантом, и ненавидел неясность. И, как на грех, все нити рвались как ветхие шнурки для ботинок: затянешь узел, а шнурок рвется, и чем туже затягиваешь, тем быстрее рвется, и вот уже нечего затягивать. А тут еще в театр опаздываешь!

Но сейчас я никуда не опаздывал. Знал, поставят против моей фамилии минус, а на зачетах порядком погоняют. Синяки, слава богу, на теле — никто не увидит.

Не стоило, конечно, трогать Зенонаса. Тем более, что вся моя любовь к Алдоне-Юлии испарилась после памятного разговора с госпожой Палёnene в прихожей. А когда любовь так быстро испаряется, значит, и не было ее.

Поэтому и на Кубилявичюса не стоило злиться.

Но злиться начал еще раньше — это я помню хорошо. Правда, не на паркете офицерского клуба, а уже в «Версале». Какого черта я туда потащился? Не по своей воле. Аниту заинтересовал китаец Альгирдас Урнежюс, а просто с ним, без меня, ей идти почему-то не хотелось. Может, стеснялась, хоть это и несвойственно Аните. А может, китаец артачился... Он-то ведь всегда был застенчив.

Величественный метрдотель, его-то помню. Его бесстрастное лицо скрывало презрение ко всем клиентам — с деньгами и без оных. Наш столик — в углу, за оркестром, это я тоже помню. Обитые шелком стены. Всюду шелк. В то время формула нейлона еще только созревала в мозгу химиков. А фабрики еще производили шелк для платьев и, что важнее, парашютов. На аэродроме Темпельхоф Гитлер кричал: «Карликовое государство унижает и притесняет наших фолькс-геноссе в Мемеле!» Гитлер всегда вопил, ведь у него было больное горло. Но мы сидели в ресторане, и шелк, украшавший стены, не напоминал нам о парашютах.

А потом в другом углу зала я увидел Алдону-Юлию с Зенонасом. Алдона-Юлия преувеличенно громко смеялась — не хохотала еще, только смеялась, как делают люди, которым тоскливо, но они хотят показать, что им весело.

Я не злился на нее за этот смех. Я злился за то, что она с Зенонасом.

Это я тоже помню.

Потом мы пили — Анита, я и китаец. Много, конечно, — по понятию людей того времени. Человечество прогрессирует, и теперь может выпить гораздо больше. Тут я стал «отключаться», ведь мы до того уже отведали крупникаса — у Турецкого бара, и у Античного бара, и у бара с крылышками. Какие-то обрывки фраз, вроде бабочек, долетали до меня и сейчас, когда я избитый лежал в кровати. Например: «Итальянцы собираются напасть на Абиссинию» (это говорю я). «Нету темы поинтереснее?» (это Анита). «Когда разгорится мировая война (это, конечно, я), люди перестанут кататься в спальнях вагонах». Не помню, что ответила Анита и ответила ли вообще, но и ее туалеты, и «Додж», и множество ценных вещей, которых мне даже не удалось увидеть, привезли для нее спальняные вагоны. А может, кокаин в тайниках этих вагонов, — но это были сплетни, которыми тешил себя Каунас.

На вертящейся танцплощадке мы с Анитой танцевали танго — это я тоже помню. До того она танцевала с китайцем и, наверно, решила, что неприлично не вы-

вести меня. А вообще-то я был для нее прочитанной книгой. Ее интересовал китаец. Ненасытная Анита! И все-таки, танцующая танго, она снова стала прекрасной — вся, не только глаза. А может, это был медленный фокстрот или английский вальс?

— Мальчик, — сказала Анита, положив голову мне на плечо.

— В чем дело?

— А, ничего.

Какая-то чепуха, верно? Но запомнилось.

А потом в ритмы оркестра вмещался вибрирующий гул; мы устали на саксофоны, но они молчали, только барабан и фортепьяно исполняли что-то слаженным дуэтом. Вой затихал и снова нарастал, врывался в ресторан из-за шелковых занавесок.

В ресторане погас свет.

— Воздушная тревога, — объявил чей-то голос. Наверно, метрдопеля. Мы не знали, как звучит его голос, к гостям он обращался полусшепотом. — Просьба не зажигать спички — полиция может составить протокол. Тревога учебная, просьба не пугаться.

Фортепьяно и барабан продолжили свой дуэт, молчавший, пока говорил таинственный голос. И мы с Анитой продолжали танцевать.

— Забавно было, как отреагирует Алдона, — Анита говорила вполголоса, — вот я ей и сказала.

— Что ты сказала?

— Как ты думаешь, что?

— Что мы ночевали в одной гостинице?

— Нет. В одной кровати.

Все помню слово в слово. Помню и то, как влепил Аните пощечину. Почувствовал, что она качнулась и крепче обняла меня, и мы продолжали танцевать, словно она ничего не сказала, а я не ударил ее. Мы танцевали и танцевали, фортепьяно с барабаном меняли ритмы, танго, кариока, английский вальс. В крошечной темноте тела танцующих то и дело сталкивались, и только через полчаса протяжный вой сирены отменил воздушную тревогу. Тогда мы вернулись к столику, и

китаец, ударив от соблазнявшей его крашеной блондинки, прибежал к нам.

— Вижу, ты равнодушен к линиялым блондинкам,— констатировал я.

— В потемках подумал, что брюнетка,— объяснил китаец, и мне показалось, что он оправдывается.

В другом углу зала что-то оживленно рассказывал Зенонас, и я заметил, что недалеко от его столика сидят еще несколько корпорантов, но без дам. А Алдона-Юлия танцевала, только когда не танцевали мы с Анитой, а когда танцевала Алдона-Юлия, мы не вставали со своих мест; новый кодекс вежливости родился в этот вечер.

Когда китаец ушел с крашеной блондинкой, которая от другого столика нахально давала ему понять, что желает танцевать (надо признать, блондинка была хоть и вульгарна, но импозантная), Анита сказала:

— В моем распоряжении весь этаж. Этаж дома. Пойдем ко мне?

— С китайцем?

— Причем тут китаец? С тобой.

— Пять комнат, ванная с биде и стеклянный бар на колесиках?

— Какой ты циник...

— Зачем тебе, свободная танцовщица, понадобится йонавская гостиница?

— Разве я, мой дорогой, предложила Йонаву?

Она была сбита из стальных мускулов и железной логики и обтянута бархатной кожей. Конечно, мне хотелось поехать к ней. Но не так — с холодным сексуальным расчетом, как в публичный дом, а под хмельком. Не мертвецки пьяному, а только под хмельком.

— Я оплачу счет,— сказала она.— Тут порядком. За китайца тоже. Позови кельнера.

Я позвал. Счет был немалый. Анита совала мне под столom кошелек, я взял его, подержал на виду, чтоб кельнер видел, а потом положил у тарелок Аниты.

Выложил все свое жалованье, полученное от шефа за право величать меня ассистентом при дамочках, пациентках частной больницы. И за работу в лабора-

тории, конечно. Добавил солидные чаевые, но кельнеры «Версаля» знают себе цену, не то что официанты «Рамбинаса», которые сгибаются в три погибели. Этот едва кивнул.

— Дурачок,— сказала Анита.— Целый месяц будешь питаться сухим хлебом.

— Под Шештокай живет моя тетя. Третьюродная. Она бы ответила: «Не по твоей милости».

— Пойдем?

Я соврал бы, если бы сказал, что хочу идти: я жажду! Обнять эту бархатную кожу и сплющить стальные мускулы да железную логику.

Но я не был под хмельком, а просто пьян.

— Не хочу идти к тебе как в бордель,— сказал я.— Уважаю тебя как художника. Ты жуткая интригантка международного значения и большой художник провинциального масштаба. Не могу унижать тебя. Иди с китайцем.

— Ты считаешь меня проституткой?

— Куртизанкой.

— Одно и то же. Поэтому и дал мне пощечину?

— Прекрасно знаешь, что не поэтому. Но, вижу, тебе понравилось.

— Поскольку мы больше не встретимся,— в голосе Аниты появились новые нотки; металл из ее мускулов проник в голосовые связки,— расскажу тебе один эпизод. Рассказываю тебе первому и последнему. Подожди. Китаец идет. Когда пойдем танцевать...

Мы снова кружились на площадке, и паркет кружился вместе с нами.

— Перед «Доджем» у нас был «Бьюик», и тогда я только училась водить. Мы ехали отдыхать в Палангу. Мы — это отец и я. Как тебе известно, мои родители разведены.

— Не знал.

— Любопытно. Я не об этом. Но отец задержался в Каунасе и отправил меня одну с шофером. Отец обычно сам водил машину, шофер только получал жалованье и жил с женой у нас в полуподвале, но квартира там чудесная, уверяю.

— Может, пойти к вам шофером?

— Помолчи. Машина в дороге барахлила. Ах да, не сказала, что выехали после обеда. Где-то под Ретавасом мотор заглох, тишина. Шофер наполовину под капотом, руки в смазке, злой, а мотор чихнул разочек — и все. «Серьезная поломка, барышня, придется просить, чтоб нас взяли на буксир». А движение маленькое, тащить нас некому. У дороги избушка стоит. «Примете переночевать?» — спрашиваю. Кто же в Литве откажет в ночлеге.

— Все уже ясно, поклонница свободного танца. Ты сказала, что это твой муж, и переспала с шофером.

— Ты рассказываешь или я?

— Ты. Рассказывай.

— Все. Ты сказал, Каролис. Добавлю, что шофер только что женился. Видно, утром у него проснулась совесть. И он, уже в машине, дал мне пощечину. А сегодня вот вторая.

— Жене шофера ты тоже рассказала?

— Что ты! Шофер тут же съехал, нашел другую работу. Похуже, если хочешь знать. Вернемся к столу.

Потом я снова «отключился». Чувствовал себя в норме, но алкоголь все-таки убивал мозговые клетки. Помню только, что бил Зенона на улице, прижав к дереву, а потом меня колотили три корпоранта, уже без Зенона. Ни как расстался с Анитой и китайцем, ни где в это время была Алдона-Юлия, не помню. Потом я юркнул в какой-то двор, корпоранты — за мной, и у меня в руках был кол, — как этот кол очутился у меня в руках, тоже не помню. И я им всыпал по первое число — не по голове бил, нет, голова — нежный орган, без головы даже диплом врача не получишь, — столько-то я соображал при всем ненормальном состоянии. Бил по ногам, ниже колен, без жалости к корпорантам, как они не жалели и меня, когда лупили на улице. Все мое тело ныло — все-таки втроем на одного...

Потом я оказался у себя в комнате и уже утром припомнил главные фрагменты, не в силах сложить их в единую стройную картину.

Попытался встать. Из зеркала на меня глянула личность с пурпурным фонарем под глазом. Кардинальское обрамление глаза. Надо бы примочку приложить. Почему я не пошел к Аните, к этой проститутке по призванию? Пять комнат и стеклянный бар на колесах. Нет, это мои фантазии. Может, там семь или восемь комнат, и бар, встроенный в стену. Нажимаешь кнопку — и выскакивает из стены вместе с вермутом «Чинцано» и улыбающейся горничной, которая разливает напиток в бокалы. Снова кнопка — вермут и горничная скрываются в стене. Алыгирдас Урнежюс, литовец по призванию и китаец по национальности, которого никто не избивал, потому что литовцы славятся гостеприимством, лежит на перине, а Анита на сверкающем паркете танцует для него «Умирающего лебедя» Сен Санса. Абсурд! Это классический балет, а Анита — представительница выразительного танца. Вольная художница. Босоножка. Отец — владелец международных спальных вагонов...

К черту.

Снова ложусь. Организм заявляет, что ему не хватает сна. Надо уметь прислушиваться к своему организму. Он поднимает тревогу звонками. Первый. Второй. Третий. А потом занавес. Но я слышу только первый и второй звонок, и это не организм, а звонят в дверь.

Выглядываю своим пурпурным глазом в узкую щель в дверях. Потрясающий эффект — за дверью говорят: «Простите, наверно, не туда попал».

...Пожилой господин в пенсне. Пробор посередине, однако волосы сильно поредели. Синий костюм в белую полоску, но и в дверную щель видно, что обшлага рукава потрепаны.

— Заходите, отец, — пригласил я. — Простите, что неважно выгляжу. Меня малость помяли.

— Порядок должен быть, — сказал отец. Он даже не взглянул на меня, он всматривался в себя, словно

принес на дне своей души огромное богатство, и теперь проверял, не растерял ли чего по дороге.

После смерти матери я ни разу не заходил в дом на улице Бажничёс. Моего там ничего не было. Добрые воспоминания, сколько их осталось, я унес с собой. Что я там еще мог найти? Разве что рыженькую Хелю из страхового общества или еще кого, а скорее всего — никого, ведь до скольких же лет мужчина может интересоваться женщинами? И неужели они станут льнуть к пожилому господину с потрепанными обшлагами, хотя пока еще и видны белые полосы на синем фоне? Ведь это не флаг богатого заморского государства. Символ обнищавшего вдовца — не приманка даже для рыженькой Хели. Даже для уборщицы из парикмахерской.

— Присядьте,— предложил я. На скорую руку прибрал кровать — закрыл подушку одеялом и выравнивал ладонью. Наспех оделся.

— Циле сказала, что живешь неплохо.

— Здесь нет ничего моего. Даже стула.

— Стулья ломаются,— сказал отец.

— Чаю выпьете? Сбегаю на кухню поставить.

Мои слова о чае вылетели в открытое на улицу Кястутиса окно, за которым ревел автомобиль. Наверно, в гараже товарищества американских литовцев. Там чинили автомобили.

— Банк закрылся,— сказал отец.— Вчера вечером была воздушная тревога. Как раз в автобусе ехал. Свет не горел ни в салоне, ни спереди автобуса. Но кондукторы продавали билеты.

Его интонации не менялись. Это было страшнее всего. Человек остался без работы и говорит об этом так же бесстрастно, как о билетах в автобусе. Лучше бы уж голос завывал, как сирена воздушной тревоги.

— Ищете работу? У вас такой опыт...

— Работу! Для стариков в Литве нет работы.

— Все же... Что говорит Циле?

— Жалуются, что муж денег не дает. Выдал бы ее тогда за студента... Сейчас он в университете преподает.

— Жалееете, отец?

— Это Циле меня попрекает. Я же хотел как лучше. Аптекарьство — надежное ремесло испокон веков.

— Циле его не любит, отец.

— Любит не любит... Это ромашку так обрывают.

— Циле гуляет с другими, — не вытерпел я.

— Ее дело. Аптекарь тоже прибежал ко мне жаловаться, что-то там пронюхал. Я сказал: «Ваше личное дело».

— Он вам не поможет?

— Нет.

«Какого черта сунул все кельнеру? — выругался я про себя. — Все жалованье».

— Вам что-нибудь выплатили? Компенсацию?

Отец посмотрел на меня, как на полуумного — настолько некстати показался ему этот вопрос.

— Никому не выплатил, удрал за границу. Деньги-то давно перевел в швейцарский банк. Я об этом знал.

— И никому не сообщили?

— А кому сообщать-то? Сказали бы, что это банковские операции, если бы пожаловался. И вылетел бы еще раньше. Даже по улице хожу обмотавшись шарфом, вроде зуб болит. Чтоб клиенты не избили.

— А причем тут вы?

— Разве они разбираются, кто директор, а кто кассир? Служил в банке — вот и отвечай. Нету для меня места в Каунасе. Хоть сквозь землю провались. А что с твоим глазом?

— И мне малость досталось. Значит, вы, отец, совсем без гроша?

— Совсем.

— И у меня, как на грех, ни лита за душой.

— Так я и думал, — сказал отец. — Так я и думал. У Циле тоже нету денег. Муж не дает ей ни лита. Служанке и то доверяет больше, чем жене. Уж лучше бы отдал за того студента.

Я пообещал одолжить где-нибудь денег и занести отцу, если не сегодня вечером, то хоть завтра утром. Не хотелось мне просить аванса у своего шефа, вла-

дельца частной лечебницы. Одалживать у Аниты? Ни за что. Что ж, остается владелец частной больницы...

Проводил отца вниз по лестнице. Он замотал лицо шарфом,— можно было подумать, что идет от зубного врача. Хорошо, что весна все медлила — редкая шутка природы. Отец семенил маленькими шажками, осунувшийся и постаревший, и меня охватила ярость, что рыженькая Хеля из страховой кампании так и не уговорила отца застраховаться. Не от банкротства, конечно. От старости. И тут же подумал, что страховая кампания ведь тоже могла перевести свои деньги в швейцарский банк.

IV

В тот же вечер, припудрив глаз (пудры мне одолжила хозяйка), я собрался в частную лечебницу. В запасе у меня было несколько историй: грабители в темном переулке; удар в лицо в туалете ресторана (и отобранные деньги); месть на почве ревности, а деньги потеряны в шоковом состоянии. И так далее и тому подобное.

И когда уже слышал звон (пока еще только в воображении) серебряных монет с изображением президента Сметоны в своем кармане, у двери снова раздался звонок. На этот раз мне не потребовалось глядеть в дверную щель на незваного гостя или гостью: комната была прибрана, а глаз утратил свой пурпурный ореол. Правда, выглядел я еще отвратительнее: клоун из захудалого цирка. Если бы еще паяц из знаменитого пролога! А тут — клоун, только без дрессированной собачки. И без подноса на длинной палке, который — вместе с посудой — падает в публику. Но поднос и посуда привязаны, и все кончается только визгом девушек, а потом — аплодисментами.

Мужчина средних лет вошел в комнату с улыбкой, которая была приклеена к его лицу наподобие маски, и я даже обрадовался: два клоуна в одной комнате.

А два клоуна — это уже солидный цирк.

— Слушаю вас,— сказал я, пропуская гостя в комнату.

— Будем знакомы,— сказал гость.— Господин Каролис Тулейкис?

— Да. Присядьте, пожалуйста.

— Нет. Это я вас попрошу усесться. Не здесь. Пока что — в автомобиль.

— Не очень-то понимаю, чем могу быть полезен,— сказал я.

— Все станет ясно,— гость уже шел к двери, наблюдая, не останусь ли я.

— Мне надо совсем в другое место.

— В другое? Вы же не знаете, куда мы едем.

Я рассердился:

— Что мы едем, говорите вы. Я еще этого не сказал.

Гость обворожительно улыбнулся, но это меня еще сильнее разозлило. И все же я спускался по лестнице.

У дома стоял обыкновенный форд. Почти новый, но форд. Хорошая машина, которую не захотел приобрести ни один богач. Солидность и элегантность не умещались под одним капотом.

Дверца открылась. В машине сидел, повидимому, шофер.

— Прошу,— сказал гость уже без улыбки и, взяв меня за локоть, затолкнул в машину. Чертовская сила была у этого человека — еще одного синяка мне не хватало!

Наверно, после минувшей идиотской ночи я еще не совсем пришел в себя, потому что, откровенно говоря, меня не очень-то интересовало, куда мы едем. Видно, слишком уж сильно поколотил одного из этих корпорантов.

У полиции нет того запаха, который улавливают рецепторы носа, передавая импульс мозгу; запах полиции мозг чувствует непосредственно. Значит, я ехал в полицию. Кто же на меня пожаловался — Зенонас или его дружки? В сущности, нет разницы. Одна компания.

Радовался, что обзавелся десятком синяков, сливающихся друг с другом,—капитальное будет зрелище, когда сниму рубашку. Вообразил эту сцену до мелочей: меня обвиняют, что колотил дубиной корпорантов, а я преспокойно расстегиваю рубашку и снимаю ее через голову: кто кого избивал, высочайшая полиция? Как бы вы поступили на моем месте, о инспектор литовского Скотланд Ярда? Правда, у вас припасена металлическая игрушка в боковом кармане пиджака. По-больше, чем монтекристо. А про монтекристо вы так и не пронюхали. И уже никогда не пронюхаете.

Машина въехала во двор на проспекте Витаутаса. Что здесь находится охранка, знал каждый городской мальчуган. Настроение у меня упало, даже тело вдруг зануло сильнее. Неужто я прикончил кого-нибудь из этих корпорантов? Не может быть, отчетливо помню, что бил только по ногам. А вдруг кто погиб от травматического шока? Было бы чертовски жаль, неплохие ребята. Какого черта они ввязались в драку? Зенонаса защищали? Корпорантская солидарность и так далее?

Комната с портретом президента Сметоны и гербом; для портрета президента отведено более выигрышное место. Мой попутчик, забравший меня из дому, уже исчез—в дверь меня втолкнул надзиратель. Перед тем, правда, он старательно обшарил мои карманы. Даже туфли приказал снять и изучил подметки, именно изучил. Призванием этого надзирателя было сидеть у микроскопа, но случайность, которую иные называют судьбой, совала ему в руки подметки и карманы.

За столом сидел мой ровесник, гладко причесанный на левый пробор.

— Привет, Тадас,—сказал я весело, хотя мне весело и не было.—Простите, господин Стасюкайтис,—добавил.

Надзиратель слегка удивился и задумался—предложить мне сесть или оставить стоять перед господином чиновником охранки? Я, не ожидая приглашения, уселся сам. Стасюкайтис на меня даже не взглянул и не ответил на приветствие.

Поэтому я очень удивился, когда человек, друг моего детства, даже не глянув на меня, спросил у надзирателя:

— Сопротивлялся?

Тот не понял. Стасюкайтис повторил:

— Арестованный сопротивлялся?

— Не-ет. Весьма спокоен.

— Это с вами. А при аресте?

— Тоже нет. Меня бы предупредили.

— А откуда синяк под глазом?

— Чего не знаю, того не знаю, господин следователь.

На меня смотрели кроткие глаза господина президента; всадник с мечом с герба тоже смотрел на меня, только чуть искоса. А вот конь — не смотрел. Тадаc Стасюкайтис — тоже нет.

И все-таки мой друг детства заметил синяк. Хотя синего в нем было мало, только пурпурный цвет.

— Ваша фамилия?

Это относилось ко мне. Ответил. Имя, год рождения, адрес. Холост. Студент. Где работаю (не хотел впускать частную лечебницу, но не мог умолчать) и где работал (Земельный банк назвал без всякой щепетильности — все равно туда не вернусь). Родственники, близкие (записали и аптекаря — вот перепугается, если вызовут свидетелем!).

А потом самый с.ранный вопрос:

— В коммунистической партии состоите?

Я пожал плечами. Значит, тут что-то другое. Удары колом по ногам корпорантов здесь ни при чем. В сознании мелькнуло одно-единственное слово «Йонава» и снова исчезло.

— Не состою и не состоял.

— Все так говорят.

— А как, по-вашему, я должен говорить?

— Чтобы признались.

— Даже если не состою?

Стасюкайтис покраснел.

— Дураком меня считаете, арестованный?

— Хочешь услышать мое мнение, Стасюкайтис?

Надзиратель пнул носком сапога меня в щиколотку. Не зло, как бы предупреждая. Стасюкайтис взвизгнул фальцетом:

— Увести арестованного!

Когда я выходил, Стасюкайтис холодно добавил:

— Одумается, завтра по-другому запоет. А чтобы научился вежливости, посади его к братьям Ручонкам.

Уже спустившись по лестнице в подвал, я спросил у надзирателя:

— Кто такие братья Ручонки?

— Бандиты. Оружием не пользуются, руками душат.

— Может мне не обязательно с ними?..

Надзиратель попался добросердечный.

— Сам ведь напросился. С ним, с господином чиновником безопасности, надо вежливо, а ты... Были знакомы?

— Учились вместе.

— В этих стенах дружба не в чести. Ему, наверно, неудобно, что с коммунистом дружил.

— Да какой я коммунист!

— Ладно уж, ладно...

Загремели засовы железной двери, и я очутился в камере. «Камера двухместная,— определил я.— Значит, меня сюда втокнули только для остратки».

Братья Ручонки не обернулись ни на меня, ни на надзирателя. Они лежали на нарах и, наверно, смотрели в потолок.

— Встать!— рявкнул надзиратель, но братья Ручонки не пошевелились.— Тут политический. Надеюсь, не зарежете?

— А чем?— спросил один из братьев, но надзиратель уже запирал дверь с той стороны. Его шаги простучали по гулкому коридору.

— Зачем меня резать, раз уж вы душите,— сказал, стараясь подбодрить себя. Знал, что важнее всего не показать страха.— Здравствуйте, братья Ручонки!

— Кому братья, а кому господа. На кой хрен тебя прислали, гнида? Сука ты, да?

— Мастер отгадывать,— сказал я.— Сам начальник охраны направил. Получены сведения, что собирается задушить господина президента и весь штаб младолитовцев. Признавайтесь по-хорошему, и вас тут же отпустят. А если кого-то и прикончили раньше, чихали они на такие мелочи.

— А ты говорун, сука. Алоизас, кто с ним потолкует — ты или я?

— Могу и я, Игнацюс.

Алоизас Ручонка снял ноги с нар и вразвалку, как моряк военного флота, подошел ко мне.

— Только не убей,— сказал я.— Мне малости не хватает.

Я сорвал с себя пиджак и рубашку; пуговицы посыпались на пол, хотя Алоизас еще не успел ко мне притронуться. Занесенный кулак Ручонки повис в воздухе. Я стоял перед Алоизасом как Давид перед Голиафом, только камня у меня в руке не хватало.

— Ну и отделали же тебя!— сказал Алоизас. Он взял меня за плечо и толкнул к Игнацюсу. Толчок был ласковый, но я все равно чуть не упал.

— На господина президента не работаешь,— констатировал Игнацюс.— За избивание можешь жаловаться прокурору, только все они одну лапу держат.

Знали ли корпоранты, что, избивая меня, они оберегли от смертельной опасности? Я оделся. Совсем не нужно было, чтобы мои синяки увидел надзиратель. А пришел он не скоро, сначала принес скудный ужин, затем — тюфяк. Наверно, удивился моей мирной беседе с братьями Ручонками, но виду не подал.

— Спать будешь на полу. Такой приказ.

И вышел.

— Куда ему с такими синяками,— решил Игнацюс.— Тюфяк вроде дохлой камбалы. Тебе помягче надо. Братья Ручонки позаботятся. Будешь дрыхнуть как в гостинице экстра-класса. Думаешь, у бандита совести нету?

Когда утром надзиратель принес ячменный кофе, он был немало удивлен, увидев, что Алоизас Ручонка

лежит на тюфяке, брошенном на цементный пол. Новый арестант мирно посапывал на нарах. В других камерах соблюдался строгий режим дня. Но братьев Ручонок уважала даже сметоновская охранка.

И надзиратель вышел так же тихо, как вошел.

Меня вызвали не с самого утра, но который был час — понятия не имею. Ввели в камеру, приспособленную под канцелярию, со столиком и креслом для следователя и табуретом — для арестованного.

За столом сидел Стасюкайтис. Тюремный надзиратель, не вчерашний, а юнец с квадратным лицом и хорошо развитой мускулатурой остался в коридоре.

Я вошел и не сказал ни слова.

— Вы забыли поздороваться, подследственный.

Я молчал.

— Можете сесть.

Сел.

Стасюкайтис достал из ящика стола коробку папирос. Вытащив папиросу, вытряс из гильзы табачную пыль.

— Закурите?

— Благодарю, не курю.

— Здоровье бережете?

— Обязан ответить?

— На это — нет.

Стасюкайтис долго искал в кармане спички, наконец нашел. Еще дольше вертел коробок в руках.

— Знаете, что это?

И вырос же этот Тадас Стасюкайтис! Даже издеваться умеет так серьезно, что по интонации не узнаешь.

— А на это обязан ответить? — Я тоже старался не терять хладнокровия.

— Да.

— Спички.

— Наверно, знаете, где их производят?

— Не знаю.

— В Йонаве. Знали, но солгали.

— Наверно, не только в Йонаве.

— Это не существенный вопрос. Конечно, если б забастовка в Йонаве не сорвалась, у меня могло и не быть этой коробочки.

— Это только пошло бы вам на здоровье,— заметил я.

— Подследственный, не дерзите.

— Говорю как медик.

— А, это уже другое дело. Спасибо за заботу о моем здоровье.

(«Да, неузнаваемо изменился Стасюкайтис. Все-таки минуло пять лет...»)

Дым колечками вылетал у него изо рта и поднимался к потолку. Даже элегантно курить научился.

— Простите, не спросил вашего разрешения. Не вреден ли дым для вашего здоровья, подследственный?

— Вреден, но курите.

— Благодарю. Мы беседовали о Йонаве. Красивый городок, правда?

— Противный.

— Вижу, знаете. Когда были в последний раз?

— В мае. Знаете ведь, если спрашиваете.

— И что же вы там делали?

— Тоже знаете.

— Знаю. Но мне необходимо ваше признание.

— На вопросы, касающиеся дам, не отвечаю. Это интимные вопросы. Мое личное дело.

— Интимные? Ах, да, да... И знаете что — меня эти ваши интимности не интересуют. Меня интересует нечто другое.

Мои ладони повлажнели. Я ненавижу людей, у которых потели руки. Сейчас стал одним из них.

— Тут я вас уже не понимаю... господин следователь.

— Все же встревожились. Впервые обратились ко мне как... ну, как к служебному лицу, не к стене. Какковы ваши связи с Климайтисом?

«Вот как звали того человека,— подумалось.— Как хорошо, когда ничего не знаешь и не можешь проговориться».

— Не знаю никакого Климайтиса.

— Тогда может Ажуоласа знаете. Еще его Ажуоласом зовут.

— Я в Йонаве никого не знаю.

— Никого?

— Никого. Официантку в пивной. Она же горничная в гостинице. Однокомнатная гостиница.

— Не прикидывайтесь глупее, чем являетесь на самом деле, Тулейкис.

— Какая честь, — не выдержал я. — Наконец-то вспомнили мою фамилию.

— Да. Но если не признаетесь, сами забудете свою фамилию.

— Верю. Только мне не в чем признаваться.

Стасюкайтис встал из-за стола и подошел ко мне, засунув правую руку в карман. Сквозь материю кармана вырисовались контуры металла.

— По какому делу вы встречались с Климайтисом-Ажуоласом?

— Не встречался. Не знаю ни Климайтиса, ни Ажуоласа.

Стасюкайтис левой рукой ударил меня по переносице. В глазах потемнело. Все же моя нога нашла его живот. Врезал крепко. Потом еще раз. А потом очутился на полу, и меня месил ногами уже не один Стасюкайтис.

Я кричал.

Меня били.

Теперь я вопил так, что было слышно во всех коридорах, во всяком случае, я так подумал.

В камеру вошел какой-то человек. Лежа на полу, я как в тумане видел его ноги.

— Обязательно здесь, Стасюкайтис? — спросил хозяин этих ног.

Кто-то меня поднял.

Я повторил старый трюк — сорвал рубашку — пиджак-то сам слетел на пол, пока меня били. Старые и новые кровоподтеки на груди выглядели весьма эффектно.

— Отнесите в камеру,— бесстрастно сказал вошедший.— Делаете мучеников и, возможно, без особой надобности. Кто он?

— Тулейкис,— сказал Стасюкайтис. Его голос слегка дрожал.

Вошедший ничего не сказал. Потом двое надзирателей на носилках втащили меня в камеру братьев Ручонок. Ни в одной больнице, даже в частной, где я работал и где пациенты платили крупные деньги, сестры милосердия не ухаживали за больными так внимательно, как ухаживали за мной братья, которые оперировали своих пациентов на улицах и в квартирах без ланцетов.

V

На несколько дней меня оставили в покое, если можно называть покоем подскочившую температуру и бред. Бредил, временами приходил в сознание. Помню противного типа, заталкивавшего мне в рот таблетку, которую я тут же выплюнул. Его это, кажется, обидело, и он хотел пнуть меня в бок туфлей швейцарской фирмы «Балли» (видел как-то такие туфли в витрине; о них я мог только мечтать).

Но тип меня не тронул, потому что Алоизас Ручонка подошел к двери камеры, как бы собираясь потолковать с надзирателем, который почему-то остался в коридоре; Ручонка просто преградил этому таблетчику дорогу. И когда тип поспешно уходил, Алоизас сказал ему:

— Мерси, господин доктор, силвупле, мон Пари, мон пей.

Выздоровливать я начал сразу после того, как выплюнул таблетку. Но синяки оставались.

— Никакой он не доктор, а фельдшер. Но тебя никто не тронет, пока будешь пятнистый вроде жирафа.

— А потом снова будут бить, Алоизас.

— Как только станут к тебе приближаться, ты сразу в крик! Они этого страх как не любят, фараоны

проклятые. И не признавайся, что коммунист. Пальцев на руках не хватит срок подсчитать, если коммунист. Нам-то с Игнацюсом срока не дадут. Нам — крышка. А вот если признаемся, что убили как политические, обещают заменить на пожизненное. Брехня. Разве что расстреляли бы. Все ж лучше газовой камеры.

— Лучше?

— Быстрее. А как мы можем впутывать политических, коммунистов, вроде тебя?

— Я не коммунист, Алоизас.

— Вот и не признавайся. Мы с Игнацюсом и так и этак прикидывали. Из тюрьмы еще убежать можно, а отсюда — нет. Вроде сейфа Вайлокайтиса. Камень, железо. А ты слишком поздно нам мыслишку подкинул — народного вождя и штаб младолитовцев к святому Петру спровадить.

— Не вышло бы. Охраняют. Да и что из того? Появились бы другие, не лучше.

— А говоришь — не коммунист. Коммунисты все до единого так говорят.

— Да оставь ты его, Алоизас, в покое, — вмешался Игнацюс. — В человеке еле душа держится.

— Э, мне уже лучше, — сказал я. — А следовательно — мой школьный товарищ.

— Тем хуже, — не унимался Алоизас. — Побойтся, чтоб ты его где-нибудь на Аушрос такас не прихлопнул, обязательно в форты тебя упечет. Чтоб больше не вышел.

Аушрос такас! Выстрел из монтекристо, которого не было слышно, тело, распростертое на обледенелой лестнице... Неужели в бреду проболтался? Вряд ли... Наверное, случайно сорвалось у Алоизаса.

Меня стала бить дрожь. Оттого, что вспомнил лед и снег. Да и в камере, хотя и лето, не было жарко.

— Слышь, Игнацюс, как он зубами лязгает! А нас и не трогали тут. Боялись. Нас можно только насмерть забить, сразу. А по чайной ложечке — этого уж нет. Ты полежи, подрожи, оставят, говорю, тебя на денек-другой в покое.

И правда, меня не трогали не только денек-другой, а целую неделю. Игнацюса и Алоизаса перевели. В другую камеру, в форты или на кладбище — об этом мне никто не сообщил. Оба пожали мне руку крепко, до боли, и ушли. Мне показалось даже, что они малость растрогались.

В камере я остался один, но ненадолго. Привели нового, политического. Сразу же стал рассказывать, что он коммунист, что знаком с Ажуоласом, в Йонаве у него бывал. «Неужели Стасюкайтис меня считает таким дураком,— думал я,— что я не сумею раскусить провокатора?» Пятрас Старкус за годы нашего знакомства ни одной фамилии (или клички) мне не называл, а этот, едва переступив порог, об Ажуоласе так и шпарит. Я же этого Ажуоласа видел только раз, да и фамилию его впервые услышал от Стасюкайтиса!

— Ты герой,— торжественно произнес я.— Высоко взлетишь.

— Тружусь на благо народа,— скромно ответил новичок.— Хочу остаться неизвестным рядовым партии. Вот ты — дело другое.

— Мне, может, хотелось бы стать и известным рядовым партии,— сказал я,— только вот в партии я не состою. Слышу от тебя истории о людях, которых в глаза не видел. Вроде сказки. А ты знаешь, на какую высоту взлетишь?

— Опять ты за свое...

— Повесят тебя.

Новичок прикинулся обеспокоенным.

— Неужели таутининки вешают?

— Причем тут таутининки! Найдется кому повесить провокатора.

Этого он не ожидал. Видел, как судорожно обдумывает, что делать дальше. Наконец решил продолжать игру.

Подскочил ко мне с кулаками. Я-то еще был слаб.

— Я за народ страдаю, а ты... Вот добавлю тебе еще синяков!

— Стасюкайтис не похвалит тебя. И господин Спиридоновас-Лашас тоже. А то и сам с тобой разделаюсь.

Школу-то прошел хорошую, с братьями Ручонками сидел. Заснешь сегодня — задушу.

Пригрозил, видать, довольно убедительно, хоть сам едва сдерживал хохот.

Убрался, гад, в тот же вечер. Даже притворяться не стал — когда принесли ужин, что-то шепнул надзирателю. Сразу же и увели провокатора.

На допросах меня больше не били. На все вопросы я отвечал «нет». Спрашивали даже, что думаю о теперешнем режиме. Ответил, что политика слишком сложная штука, посложнее химии, органической и неорганической. Не знаешь, что когда взорвется.

Опять два дня покоя. Спал и днем и ночью.

А потом — очная ставка с Ажуоласом. Сразу и не узнал его. Видел-то его всего несколько минут...

Стасюкайтис внимательно наблюдал за моим лицом. Повидимому, что-то заставило его заколебаться — настолько уж я был равнодушен.

— Вы утверждаете, Тулейкис, что никогда не видели этого человека?

— Никогда не видел, господин чиновник службы безопасности.

— Ну-ну, полегче. Отрицание вины — отягчающее обстоятельство. И вы, Климайтис, отрицаете?

— Впервые вижу этого господина.

— Если говоришь «господина», значит, видел, потому что сейчас он на господина не похож.

— Как это не похож. По обхождению видно. О вас этого не скажешь.

Губа у Стасюкайтиса дрогнула, но тем и кончилось.

На следующее утро, когда я снова сидел на табурете в камере следователя, ввели Пятраса Старкуса.

— Что ж, Тулейкис, этого человека ты тоже не знаешь?

— Почему же, господин следователь. Даже очень хорошо знаю.

— Вот это другой разговор. Где познакомились?

— У тюремных трупов, господин следователь.

— Опять шутите, господин Тулейкис?

— В прозекторской, — вставил Старкус.

— А я вас не спрашиваю. И что же, Тулейкис, только о трупах с ним и разговаривали? И почему сказали «у тюремных трупов»?

— Оттуда их доставляют в прозекторскую.

— А перед тем, как отправиться в Йонаву, когда Старкус заходил к вам на квартиру, вы тоже о трупах говорили?

— Наверно, нет.

— О чем?

— Может, о женщинах. Не записал, не знал, что придется вам рассказывать.

— А может, разговаривали о подготовке стачки в Йонаве?

— О стачке?

— Опять дурачком прикидываетесь, Тулейкис?

— Назначьте психиатрическую экспертизу.

— Десять лет каторги я тебе и без экспертизы назначу.

— Если есть за что — назначайте.

— Значит, о женщинах говорили?

— Кажется.

— Об Аните Реслер, которая должна была тебя отвезти, Тулейкис?

«Разгорячился, раз опять тыкает», — подумал я. И резанул с плеча:

— О Викте Стасюкайтите.

И тут же пожалел о сказанном. Эта проститутка, по сравнению с братом, достойна была украшать собой алтарь. Что ж, сказанного не воротить.

Стасюкайтис побледнел; как медик, такое я замечал быстро, а тут и не медик разглядел бы. Уже увидел себя на полу, как меня опять месят ногами. Но Стасюкайтис даже не шелохнулся. Даже губа у него не дрогнула.

Как будто мои слова вылетели сквозь зарешеченное окно, минуя слух следователя.

— А господин Старкус утверждает, что вы разговаривали о медицинском факультете. Он хотел туда вернуться. Верно, господин Старкус? Простите за такое

обращение, но товарищем уж точно не придется вас называть.

— Вам действительно не придется, господин следователь.

И реплику Старкуса Стасюкайтис пропустил мимо ушей.

— Значит, у господина Старкуса память лучше моей,— сказал я.

Потом нас разлучили. Видел, как Старкус улыбнулся мне. Это могло означать «хорошо с ним разделились», «держись». А может, даже «оправдал доверие».

Приободрила меня эта улыбка. В камеру я вернулся в приподнятом настроении. А через три дня меня освободили. У дверей охраны стоял «Додж». За рулем — Анита.

Я вышел через парадную дверь, как рядовой клиент полиции или даже осведомитель, и у меня закружилась голова. В тюрьме хотя бы на прогулку выводят. О тюремном режиме я был неплохо информирован: насколько Игнациус Ручонка был молчалив, настолько Алоизас — болтлив. Порассказал он мне не только о тюрьме, но и об охране. Назвал фамилии начальников — больших и маленьких. Учил, как распознать слежку за собой, как оторваться от «хвоста». Правда, судя по положению братьев Ручонок, это не всегда удавалось...

— Привет, Анита. Приятно с твоей стороны, что не боишься себя скомпрометировать.

— А я уже скомпрометирована.

— Да, им известно, что мы спали.

— Ах, это меня меньше всего волнует. Не то, что спали, мой милый, а то, что они знают.

— Надеюсь, они оставили тебя в покое, Анита?

— Меня-то? Мне же пришлось с двумя противными типами ехать в Йонаву на своей машине и показывать, где мы останавливались.

Я встревожился. Вспомнил дом Климайтиса. Там «Додж» уж точно останавливался.

— И что ты им показала, Анита?

— Не бойся, тот домик, в который ты заходил, не показала. Но по дороге проехала. Видели нас там их агенты и доложили. Остановилась у дома подальше, на опушке леса.

— А что рассказала?

— Что ты хотел снять дачу для шефа, не говорила. Тогда ты так прозрачно врал, что я кое о чем догадалась. Ведь если б спросили у твоего шефа — все бы всплыло.

— Анита, ты гений.

— Наконец-то понял. Сказала, хотел повести меня в лес, потому что там поэтичнее, чем в гостинице. Но в лесу нету даже этого примитивного комфорта в кавычках, и я не согласилась.

Мне было странно, что по тротуарам гуляют люди, что деревья покрыты пышной зеленью. «Додж» без всякой цели катил по улицам.

— Хотели меня завербовать, — сказала Анита, когда «Додж» въехал на улицу Тунялё, развернулся и очутился в долине Мицкевича. В опущенные окна машины доносилось пение птиц. — Выйдем?

Мы сели прямо на траву.

— Ты, как будто зная, одела зеленое платье, — сказал я. — Не испачкаешься. Ну и как, удалось им тебя завербовать?

— Не удалось. Они даже не очень-то огорчились.

— Они там вообще не огорчаются.

— Думала, станут шантажировать моим отцом. Знаешь, о нем всякое говорят. Но ничего. Видно, отец выложил не одну сотню. И за тебя пятьсот.

— Как это — за меня?

— Оскорблен?

— Нет. Рад. Не знаю только, когда смогу вернуть ему деньги. Это залог? Значит, судить меня все-таки будут.

— Залог? Взятка! Надеюсь, не проболтаешься? Не обижайся, это шутка.

Назойливо свирестела какая-то птичка, а какая — не знал. В орнитологии я разбирался не больше Аниты. Как-то на зоопрактикуме изучал кошачью печень

в формалине, классифицировал насекомых, но пение птиц оставалось за пределами моих познаний.

— Что за это время случилось в мире, Анита?

— Многое. Полистаешь подшивки газет в публичной библиотеке. Как хоронили Пилсудского, как наци в Нюрнберге снова громили евреев. И объявления: «Пейте горькую воду Франца-Иосифа».

— К черту. Еще и теперь во рту горько.

— Били?

— А как же.

— Теперь не смогу даже раздеть тебя и перевязать. Еще подумаешь, что обязан раздеваться за деньги моего отца.

— Примерно так и подумал бы. А китаец? Иначе говоря, Альгирдас Урнежюс?

— Как и ты, только похуже. Кожа оригинальная, вот и все.

Мы снова мчались на «Додже», свернули по аллее Видунаса, в сторону города, потом спустились по улице Пародос в центр.

— Где же тебя посадить, мученик от политики?

— У моего дома на улице Кястутиса. Хорошо звучит: «Мой дом». Правда? Кстати, Анита, ты обманщица. В тот вечер в «Версале» ты сказала, что больше не встретимся.

— Я?

— Не я же. Когда рассказывала о шофере, который вез тебя в Палангу на вашем «Бьюике».

— Я тебе об этом рассказывала, Каролис?

— Рассказывала!

— Фантазия! Бред пьяной девицы! Надеюсь, ты не поверил?

— Поверил. А какая разница?

Я поднимался на второй этаж, а Анита между тем уже катила назад, в свои апартаменты из пяти или семи комнат. Где же мой ключ? Только теперь я вспомнил о ключе. Или потерял его в драке с корпорантами, или забрала охранка. Может, они коллекционируют ключи для музея криминалистики?

Позвонил. Тишина. Еще позвонил. Наконец — шаги хозяйки.

— Господин Каролис! А мы-то думали, вы уже не вернетесь.

— Как видите, мадам, вернулся. И знаете что? Страшно хочется спать.

— Понимаю вас. Только ваша комната сдана. После того кошмарного обыска, который они учинили, когда вы исчезли...

— Вы сказали, когда я исчез?

— Да. А обыскивали — лучше не спрашивайте. Половицы оторвали, целых две, но денег мы с вас не потребуем, я уговорила мужа оставить вас в покое. Тем более, что за июнь вы заплатили вперед.

— Благородно! А мои вещи?

— Мы чужого не возьмем. Разве что полиция. Мы даже опись составили. Вам принести вещи? Там немного, два чемодана.

— До вечера можете чемоданы у себя подержать? Или несколько дней?

— Не дольше. А то переживай за чужое имущество...

Эту ночь я провел в автостанции на проспекте Витаутаса. Следующую — в гостинице «Венеция», без девушки, разумеется.

В университете меня также встретили весьма удивленные взгляды. Только декан, ничуть не удивившись, заявил, что смогу продолжить учебу, хоть времени осталось и немного. Приличный человек этот декан — зовут его Лашас, а вот в охранке тоже был Лашас, редкостный негодяй и никакой не родственник профессору. За два дня я разыскал всех своих преподавателей, по предметам которых задолжал — надо было сдать несколько зачетов и экзаменов.

С коллегами толковал о празднике студентов в парке Витаутаса, хоть он состоялся еще в середине мая, и о спортивном празднике корпораций на воинском стадионе, и наконец об Альберте Эйнштейне и теории относительности, потому что время в университетских коридорах и в камерах охраны все-таки течет по-раз-

ному. Хотя в аудиториях — гул молодых голосов, в коридорах — вечная спешка в страхе опоздать на лекции, время здесь остановилось, законсервировалось, и ни один студент не постарел ни на час. А вот в подвалах охраны ты спал на нарах или стоял на цементном полу, уставившись в точку на стене, и часы для тебя остановились, за десять дней пробежало не меньше десяти лет, ты вышел умудренным, постаревшим, и странно было теперь видеть этих сопляков, которых занимало, кто с кем танцевал в парке, да кто из корпорантов дальше метнул диск.

Из медицинского факультета я вышел на улицу Мицкевича и побрел мимо тюрьмы, рассуждая, что чудом избежал ее, да еще подумал, не сидят ли в одной из камер брата Ручонки. Нет, в тюрьме их наверняка рассадят. Почему же в охране их держали вместе? Может, чтоб сломить новичков, вроде меня?..

Направился в свою частную больницу. При виде меня шеф энергично развел руками, однако ладонь не протянул и коллегой не назвал.

— Вами полиция интересовалась, знаете ли... Не полагал, что вы пуститесь в политические аферы... Нам, национальным меньшинствам, лучше держаться от политики подальше...

Куда девались моя деликатность, даже застенчивость, которые невольно проявлялись в разговоре с людьми «чином повыше»?

— Вы (это слово я произнес почти брезгливо) меня уволили?

— Я... Боже мой! Если б от меня зависело...

— Полиция приказала уволить?

— Приказала? Почему приказала? Приказала!.. Нет. Дала понять. За сколько дней я вам должен? Даже не помню. Может, вы вспомните?

Он вытащил блестящий бумажник и вынул две новеньких ассигнации. Вот когда он протянул мне руку — теперь, с деньгами!

На этот раз не пожадничал, скупердяй! Я взял деньги и увидел, как с лица моего бывшего шефа схлынуло напряжение.

Я разорвал ассигнации на четыре части и швырнул на пол.

— Подберите и сдайте в банк,— сказал я.— Номера банкнотов уцелели, получите новые хрустящие бумажки.

— Вы — наглец,— сказал мой бывший шеф. Денег он подбирать не стал. Ладно, подберет, едва я выйду за дверь.

— Придержите язык, сударь,— нежным голосом произнес я.— В полиции я сидел в обществе убийц. В охране тоже можно кое-чему научиться.

Бывший шеф молчал.

Я продолжал:

— Купите волкодава, заберите окна решетками и вставьте второй замок.— Теперь говорил уже не я, в камере охраны во мне ролился Кастантас Глинскис или даже сам Качалов.— Жалкий надувала дамочек. Не уходите, я еще не кончил. Мне нравится, когда меня слушают. А теперь вы свободны. Не забудьте подобрать банкноты, коллега.

На улице со мной случился припадок истерики; думаю, что бывший шеф должен был слышать этот надрывный смех. И я уже не сомневался, что доктор заведет волкодава. Может, даже сходит в полицию и расскажет о моей угрозе. Велика печаль! Свидетелей-то не было. Неплохо за столь короткий срок изучить юриспруденцию!

А вот деньги оставлять ему не стоило. Разорвать можно было, банк поменял бы, а оставлять — нет. Человеку в полосатом пиджаке с потрепанными рукавами нечего есть. Из-за желания порисоваться он и сегодня ляжет голодным. Без маленькой рыженькой Хели из страхового общества; рыженькие с голодными не спят.

А потом, когда я уже свернул на улицу Донелайтиса, передо мной вспыхнули фары, они летели на меня, а я почему-то остановился посередине улицы и ждал — что будет дальше. Может, ноги подкосились? Что-то, видно, надломилось в моей нервной системе. Машина

пыталась объехать меня, и тогда ноги автоматически шагнули.

Взвизгнули тормоза, и огромная машина, слегка задев меня, остановилась. Удар был совсем слабый, но и я не из крепких. Упал. Но об асфальт головой не стукнулся.

Из машины выскочили два человека и стали кричать на меня, одновременно помогая подняться.

— Спасибо,— сказал я.— Сам виноват. Наверно, слушал пение соловьев. Правда, сезон уже кончился. Я и забыл, что тут не Алексотас.

— Во гад!— крикнул один из помогавших мне.— Ведь это Каролис!

Посмотрел и узнал. Пять лет? За такое время человек меняется. Но если он узнал меня, почему я должен не узнать его? Фигура уже не такая мешковатая, но мышцы проступали еще выразительней — вечер был теплый, и бицепсы атлета так и перли из-под рубашки. И лицо не такое бледное. А глаза — узкие, не такие, как у Альгирдаса Урнежюса, нет, просто прищуренные. И не было ни следа от деланной американской улыбки.

— Здравствуй, Казис,— сказал я.— Задавить меня хотел? Запомню. А это случайно не Владас?

— Уолтер,— сказал Владас,— но, если хочешь, зови меня Владасом.

Вряд ли в тот вечер нашелся бы хоть один человек, сумевший убедить меня, что встреча с Куприсами была чистой случайностью.

VI

От кого я унаследовал неподатливость, даже какую-то холодность в отношениях с людьми — сам не могу докопаться. Может, потому, что существовал особняком от семьи и не знал ее.

Да и как будешь знать семью, если даже сам себя не знаешь! Почему я отказался от ночлега и, разумеется, плотного ужина, когда Казис, на радостях, что не

задавил-таки меня, пригласил к себе? (Он действительно радовался благополучному исходу — не по любви или хотя бы симпатии ко мне, а просто потому, что избежал неприятностей.)

И все-таки, будь у меня под ногами твердая почва, я бы принял приглашение Казиса. Сейчас, без жилья и денег (кроме тех нескольких литов, которые не отобрала охранка и которые я уже почти истратил), я не хотел жить на чей-то счет. Конечно, у меня не было желания рассказывать Казису о своих злоключениях, тем паче, что ему хотелось говорить только о себе. Он всегда считал себя пупом земли. Да, за пять лет характер человека мог измениться. Но я издавна был предубежден против Казиса и, сам того не сознавая, не верил ни в какие его метаморфозы.

И все же я немного покатался с ними. Машина была огромная и роскошная, прекрасный «Линкольн», — значит, у Казиса дела в Америке шли отлично. Сидели впятером. Со мной Куприсы говорили по-литовски, а между собой — по-английски; точнее — по-американски, ведь мало-мальский знаток английского всегда отличит англичанина от американца. Но тогда я еще не знал этого языка, хотя и понимал медленную речь, и даже сам мог составить несложные предложения.

Я сказал, что Куприсы говорили по-английски, но не все из этой четверки (не считая меня) были Куприсами. Толстяк, которого звали Джимом и который скверно говорил по-литовски, был посторонним. Что его связывало с Куприсами, я так и не узнал, по крайней мере, в тот вечер.

А девушка, сидевшая между Джимом и Владасом в глубине автомобиля, была Ирена. Та самая девчушка, которой, когда я видел ее последний раз, было одиннадцать, та самая малышка, которая ползала под нашими стульями, когда мы с широкого балкона любовались жонглерами «Труцци», девчонка, родившаяся на корабле, с глазами переливчатого цвета, каким бывает море!

Я сидел рядом с Казисом, который колесил по улицам Каунаса, время от времени вытирая пот, потому

что после студеного мая природа решила исправить свою ошибку и отогреть продрогших каунасцев. Мне, промерзшему в подвалах охранки, был отраден этот зной, который не спадал даже с наступлением ночи.

До меня наконец дошло, что не было больше ни Казиса, ни Владаса, ни Ирены. Теперь в автомобиле сидели Чарли, Уолтер и Айрини, да еще этот Джим, совсем чужой для меня человек, которого я игнорировал, конечно, стараясь не показать этого.

— Хорош у тебя лимузинчик,— сказал я, чтоб что-нибудь сказать. Мы проехали по мосту через Неман и поднимались в гору. Видно, Казису надоело кататься по улицам.

— Свободно помещаются семь человек, а если потесниться, то и больше. Правда, Джим мог бы сойти за двоих — вон какой толстый.

— Не делай из себя тонкого,— отрезал Джим. Странно звучала конструкция его предложений.

— Не цепляйтесь друг к другу,— сказала Ирена.

— Куда ты нас везешь?— спросил Владас.

— На мясокомбинат, там продадим Джима. За такой вес хорошо заплатят!

— Как смешно,— сказала Ирена.— Какие остроты. Ты, Каролис, не обращай на него внимания.

Мне почему-то стало приятно, что эта девушка обратилась ко мне по имени. Видел ее отражение в ветровом стекле, когда на поворотах наклонялся немного в сторону Казиса. Спидометр показывал сто пятнадцать. Гравий брызгал из-под колес в стороны.

— При такой езде скоро будем в Мариямполе,— заметил я.

— Не бойся, самому жить хочется.

— Не надо в Мариямполе, Чарли. Поворачивай назад,— потребовал Владас.

— Закрой пасть, Уолтер,— отрезал Чарли. Спидометр показывал уже сто тридцать.

Конечно же, он хотел продемонстрировать мне мощность своей машины. По тем временам она была очень большой и наверняка мотор мог выжать еще больше. Чарли был бы счастлив, если б я показал, что

боюсь. Но я не боялся. После беседы со Стасюкайтисом, когда ты лежишь на полу, а тебя месят ногами, набираешься мужества. Я готов поклясться, что мужество — такой же предмет, как и английский язык, который надо изучать.

Потом стрелка спидометра, подрагивая, начала клониться влево, число километров в час падало.

— Машина хорошая, — сказал я, — только дороги у нас плохие. Проколол бы острый камешек шину — и уже порхал бы у ворот рая.

— Почему же не в рай? У ворот остался бы Джим. — Казис все еще старался остричь.

— Джиму лучше одному в аду, чем с тобой в рай, — отрезал Джим и зевнул. Потом еще сказал Казису что-то по-английски, но я ничего не понял.

— Да перестаньте, — бросила Ирена.

Возвращаясь, мы еще свернули направо и прокатились по Фреде, а потом снова оказались на том же мосту. Вдоль набережной мерцали огни. К пристани шел пароход. Из Юрбаркаса, а может, даже из Клайпеды.

— Куда тебя отвезти? — спросил Казис.

Что я мог ответить? Ехать к нему отказался, едва сел в машину. К Аните? Теперь уж нет. И так она выкупила, я, можно сказать, стал ее собственностью. Пересплю в городском саду на скамейке или в парке Ажуолинас, а может, на вокзале. Снова идти в гостиницу — значит, завтра остаться без обеда. Мог бы пойти и к отцу, но он ведь ждет от меня денег. Сестра отпадает. Ладно, завтра что-нибудь придумаю.

— Езжай домой, — сказал я. — Мне не к спеху, малость прогуляюсь. Хоть буду знать, где живешь.

«Линкольн» въехал в ворота огромного дома на улице Кястутиса и повернул во двор. Там стоял двухэтажный домик с гаражом на первом этаже.

— Этот дом — наш, — кивнул Казис головой на большое здание. Этажей пять, что ли, — поленился сосчитать. Да и какая разница?

— Неплохо, — сказал я.

— А живем мы во дворе. Только Айрини — в большом доме. Послезавтра мама приезжает.

— Ты, Каролис, зови меня Иреной,— сказала Айрини, выбравшись из машины и оправляя платье.— Разве не смешно, что Казиса мы называем Чарли? Ведь Чарли — это ты, Каролис, а не он.

— Ну-ну,— буркнул Казис.— Ступай себе, твоего мнения никто не спрашивает.

Но в его голосе не было раздражения. Даже какая-то нежность в нем послышалась. Если этот человек и способен кого-то любить, то, наверно, только ее.

Я попрощался по американскому обычаю — кивком головы. Ведь за эти пять лет Казис всеми силами старался перевоплотиться в Чарли. Почему не сделать ему приятное и не отдать должное американским обычаям? Тем более, что и мне почему-то не хотелось пожимать руки этим парням.

— Cheerio, Charlie,— сказал я.— I'm glad to see you.

— How do you like?— удивился Джим.— Он все понял, что мы говорили?

— Меня-то вы не собирались сдать в мясокомбинат,— ответил я.— Хотя моя комплекция и больше подошла бы. Сейчас в моде бекон.

Джиму понравилась острота, и я еще слышал его хохот, уже свернув из ворот на улицу Кястутиса. А мне подумалось, что «до свидания» сказал правильно, но следующую фразу полагается, наверно, говорить при встрече, а не на прощание. В конце концов, не все ли мне равно? В Америку ехать не собираюсь, а в медицинской литературе эти фразы не встречаются. И еще подумал, что меня какой-то таинственный поток все заносит на улицу Кястутиса — два раза жил здесь, тюрьма, в которой едва не оказался, тоже возвышалась на углу этой улицы, да и теперь, если бы не мое упрямство, мог бы блаженствовать в квартире над гаражом, пока не иссякли бы рассказы Чарли.

А они, как мне казалось, не имели конца.

Бесцельно брел по направлению к Собору. Хотя это был гарнизонный костел, все каунасцы называли его Собором. И почему-то в моей голове завертелась мысль об отце. Попробовал избавиться от нее, поскольку не любил неприятных мыслей, что, наверно, естественно

для каждого нормального человека. И каждый раз, когда удавалось придать мыслям другое направление, в воображении снова всплывало лицо отца, — каким я видел его последний раз в бывшей своей комнате на улице Кястутиса. Усталость, покорность судьбе и едва заметная искорка надежды — вдруг поможет сын, которому он все-таки дал среднее образование. Не знаю даже, жалел ли я этого человека, которого жизнь сжевала и выплюнула в сточную канаву; может, я злился на него — даже не из-за матери, которой теперь уже все равно. Скорей всего, меня приводило в ярость отсутствие малейшего протеста, рабское смирение перед законами жизни.

В спокойной и сытой действительности буржуазной жизни (для одних слоев населения эти прилагательные подходили без кавычек, для большинства, наверно, в кавычках), — в этой действительности законы жизни были таковы: нужен — работай, не нужен — издыхай. За исключением, конечно, богачей и спекулянтов, а это зачастую одно и то же.

Никак не мог избавиться от мыслей об отце. Если б ночевал в городском саду или в Ажуолинасе, а в такую теплынь спать там совсем неплохо, отец все равно бы пришел и встал передо мной, и сказал: «Я так и думал» (услышав, что не получит денег), а может, сказал бы что-нибудь другое — мой диалог с отцом уже тускнел, и я помнил суть, но не слова.

Нельзя оставлять человека в таком состоянии. Ни в коем случае нельзя.

Из телефонной будки позвонил Аните. Знал, что в такое время не звонят, но пришлось. Конечно, набирая номер, я не верил, что Анита может оказаться дома.

Ошибся.

— Ты одна? — спросил.

— Почему это тебя волнует? Хочешь зайти?

— Нет.

Было слышно, как она подавила зевок. Значит, поднял с постели.

— Выкладывай свои беды, Каролис.

— Почему решила, что беды?

- По голосу. Страстные любовники говорят иначе.
- Сейчас у тебя нет страстного любовника?
- Иди к черту! Имеешь еще что сказать?
- По существу — нет.
- Врешь. Откуда звонишь, Каролис?

Я сказал.

— Подожди, мой мальчик, минут пятнадцать. И помни, что у женщин часы идут по-другому.

Понял, что ждать придется по меньшей мере полчаса. Не все ли равно? Времени у меня было хоть отбавляй. Иначе говоря, до утра. А утром меня ждал экзамен. Срок сдачи некоторых зачетов уже прошел, но профессора и ассистенты сделали для меня исключение. Весть о моем аресте мигом облетела факультет. Многие преподаватели проявили желание помочь мне, и я надеялся перейти на пятый курс. Конечно, придется еще посидеть в библиотеке. Но ведь раньше или позже прояснится в голове! А в ней пока было еще темнее, чем на улице Гедиминаса, освещенной тусклыми фонарями, на которые тучей летела какая-то мошара, а может, бабочки — издали не различишь.

А вот «Додж» я узнал издалека.

Вышел на середину улицы и поднял руку.

Анита открыла дверцу и усадила меня рядом.

Я почувствовал, как спадает напряжение. Сейчас уже я подавил зевок.

— Рассказывай, — сказала она. — Да тут и рассказывать нечего. Выглядишь как старый турок-кастрат. Небось, голодаешь и спишь в городском саду. Эти сволочи не имели права отказывать тебе в комнате. Выложила им все, что думаю, и пригрозила судом. И, представь себе, испугались и вернули сорок литов, какой-то аванс, а когда я продолжала шуметь, они объяснили, что десять литов удержали за ремонт полов.

— Полицейские отдирали половицы.

— Причем тут ты? Знала бы — вырвала и остальные деньги.

— Я и без того уж богач. А как ты у них очутилась?

— Тебя искала. Не сказала бы, что ты прилично себя ведешь. До этой ночи — ни звука! А может, тебя опять полицейские сцапали? Все из-за этой проклятой Йонавы! Здесь и моя вина есть, не надо было тебя везти.

— *Mea maxima culpa.*

— Церковными закланиями не откупишься. Искала тебя и в частной лечебнице.

— А там уж точно зря, Анита.

— А что мне было делать? Сам виноват.

— Значит, придется каждый день у тебя отмечаться. Как в полиции.

— Думаю, лучше уж у меня. Ведь ни разу тебя не колотила, революционер.

— Послушай, эти сорок литов надо бы отдать твоему папаше, хоть выкупила меня и ты. Но если еще можешь подождать...

Анита рассмеялась:

— Могу. Дурак ты, дурак.

— Видишь ли, сейчас мой отец, наверно, стоит в очереди у биржи труда, а там — тысяча двести зарегистрированных безработных, если верить газетам. И мой отец, скорей всего, последний в очереди. Мебель, чего доброго, за бесценок распродает. А то и просто голодает — не умеет он мебелью торговать.

Как с Чарли, так и теперь мы бесцельно кружили по городу, миновали вокзал и повернули направо, в Шанчэй.

— Только ты богаче, чем думаешь, — сказала Анита. — Еще почти две сотни выколотила у того доктора. Из твоей «частной клиники».

— Послушай, Анита, — я не знал, рассердиться или обрадоваться, — мне кажется, нам остается объявить о помолвке и обменяться кольцами у главного алтаря в Соборе.

— Нет, мой друг. В лютеранской церкви. Я — лютеранка.

— Но я не гожусь тебе в мужья. А ты — идеальная жена. Вела бы мои дела, и никто никогда меня бы не надул.

— Очень остроумно. И невесело.

— А почему должно быть весело? Кстати, ты собираешься ехать в Панемуне?

— Должна же я куда-то ехать.

— Тогда поверни на улицу Бажничёс. Там живет мой отец. Я должен дать ему денег. Поняла?

— Не так уж сложно.

Она подождала, пока проедет автобус, торопящийся из Шанчяй, развернувшись, обогнала его и помчалась по проспекту Витаутаса назад. Мы повернули направо. В конце улицы Бажничёс стоял дом, в который я поклялся не ступить ногой. Да этого и не требовалось. Достаточно крикнуть с улицы, и отец высунет голову в окно. Окно открыто — теперь-то воров можно не бояться.

Я выбрался из машины. Кто-то подошел к окну на первом этаже. Не так часто подъезжали лимузины к таким домам.

Окна в квартире отца были закрыты.

— Отец! — позвал я не слишком громко. — Отец! Свет не загорелся.

Я крикнул громче.

Окно открылось, но не в нашей квартире. Нижний сосед с некоторым уважением спросил:

— Чего разорались?

Сами слова, конечно, не принадлежали к категории изысканных — они адресовались ночному возмутителю спокойствия, но по тону звучали заискивающе, и это уже относилось к обтекаемым формам «Доджа».

— Не вас зову. Тулейкиса.

— Тулейкиса нету.

— Как это нету?

— Нету. Уже двое суток носу не кажется. Попросил, чтобы мы за квартирой посмотрели, и ушел.

— А куда — не говорил?

— Вам, надеюсь, известна его разговорчивость. Скажет он, ждите.

Не знал, о чем еще спросить. Меня охватила тревога — посильней, чем в подвалах охраны. Хотелось бежать или мчаться на большой скорости, как тогда

с Чарли, только бы не стоять на месте. Заболела голова. И ни с того ни с сего свело мускулы лица. Обычно это бы меня испугало, а сейчас было все равно. Даже когда сдавило горло. На какой-то миг, потом опять отпустило.

А тревога осталась.

— Не предполагаете, где он может быть?— почти умоляюще спросил я.

— Не предполагаю.— Человек в ночной рубашке вроде хотел еще что-то добавить, но только повторил:— Не предполагаю.

Когда снова доехали до проспекта Витаутаса, я вспомнил, что даже не поблагодарил соседа. Немного успокаивало, что отец просил присмотреть за квартирой. Ведь если человек решил покончить с собой, судьба мебели не должна бы его интересовать. И тут же подумал, что мой отец из тех, кто до последней минуты будет заботиться о квартире. Служба в банке была для него не работой. Она была его натурой. Все разграфлено, одни цифры налево, другие направо, выстроены ровными столбцами; все аккуратно до последней записи: «Продолжение в следующей тетради».

— Куда теперь?— спокойно спросила Анита, и я был признателен за это. Не равнодушие, а именно спокойствие звучало в ее голове. Это были первые слова Аниты после моего разговора с человеком в ночной рубашке.

— Ты сейчас сообразительней меня,— сказал я.— Представь, я никогда не любил отца. Никогда. А теперь все отдал бы, лишь бы его отыскать.

— Видно, все-таки любил.

— Может. Теперь это уже неважно.

— А твоя сестра ничего не знает?

Странно, но сестра выпала из моего сознания, словно ее и не было на свете.

«Додж» остановился перед проспектом Витаутаса. Анита ждала указаний.

— Поверни налево. Вот аптека. Стоп. Подожди, я поднимусь наверх. Как думаешь, удобно в такое время врываться?

- К сестре-то?
- Муж у нее, старикан с вишневым носом, не люблю его.
- А ты вообще любишь кого-нибудь, Каролис?
- Обсудим в другой раз. Удобно, значит?
- Удобно.
- Я сейчас.
- Не волнуйся. У тебя преданный шофер, который не выдал тебя даже охранке. Шофер с интуицией.
- И с деньгами, и выкупает своего... Кого «своего»?
- Топаи навверх.

Звонил я долго. Наконец послышалось шлепание. Какая-то женщина, по голосу — молодая, спросила через закрытую дверь — зачем и к кому. Терпеливо объяснял, что к сестре, жене аптекаря, но дверь она все-таки не открыла. Наконец прищелпал и сам аптекарь. Он приотворил дверь, насколько позволяла цепочка.

— Не слишком ли поздно вспомнили о нас? — Насмешка и ненависть таились в его голосе. Именно таились, потому что аптекарь старался говорить вежливо.

— Хотел поговорить с Цецилией.

— Видишь, даже сестру не забыл. — Теперь через плотину вежливости прорвалась насмешка и смысла весь хороший тон. — Госпожа Цецилия спит.

Я сдерживался, как мог.

— Не можете разбудить?

— Нет. Приняла снотворное. А вообще болеет и целую неделю не выходит из дому. Чего еще тебе?

— Если можно, без «ты». Отец к вам не приходил?

— Нет.

— Всю неделю?

— И эту неделю, и этот месяц, и эти полгода. Все?

— Нет. Скажите своей жене, что ее отец ушел из дому и пропал.

— Такие не пропадут.

— Какие такие, старый хряк?

Эти слова произносил уже не я. Теперь говорил заключенный, сидящий с братьями Ручонками и умоляющий их разделаться с этим стариканом. Но братья

Ручонки были в тюрьме или в преисподней, а я стоял на опрятной освещенной лестнице и не мог вломиться в дверь, закрытую изнутри стальной цепочкой, даже не слышал того, что мне говорят, кроме слова «пожалуюсь»; потом дверь захлопнулась, а я пнул ее изо всех сил ногой и удивился, что уцелел носок туфли, не отлетела подошва; послышалось шлепанье за дверьми напротив, тишина, и сосед зашлепал назад.

После пинка в дверь я ощутил благодное спокойствие. Будет что будет, а сейчас — спать. На автобусной станции я ведь только вздремнул, изображал пассажира, а в гостинице «Венеция» тоже не удалось выспаться, потому что двое мужчин в соседнем номере привели к себе женщину. А в комнате с другой стороны кто-то храпел погромче Игнацюса Ручонки.

— Ну как?— спросила Анита.

— Не было тут отца. А сестра болеет.

Рассказал о пинке в дверь.

— Побереги нервы,— посоветовала Анита.— Еще пригодятся.

— Мне думается, это неплохая разрядка, такой пинок. А теперь вези меня спать.

— Куда?

— Даже к себе не зовешь.

— Не зову. Теперь ты богат, можешь найти женщину покрасивее. А вообще тебе надо выспаться как следует. В гостиницу «Летува» или в «Версаль»?..

— Меня туда не пустят. Я похож на...— хотел сказать «на кокаиниста», но сдержался.— На вышедшего из тюрьмы.

Видно, и Анита засомневалась, потому что сама проводила меня в гостиницу «Летува». Немец портье (я понял это по акценту) с прилизанными волосами угодливо подлетел к Аните.

— Хороший номер. На одного.— Анита командовала почти по-военному.— Но хороший. Счет пришлете мне.

— Анита...— сказал я.

— Не вмешивайся. Рассчитаемся. В котором часу у тебя экзамен?

Вспомнила и об этом, хотя я просто так обмолвился, может, когда ехали в сторону Шанчяй.

— Разбудите в десять, господин портье. Завтрак — в номер, включите в счет. Спокойной ночи, Каролис. Спокойной ночи, господин портье.

— Спокойной ночи, госпожа Реслер.

Это, конечно, сказал не я. Хотел погладить ее руку, но постеснялся портье. Ничего не сказал, только кивнул головой.

«Додж» бесшумно укатил. Портье вручил мне ключ от номера.

— На втором этаже. Там вам покажут. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, господин портье.

Я подумал, что хорошо быть богатым. И тут же ко мне подошел отец, но портье его не видел, да и я не видел, только чувствовал, что он идет рядом со мной, и мы с ним поднимались в роскошный номер, зарезервированный для почетных гостей. И богатых. Но в Литве тех лет оба эти понятия официально считались синонимами.

VII

В горле першило от терпкого запаха смолы; везде дымился асфальт. Когда ступал на улицу, казалось, что туфли вот-вот увязнут в мягком тесте, и только на цементных плитках тротуара чувствовал себя в безопасности.

На факультете я тоже не увяз. Наверно, меня пощадил, потому что неверные ответы преподаватели пропускали мимо ушей или сами наводили меня на верный путь. А путь этот не вонял смолой. Он пахнул формалином или спиртом, в котором плавали консервированные препараты, свежей кровью в операционных, карболкой и хлоркой в коридорах больниц, дешевыми духами сестер милосердия вперемешку со специфическим запахом лекарств, хотя какие это лекарства — не определил бы даже мой зять аптекарь, сколько бы ни принюхивался своим лиловым носом.

Наверно, его обоняние наиболее улавливало деньги, а последние, как принято считать, не пахнут.

Наконец-то Кубилявичюс обогнал меня, как когда-то обгонял в гимназии. Все экзамены он сдал на «отлично», а мне пришлось довольствоваться отметками «хорошо». Правда, Кубилявичюса уже не существовало, родился Кубилюс. Пока я сидел в подвалах охранки, Кубилявичюс успел доказать свою лояльность нации. Отбросил славянское окончание и вернулся в ряды древних литовцев, заслужив моральное право слышать в звоне пивных бокалов на корпорантских пирушках голос охотничьего рога, звеневший в походах литовских всадников сквозь непроходимые чащи. Но брать оружием прекрасную рабыню ему не пришлось. Алдона-Юлия стала его женой. Это свершилось также в период моего общения с братьями Ручонками.

Об этом меня проинформировали на факультете, хотя я никого не расспрашивал ни о Кубилюсе, ни о Палёните, и теперь в телефонной будке я крутил диск, собираясь в шутку пожурить Аниту, что скрыла от меня столь важное событие.

Телефон не ответил, и я решил позвонить позже. Выходя из будки, заметил глазающего на витрины парня. Мне показалось, что вижу его не первый раз — утром, когда вышел из своего номерка в гостинице «Рим», этот парень сидел в вестибюле; потом, случайно обернувшись на улице, заметил его в толпе торопящихся или просто гуляющих людей; казалось, он не обращал на меня внимания, и тогда я вспомнил наставления братьев Ручонок о «хвосте». «Пусть следят, раз им интересно», — равнодушно сказал себе, сворачивая к медицинскому факультету, направляясь из клиники в клинику, а потом проехал несколько кварталов автобусом (вскочил все-таки, по совету братьев Ручонок, когда машина тронулась; за моей спиной закрылась дверь, и никакой «хвост» вместе со мной прыгнуть не мог), и теперь пребывал в уверенности, что за мной не следят.

Мне даже захотелось сразу же, выйдя из телефонной будки, заманить этого парня во двор и наградить

таким пинком, каким я удостоил там, в их заведении, Тадаса Стасюкайтиса. Разумеется, все бы обернулось иначе: что-что, а людей калечить полицейские умели.

Прикинулся, что не заметил своего «хвоста», а это было нетрудно — мой шпик ничем не выделялся из толпы. Неужели они и правда считают меня подпольным деятелем, одним из коммунистов, которых я не знал? Да и те, которые, может, были коммунистами, а может, и не были. Старкус и Ажуолас сидят в тюрьме. А вдруг полицию интересует Анита. Отец ее — темная личность, но я с ним даже словом не перекинулся, только раза два видел издали. Или мой отец что-нибудь натворил, и полиция, следя за мной, пытается найти отца?

Правда, надо сказать, что отца я так и не обнаружил. Ни живого, ни мертвого. Обежал морги, справлялся в больницах и полиции, хотя переступить порог этого учреждения мне было труднее, чем войти в морг. И тогда меня осенило, что отец мог поехать в Шештокай, к родственникам моей мамы. Что же делать человеку летом в Каунасе, когда он без работы, а там, чего доброго, грамотный гражданин может и пользу принести? Ведь и в деервне есть что подсчитать: одним — сколько хозяйство может принести прибыли, другим — сколько убытка. Я ухватился за эту мысль, а может, это она ухватила за меня, и нам стало спокойней — и мысли и мне. Конечно, это было временное и обманчивое спокойствие. Но ведь все, что меня окружало, было временным и обманчивым. Преподаваемые уроки не прошли зря: во мне созрел философ-самоучка, гибрид стойка и эпикурейца.

А одним из моих учителей, сам того не ведая, стал Тадас Стасюкайтис.

Шел я, будто прогуливаясь, по Лайсвес аллее в сторону Старого города. Иногда присаживался на скамейку. Мой «хвост» шагал по тротуару, а иногда вовсе скрывался с глаз. Может, просто совпадение — этот человек и я? Ведь эти ребята Спиридоноваса-Лашаса не могут быть такими дураками. Они прекрасно знают, кто для них опасен. Увы, не такие, как я.

Перешел к магазину радиоаппаратов Вайнаускаса, на ту сторону улицы, где во дворе был крохотный костел Сестер Милосердия. В витрине красовались немецкие приемники высокого класса «Блаупункт»; цена тоже была высокого класса. В блестящем стекле отражалась улица. Заметил его: он сидел на скамейке на бульваре. По мне, он мог бегать за мной сколько угодно, но вдруг нашла охота испортить ему настроение, а может, и карьеру. Пусть он тоже получит пощечину от какого-нибудь Стасюкайтиса.

Здесь, где я стоял, Лайсвес аллея заканчивалась. Мой шпик (теперь я был уже убежден в этом) сидел на последней скамейке бульвара. В небольшую площадь сверху вливался широкий проспект Саванорю, дальше аллея раздваивалась на улицы Лукшиса и Президентскую. Надо было улучшить момент и прыгнуть в автобус, благо остановка была рядом. Или через какой-нибудь двор попасть на соседнюю улицу; проходных дворов здесь было немало.

Выбрал второй вариант. Мне хотелось не столько оторваться от преследователя, сколько его разоблачить. Может, даже так, чтоб он сам это понял. Но это ведь пошло. Куда интереснее мистифицировать его, одурачить, позволить заподозрить заговор, угрозу строю и режиму таутининков. Конечно, в азарт входить не стоит: камеры под современным дворцом охраны уже не манили меня новизной.

Я внимательно наблюдал за своим «хвостом» в витрине и, кажется, уловил мгновение, когда он засмотрелся на красавицу, горделиво плывшую по бульвару; мне даже показалось, что это — одна из знаменитых наших балерин. В тот же миг по тротуару мимо меня хлынул поток людей, может, из остановившегося автобуса. Я сделал несколько шагов в сторону Президентской улицы и юркнул в подворотню. Впереди белел костел Сестер Милосердия, а за ним, я знал, узкий проход выведет на тесную улочку, которая называлась то ли Гайсрининку, то ли еще как-то, суть не в этом; это была одна из множества узких улочек Каунаса,

предназначенных для интимных свиданий или заурядного бегства.

Я, конечно, не бежал, а шел довольно быстрым шагом, почти прижавшись к стене дома и не оборачиваясь, потому что еще не настало время обернуться.

И вот, миновав широкий двор и оставив справа от себя костел, очутившись в узкой улочке, больше напоминавшей длинную кишку, я лицом к лицу столкнулся со Старкусом.

— Этого мне не хватало,— сказал я.— Сбежал?

— Выпущен.

— За мной тоже следят. Не знаю, ушел от «хвоста» или нет.

— Возвращайся. Пускай следят. Меня тоже опекают, но у меня другие обстоятельства. Кстати, спасибо. Знаешь за что. Ступай.

Он повернулся, перешел улочку быстрой и беззаботной походкой и скрылся во дворе. Я побрел назад и тут же столкнулся со своим «хвостом». Наступил ему на ногу, довольно-таки больно, каблуком на пальцы.

— Извините,— сказал я.— Здесь так тесно.

— Ничего,— улыбнулся «хвост».— Бывает.

— Не знаете ли часом, где тут общежитие отцов мариан?— поинтересовался я, прекрасно зная, где это общежитие: там жили некоторые наши студенты, в том числе и один сокурсник, с которым когда-то вместе готовились к экзамену по патологической анатомии в комнатухе этого общежития. Койка, стол, два стула, умывальник. Чисто. А вход в общежитие — напротив главной двери костела Сестер Милосердия.

— Общежитие мариан? Не знаю,— немного растерялся «хвост». Он уже понял, что больше следить за мной не сможет, что он «погорел». Но то, что я ищу это общежитие, его заинтересовало. Пожалуй, он не был уверен, что я его заметил и пытался удрать,— вдруг я на самом деле искал отцов мариан? И он пытался решить эту загадку, глядя своими карими невинными глазами прямо мне в лицо.

И тут меня вновь осенило вдохновение. Душа какого великого актера вселилась в меня сейчас? Я был не настолько скромн, чтобы думать о себе, как об оболочке актера скверного. Сара Бернар тоже не годилась: она была женщиной. Да разве для духа актуальна разница пола?

— А я с вами где-то встречался,— сказал я, глядя прямо в карие глаза, которые попытались выдержать мой взгляд, но тут же забегали.

— Каунас — небольшой город.

— Не знакомы ли вы с Тадасом Стасюкайтисом?

Карие глаза снова посмотрели на меня. Теперь они стойко выдержали мой взгляд.

— Вы что-то путаете. Простите. Я тороплюсь.

Шпик должен был играть свою роль до конца. Вернуться на Лайсвес аллею — значило признать свое поражение. «Только бы он не напоролся на Старкуса», — испугался я. Нет, Пятрас не такой дурак. Если уж нырнул во двор, то не для того, чтобы попасться.

— Может, и путаю,— сказал я карим глазам.— А если нет — привет любезному Тадасу. Друг детства. Передайте — жив буду — не забуду.

Я мог болтать что угодно — был уверен, что шпик в жизни не признается, что имел со мной такой разговор. Скажет, что ушел от него — и все. Оправдается, что потерял меня из виду.

Я вернулся на Лайсвес аллею. Интересно, кто будет вести за мной слежку в дальнейшем? Освободили Старкуса, теперь следят, с кем он будет встречаться. Думают, что со мной. Ну и пускай думают, что им взбредет в голову. Хорошо, что успел предупредить Пятраса.

Позвонил Аните. Застал дома.

— Наконец-то явилась! — сказал я.

— Никуда не уходила. Слышала звонок, но была в ванной.

— Кинозвезды разговаривают по телефону прямо из ванной. Сам видел в кино.

— Только это хотел сказать мне, дружище?

— Только это. Значит, аудиенция закончена?

— Не дури. Приходи лучше ко мне! Приготовлю колумбийский кофе.

— Почему колумбийский?

— Самый дорогой. Растет в горах. В Колумбии.

— Мне можно и подешевле.

— Отца не нашел?

— Нет. Он, наверно, в деревне.

— Придешь? Встречу на улице.

— Раз уж так, то не завезешь ли меня к себе во двор?

Анита быстро соображала. Молниеносный рефлекс — свойство хорошей танцовщицы.

— Где же тебя найти?

— Подожди. Подумаю. — «Наверно, — рассуждал я, — второго шпика за мной не определили». Не думал, что за мной следили сразу вдвоем — слишком уж мелкая я рыбешка. А если не следят, можем встретиться в любом месте. Но осторожность не помеха. Если уж так мною интересуются, зачем подводить девушку? Хотел сказать Аните «у вокзала», но на вокзале шпики и без того хватает. — Угол Шяуляйской улицы и проспекта Витаутаса. Маленькое кафе и кожно-венерологическая амбулатория.

— Подходящее место для встреч.

— Я буду в кафе. Или около.

— Через полчаса. — Она положила трубку.

«Значит, через сорок пять минут. Могу не торопиться.»

На всякий случай прыгнул в автобус в последний миг, а сошел, не доехав до вокзала. На широком проспекте, рядом с красивыми современными домами, уходили в землю деревянные лачуги — гостиницы с сомнительной репутацией. Разгуливать здесь не стоило.

В кафе пахло сдобными булочками. Кофе, конечно, был слишком плохой даже для такого знатока, как я. Тем лучше, будет что сравнить с колумбийским. Странно, с Анитой мы старые друзья, а у нее в квартире я еще не побывал — то она избегала, то я. Может, это была игра мотыльков, когда, отдаляясь, они одновременно манят? Наверно, нет. Нашу с Анитой дружбу

не уродовало кокетство. И не цементировало. Конечно, мы знали, что пол у нас разный, поняли это уже в Йонаве. И все-таки ощущали себя прежде всего людьми.

Так я думал, сидя в кафе, над которым спешили на свои ежедневные уколы венерики. И еще думал, что недалеко отсюда соседи отца присматривают за его мебелью, а отец в Шештокай подсчитывает для моих теток, сколько убытка принесет засуха, которая терзает Литву. И здесь же, тоже почти рядом, дочь сестры, на одно лицо с этим противным аптекарем, своим отцом, начинает познавать мир, еще не видев своего дяди, иначе говоря — меня. Вытащил «Паркер», подарок аптекаря. Красивая вещичка, чертовски удобная, но надо вернуть старикану. Никаких подарков от таких, как он. И почему эта мысль не пришла в мою голову раньше? То ли потому, что на занятиях авто-ручка была нужнее, чем сейчас? Интересно, беспокоится ли Циле об отце?

Сколько длятся человеческие мысли? На самом ли деле они вроде вспышки молнии? Наверно, нет. Я уже слышу знакомое жужжание «Доджа», а передумал не так уж много. Рассчитался с официанткой. Породистая литовка, красивая, может, крупновата малость. На улыбку улыбкой не ответил, пускай не думает, что завяжется флирт.

Вышел, и лицо обдало зноем. Глянул на уличный термометр. Двадцать девять в тени. С Шяуляйской улицы несет пыль, хотя не слышно ни малейшего дуновения ветра. С проспекта Витаутаса от асфальта поднимаются удушливые испарения. И запах сдобных булочек остается за большими стеклами кафе вместе с типичной литовкой. Как славно было, когда летом отдыхал с родителями в Качергине! Пытаюсь представить себе запах берегов Немана, но в нос лезет вонь асфальта и бензина.

— Здравствуй, Анита.— Я сажусь в «Додж», но не рядом с Анитой, а на заднее сиденье. Втискиваюсь в угол, чтоб меньше был замечен.— За мной сегодня следили.

— Самовнушение?

— Нет.

Рассказываю всю историю со шпиком, не упоминая Старкуса. О нем никто не должен знать. Даже Анита. Мне кажется, она улавливает эти недомолвки, но ведь привыкла. С Йонавы.

— Забастовали рабочие Палемонского кирпичного завода,— говорит Анита.— По поводу жалованья, конечно. И в Палемонском торфяном карьере бастуют. Не удивилась бы, если б это оказалось твоей работой.

— У охраны такая же фантазия, как у тебя. «Эмиссар красных» Каролис Тулейкис. Хорошо еще, что не бастовали на кофейных плантациях Колумбии.

— Может и бастовали, чертовски дорогой этот кофе. А на кофе у тебя хорошая память.

— Особенно после отвратительного пошла в этом кафе.

— Сам виноват. Решил законспирироваться, и меня гоняешь. Трусишь, вроде зайца из сказки. «Небо рушится!»

— Что ты выкупила меня из охраны — тоже фантазия?

— Хватит нам драться на саблях.

— Я тоже так думаю.— Как и всегда, мы ехали не прямо к месту назначения, на этот раз — в будуар Аниты. Снова мчались по долине Мицкевича.— Чахлая трава. Барометр не обещает дождя?

— Нет.

— А ты мне и не сказала, что Алдона-Юлия вышла замуж.

— Это как-то связано с барометром, Каролис?

— Нет.

— Может, с тобой?

— Также нет.— И подчеркнул:— Уже нет.

— Не жалею. Меня, между прочим, на свадьбу не пригласили. Узнала от посторонних. Так же, как и ты.

Машина въехала в тень, слева ее закрывал довольно крутой холм, справа — деревья. Анита остановила «Додж», но двигатель не выключила, и он тихо жужжал.

— Как пчела,— сказал я.— Совсем как пчела.

— Что как пчела?

Я показал на мотор.

Вот когда открылся в моей памяти какой-то клапан и посыпалось множество обрывистых детских воспоминаний. Сосновый бор у Качергине с дощатыми дачами среди деревьев. Маленькая пристань с подгнившими сваями. Запах прибрежных трав, тех трав, что растут уже в воде. Маленькие черные рыбешки резво ныряют в этой траве. Они, может, и не черные, но, когда на поверхности воды играют солнечные блики, в воде все кажется черным. Издали подплывает пароход, может, «Кястутис», и сквозь жужжание пчел можно разобрать, как стучат его машины. Пароход идет в Каунас, везет коров и людей и сделает остановку в Качергине, чтоб забрать несколько пассажиров. Поле усеяно цветами до самого берега, пчелкам есть чем полакомиться, шмелям тоже. Это жужжание не умолкает до самого вечера, пока солнце не сядет за деревьями, домами и крутым обрывом над рекой, и тогда застрекочут кузнечики, а издалека от деревни Пипляй или от Запишкиса приплывает девичья песня.

— Давно не был в деревне,— сказал я.— Разрешите мне представить себе, что здесь деревня.

Анита выключила двигатель, и мы вышли из машины. Поднимались по крутому обрыву, и высохшая трава шуршала у нас под ногами. Было скользко, и мы поддерживали друг друга.

— Раз уж так хочешь, можем съездить в настоящую деревню,— сказала Анита.— Несколько шагов — и в деревне. И множество мух и блох.

— Ты была когда-нибудь в Качергине?— спросил я.

— Лучше бы спросил, где я не была.

— В Качергине блох нету,— уверенно заявил я.— Мухи, может, и есть, но блох — нету.

— Это что у тебя, воспоминания детства?

Анита в самом деле умела отгадывать мысли.

Мы нашли ложбину под вековым толстенным дубом, блики солнца ложились мимо, не задевая нас. И здесь кругом стрекотали кузнечики, но над нами

лишь изредка пролетали шмели. Что они могли найти в этих высохших цветочках?

Мне захотелось спать. Неужели не выспался раз и навсегда в камере? Положил голову на колени Аниты. Она смотрела на меня и улыбалась. Потом начала водить пальцем по моим ресницам, ерошить волосы. Хотел упрекнуть ее, что не дает мне заснуть хоть на минутку, когда я оказался так близко от Качергине, и, заснув, перенесся бы в нее — в этом я не сомневался. Но взгляд Аниты тоже был устремлен вдаль, она улыбалась, и я понял, что она тоже унеслась в свое детство.

И может впервые я понял, как близка мне стала Анита.

Я сел — довольно резко. Анита даже вздрогнула. Обнял — она не сопротивлялась. Ни единого человека не было окрест, нас охранял вековой могучий дуб. Губы Аниты я нашел с закрытыми глазами.

— Здесь? .. — спросила Анита.

Я ничего не ответил, но знал, что здесь. В будуаре мы выпьем колумбийского кофе, а любить друг друга будем под сенью дуба.

— Анита, — прошептал я. — Слушай, Анита...

Она уже не нашла сил ответить, только крепко сжала мои локти.

Я хотел сказать, что люблю ее. Но время вновь приостановилось, а потом и вовсе исчезло; было пространство, а время не существовало. И жужжание шмеля, ищущего нектар в засохшем цветке, не имело ни конца, ни начала.

VIII

Когда я узнал на факультете, что студентов, живущих в общежитии отцов мариан, обыскала охранка, мне стало ясно, что в республике таутининков, именуемой Независимой Литвой, глупость соперничает с подлостью.

И не мне было судить, чего в ней больше.

Ведь нельзя было очевиднее раскрыться, как я раскрылся перед шпиком в узком проходе за костелом Сестер Милосердия. Когда я упомянул Стасюкайтиса, у шпики не могло остаться сомнения, что он разоблачен. Неужели он, будь у него хоть крупица здравого ума, поверил бы, что я на самом деле ищу общежитие отцов мариан?

Разумеется, при обыске ничего не нашли, и незадачливая ищейка не могла ожидать повышения. Но мне следовало поостеречься. Если этот болван передал Стасюкайтису мой издевательский привет, тот будет искать случая отблагодарить меня. И о Викте, о которой я тогда совсем зря обмолвился на допросе, Такас наверняка не забыл.

Затаскивая свои чемоданы в подъезд современного дома, где снял две комнаты со всеми удобствами на пятом этаже, я как раз думал, следят ли за мной снова (точнее, не перестали следить). Не очень-то, видно, хороши дела у режима, раз даже такие люди, как я, представляют опасность для государства.

Поставил чемоданы в лифт и мгновенно оказался в своих комнатах. Знал, что на квартиру уйдет половина моего заработка. Но мне надоело скитаться по углам и ждать, пока выгонят, как случилось совсем недавно.

Дом этот возвышался на улице Майрониса, в том месте, где когда-то посетители летнего ресторана аплодировали жонглерам и жрецам черной магии; напротив него жила наша семья сразу по приезде в Каунас. Маленькой гостиницы с вонючими чайными ложками давно уже не было, да и нашей семьи — тоже. И все-таки странное совпадение, что я вернулся на круги своя.

Теперь, вылетев из «частной клиники», я решил снова зарабатывать уроками. К счастью, лентяев всегда хватало, и я набрал целую кучу двоечников, которых надо было подготовить к осенней переэкзаменовке. Клиентуру завел богатую: в этом мне помогла Анита, благодаря которой я также впервые в жизни снял отдельную квартиру. (Владелец этого дома принимал жильцов только с солидными рекомендациями.)

Глядя из окна на крыши далеких домов и верхушки деревьев, на торопящихся прохожих внизу на тротуарах, я думал о том, что бывать в этом доме мне придется редко. Родители учеников почему-то предпочитали, чтобы уроки проходили у них, словно там более подходящая атмосфера для науки... А может, они опасались, как бы я, выторговав немалую плату, не урвал минуты-другой из драгоценного времени. Что ж, это было вполне оправдано, хотя такая подозрительность была унижительной и для меня, и для них. В некоторых домах собирались угощать меня обедом и ужином, но я заранее решил отказаться от этих милостей. Одна семья фабрикантов выразила даже желание забрать меня на все лето в Палангу. Полное содержание, плата за уроки и море на досуге — весьма заманчивое предложение, но я еще не отыскал своего отца, да и не хотел расставаться с Анитой. Анита же считала, что сам Каунас — достаточно сельская местность, а такого комфорта, как в городе, ей нигде не найти. Вдобавок у нее был автомобиль, который за несколько часов мог пересечь Литву вдоль и поперек.

На письмо, отправленное в Шештокай, ответа еще не было. Письмо послал, перебираясь в свои роскошные апартаменты. Пожалуй, точнее будет сказать: «в апартаменты роскошных стен», потому что в квартире стояли только диван, стол и один-единственный стул. Книги я аккуратно сложил под окном. На приобретение мебели средств еще не было, а от предложенного Анитой займа категорически отказался.

Зато у меня был телефон и столик под ним в передней — тоже. Это, конечно, затея Аниты. Но разве мог я выгнать монтера, явившегося с аппаратом, проводами и инструментом, чтоб сверлить или долбить стену, если телефонной станции было за все заплачено? Знал, что деньги верну Аните, как бы она ни возражала. И злился за эту затею недолго, потому что телефон оказался удобным изобретением, хотя единственным человеком, который мне звонил, была Анита.

Я стоял и смотрел в окно на голубеющие крыши. Они, конечно, не были голубые, но небо излучало та-

кую ослепительную голубизну, что она прилипала к каждой черепице, впадине крыши, кирпичу трубы,— все отливало небом.

Зазвонил телефон, и я знал, что это Анита. Конечно, могли звонить и родители учеников,— вчера успел дать свой номер телефона. Анита была изумительным организатором—я перенес чемоданы с улицы Кястутиса лишь в тот день, когда в квартире, пускай на скорую руку обставленной, мог чувствовать себя хозяином. А я, думая, что не сумею словами выразить свою благодарность за дружескую помощь, не сказал ей даже «спасибо».

Об этом и вспомнил, когда зазвонил телефон.

— Ты занят?— спросила Анита.

— Привет,— сказал я.— Ты даже не поздоровалась. И твой голос совсем не весел.

— Телефон искажает голос,— пояснила она.— Но мне и правда невесело.

Что она угнетена чем-то, было нетрудно понять. Мы успели узнать друг друга.

— У меня часок свободного времени, может, заглянуть?

— Загляни.

— Буду через двенадцать минут.

Минута моих часов составляла шестьдесят секунд. В минуте Аниты секунд было в два раза больше.

Я больше уже не искал за собой «хвоста»; этак заболеешь манией преследования. Вдобавок, казалось, что охранка оставила меня в покое. Хватало им работы и без меня. Только полные кретины могли считать случайного участника политическим деятелем. А крестинами они не были.

И нюх имели неплохой, как подобает охотничьим ищейкам.

Дом Реслеров напоминал изысканную крепость. Парадная дверь — на замке. Железная ограда, затейливо переплетенная и высокая, охраняла двор от незваных гостей, а растущая за оградой аккуратно постриженная живая изгородь — от посторонних взоров. Окна из гнутого стекла опоясывали все углы дома. Мне казалось,

что стекло было небьющимся, как и в окнах соседних домов, оно чернело, а, может, отсвечивало темно-коричневым; если посмотреть искоса, стекло начинало отливать лиловым цветом.

В этот дом я шел второй раз. В тот день мы въехали в ворота, которые отворились тихо, без скрипа, и так же тихо, без стука, закрылись. Помню, ко мне тут же подбежал огромный пес невиданной породы, и я испугался, хоть виду не подал. Пес даже не гавкнул, казалось, что он немой. Обнюхав, вильнул раза два хвостом и стал рабски ластиться к ногам Аниты. Незваного гостя, перелезшего через забор, он, наверно, бы встретил иначе — может, тоже не гавкнув.

Я нажал кнопку звонка. Парадная дверь была дубовая, с небольшим овальным стеклом на уровне лица. Ждал, что за ним покажется горничная, которая исследует меня, перед тем как отпереть французский замок. Но в двери раздалось жужжание, и я знал, что теперь ее надо только толкнуть. Такая же дверь была в моей гимназии — для тех, кто опаздывал на уроки. Для тех же, кто приходил вовремя, она была гостеприимно распахнута.

Апартаменты Аниты были на втором этаже.

Ни стучать, ни звонить не потребовалось.

— Входи! — крикнула Анита.

В прихожей, в которой не было ничего лишнего, было все необходимое. Я вытер ноги, точнее, крутящиеся щетки почистили туфли, едва я прикоснулся подошвой к рамочке. Меня бы не удивило, если бы из стены выскочили услужливые металлические руки, подхватили мой плащ и повесили его в шкаф. Но металлических рук в стене не оказалось, только шкаф, которым я тоже не воспользовался, потому что у меня не было плаща. А легкий плащ пригодился бы, ведь Каунас утопал в пыли. Не помогала поливка улиц, когда тучи скупались на дождь. Да и туч давно уже не было.

— Привет, Анита, — я увидел ее во второй комнате, она шла навстречу мне. Мне показалось, что ее глаза слегка запухли, но ничего не сказал. — Я снова в твоём

дворце, принцесса. Ты ни разу не заблудилась в этих лабиринтах?

— В этих — нет. Здесь же всего пять комнат. Через несколько лет у тебя, как у практикующего врача, тоже будет пять комнат. А сейчас я с удовольствием бы поменялась с тобой квартирами. У тебя очень уютно.

— Очень.

— Это ирония?

— Вовсе нет, Анита. Может, следовало бы сказать: скоро будет очень уютно. Сейчас там очень пусто.

— А моя квартира перегружена. Как в магазине стекла.

— Или в музее. У тебя же здесь не стекло, а фарфор.

— Это одно и то же. Надоедает глядеть на грации, спорящие из-за яблока. Тебе, наверно, эта мебель из красного дерева кажется красивой, она и правда красива, особенно эти инкрустации, но когда видишь ее каждый день...

— Не так уж часто ты бываешь дома, Анита.

— А все-таки часто. Хочешь такой гарнитур? Могу подарить тебе. Это не подарок подарка, сама его покупала. Потрогай, инкрустации из слоновой кости. Хочешь?

— Очень. Но не возьму.

— Все же ты порядочный болван.

— И ты меня пригласила, чтоб сказать это?

— Господи! Я в собственном доме оскорбляю гостя. А ведь и в мыслях не было его обидеть.

— И гость не обиделся.

— Значит, он достаточно умен. Кофе будем пить в гостиной.

Мы перешли в следующую комнату. Здесь уже не было красного дерева. Не было и мебели под орех; была настоящая ореховая мебель.

— Опять колумбийский кофе?— спросил я.

— Африканский. Из Уганды.

— Что случилось, Анита? Мы разговариваем как на сцене. Как в скверном спектакле. Мы можем играть друг перед другом, но сами для себя не сыграем.

— Значит, я плохая актриса.

— Плохая. Ты хорошая танцовщица, но для драмы или комедии не годишься.

В воздухе запахло кофе. Электрическая кофемолка жужжала агрессивно, раня слух.

— Раз уж говоришь, что я хорошая танцовщица, дорогой, то или лицемеришь,— не обижайся, это можно сформулировать и «сыплешь комплиментами» — или ничего не смыслишь в танце. Я не художник, а провинциальная дилетантка. Неужели ты думаешь, что, поимпровизировав раза два в год на благотворительном балу или в «избранном обществе», человек может совершенствоваться? Философ может расти и в бочке, а танцору необходимо движение. И не у себя в комнате. Я не стану показывать тебе зеркальный зал, и такой у меня есть, но когда я вспоминаю свои упражнения в этой комнате, я не знаю, плакать мне или смеяться над собственной глупостью.

Кофемолка замолкла, но аромат кофе еще не рассеялся; наверно, кофе из Уганды окажется не хуже колумбийского. Благодаря Аните я, хотя бы в некоторых областях, приобрел аристократический вкус. В компании богатых мещан мог бы корчить сноба, но, когда отпала семья Палёнисов, у меня остался только Чарли; а там не перед кем было играть — он сам играл.

— Настроение у тебя не слишком-то, Анита.

— Знаешь, что я заметила? Мы ищем друг друга, когда с нами случается беда. Когда тебе было хорошо, ты меня не искал. А только случится несчастье — сразу к Аните. Я имею в виду моральные невзгоды, не пойми меня превратно.

— Не пойму превратно. Только вот не могу припомнить, чтоб мне когда-нибудь было хорошо.

— Чепуха. Будет. Ты своего добьешься.

— Наверно. Но я из тех людей, которым всегда чего-нибудь не хватает. Если у меня будет все — начну сокрушаться, что ничего не имел в молодости. Вот ты, например, никогда за меня не выйдешь, потому что я сын среднего служащего.

— Собираешься ко мне посвататься?

— Пока еще нет.

— Тогда и не заговаривай об этом. Кофе тебе черный или со сливками? Лимон не советую — портит вкус.

— Со сливками.

— Недурно. Но я — черный. Предупреждаю, кофе крепкий.

Она налила кофе в две крохотных чашечки. Спокойные, едва волнистые линии выделялись на белом фоне фарфора.

— Если так, я тоже без сливок. — Поднес чашку к губам. Обожгло язык. Не жар, само кофе. — Как спирт.

— Предупреждала. А знаешь, почему ты ко мне не сватаешься?

Вопрос был заковыристый. Подумалось: «Действительно, почему я к ней не сватаюсь?» Не было у меня девушки ближе, чем Анита. И мне уже двадцать четыре. Не так уж много лет, но на моем курсе многие женаты.

Не ответил.

Анита продолжала:

— Потому, что я богата. Парадокс, верно? Богата, а не могу выйти замуж за кого хочу. Говорю безлично, не думай, что именно о тебе. На этой улице бы не поместилось — столько желающих на мне жениться. Жениться на моих деньгах. А для порядочного человека это препятствие.

— Если можно, еще кофе.

— А отказываться от того, что у меня есть — идиотизм. Жить в двух комнатухах, в школе обучать девочек пластике, бальным танцам, реверансам, а по вечерам штопать мужу носки.

— Могла бы открыть студию свободного танца.

— В Каунасе? Как Вайчкус — студию киноактеров? Где бы танцевали мои девушки, если мне, их будущему профессору, негде? А ведь только для Каунаса я и гожусь. Ни в Париже, ни в Москве, ни в Берлине такую и на сцену бы не выпустили. Серая посредственность — вот мое имя. Звучит почти как из Шекспира? И все-таки правда.

Из стеклянного бара на колесиках она достала оригинальную бутылку. За выпуклым стеклом переливалась золотистая жидкость.

— Черт с ним, Каролис, днем не люблю алкоголя, ведь знаешь, но этот голландский ликер совсем неплох. Хотя вообще-то ликеры я тоже ненавижу.

Я не мог определить вкус ликера. Показалось, что он отдает апельсиновыми корками, а то — ананасом.

— Каждый раз открываю новые америки, — сказал я. — Сегодня я Колумб ликеров. Что еще узнаю по твоей милости?

— Узнал бы и без меня. В Литве врачи быстро богатеют. Визит на дом — пятнадцать литов. Если модный врач — и все двадцать пять. А стать модным совсем нетрудно, и в медицине понимать немного надо. Надо только казаться оригинальным. Но боюсь, ты не сумеешь и станешь довольствоваться меньшей таксой. Как там, у большевиков, пациенты ничего не платят?

— Почему ты у меня спрашиваешь? Могу поклясться на этой бутылке ликера, что я не коммунист.

— Интересно, как бы поступили коммунисты с Ани-той Реслер?

— А ты обратись с запросом в советское посольство. Письменно.

— Для меня ты посол. — Несколько рюмок, выпитых одна за другой, хотя и по капле, ударили ей в голову. — Надели бы железные вериги?

— Наоборот. Сняли бы с тебя вериги. И приказали танцевать. Каждый день бы танцевала, понимаешь? Не перед зеркалами в своем зале, а перед людьми.

— А ты правда агитатор. Думаешь, мне бы позволили танцевать?

— Не сомневаюсь.

— Что ж, если так, делай переворот. С этим господином из деревянного дома в Йонаве. Только переворота вам никогда не сделать, после одного господина Сметоны придет другой господин Сметона, не обязательно его сын, этот кронпринц с теннисной ракеткой. Его всегда интересовали придворные дамочки, а может,

они им интересовались, он эдакий хорошо откормленный пупсик.

— Причем тут он,— сказал я.— Мы учились в одной гимназии, только он классом старше. Мальчик как мальчик, может, малость переоценивал себя, да оно и понятно. А над теннисной ракеткой не смейся, он хороший теннисист.

— Причем тут он? Неужели ты такой темный?

— Видать. Знаешь мое происхождение.

— Не говори глупостей. Вообще, все это — пустая болтовня. Никакого Сметоны не будет, и никакой Литвы не будет.

— Огромный метеорит свалится на Литву?

— Этого я не знаю. А вот Гитлер нагрянет.

— И ты, конечно, ждешь. Ты ведь немка?

— Немка или нет, Гитлера я не жду. Просто констатирую факты.

— Ты или твой папаша констатируете факты?

— Оставь отца в покое. Он так же ненавидит этого клоуна, как и я. Но мы примериваемся к фактам.

— Или примиряетесь с ними.

— Все равно.

— Но фактов еще нет, Анита.

— Ах, хватит... А для трудового народа мне танцевать не придется. Еще выпьешь?

— Может, хватит?

— А я себе еще налью. Знаешь, почему пригласила тебя? Не для того, чтоб говорить о Гитлере. Выхожу замуж.

Видно, мое лицо как-то изменилось, потому что Анита разразилась смехом. Но это был не веселый хохот, а попытка захмелевшей девицы изобразить эту веселость.

— Поздравляю,— сказал я подчеркнуто церемониально, даже встал и поцеловал ей руку.— Если не секрет, за кого?

— За фабрику тканей.

— Из любви к владельцу фабрикой.

— К приемному сыну владельца. Нет, дружок. И свадьба только на бумаге. Мой муж красит губы по-

мадой фирмы «Коти», и пудрит щеки пудрой «Коти», и пользуется духами фирмы «Коти», и женщины ему противны.

Я толкнул фарфоровую чашку, она скользнула по столу, упала на ковер и не разбилась.

— Жаль,— сказал я.— Вдруг осколки принесли бы тебе счастье.

— Слушай, Отелло, ничто не изменится. Поманишь пальцем, и я приду к тебе. Ведь ты все равно на мне бы не женился.

— Много ты знаешь. Налей, Анита, мне этого противного ликера. Что это, услуга отцу?

— Больше. Спасательный круг. Мой отец прекрасный коммерсант...

Я перебил:

— Не повторяй избитых истин. Сам это знаю.

— А ты меня не перебивай. И как прекрасный коммерсант, он знает, что бизнес спальных вагонов потерпит крах.

— Когда на Литву свалится метеорит, потерпит крах и бизнес тканей.

— Нет. Когда начнется война, а война начнется — сегодня в Абиссинии, завтра в Испании, послезавтра во всей Европе, — когда начнется война, никто не будет ездить в спальных вагонах.

— И шить новые костюмы.

— Будут шить. Потом, из тканей шьют не только костюмы. Из тканей шьют и парашюты. Надо только немножко изменить технологию. А сколько бы не изменял технологию, спальный вагон не превратишь в бронепоезд. Да и поезда уже устарели.

— Как фамилия счастливого жениха?

— Какая разница? Не еврей, и это самое главное. Мой отец не гитлеровец, но приходится с этим считаться.

— Ладно, я пойду, Анита. Ошарашила ты меня, скажу, этой новостью.

— Я даже довольна твоей реакцией. Не была уверена, любишь ли меня. Вижу — любишь. — Она взяла

мою руку и стала гладить другой рукой.— Останься. Не уходи. Для тебя же нет никакой разницы, Каролис.

— Есть. Кстати, чертовски гнетет долг, этот выкуп из охранки.

— Я же тебя выкупила, а не купила. Не спеши, ты еще будешь богаче меня и вернешь. Может, придется меня выкупить, ну, откуда-нибудь выкупить. Скажем, у моего мужа. Ничего нельзя знать заранее.

— Прощай, Анита.

— Может, «до свидания»?

— Может быть. Пропустил целых два урока. Это для меня убыток. Да еще придется врать родителям. Ничего, эти оболтусы все равно сдадут переэкзаменовки — подготовлю их.

Уже на улице я бросил взгляд на угловое изогнутое окно второго этажа. За плотной занавеской стояла Анита. Я видел только темную тень. То ли мне показалось, то ли на самом деле плечи Аниты вздрагивали. А если это так, то смеялась она или плакала? Я ведь так и не узнал как следует Аниты.

Остановился и помахал ей рукой, но тень отошла от окна. А может, это была горничная? Слуг тоже хватало в этом доме. Только они были еще молчаливее и еще менее заметны, чем тени хозяев.

IX

Прошло несколько дней, и ни я не звонил Аните, ни она мне.

Но отшельником я все-таки не был, и когда мне осточертели обязательные собеседники (ученики), я решил навестить Чарли.

Дверь гаража была открыта настежь, а «Линкольн» стоял во дворе. Какой-то человек в комбинезоне мыл автомобиль.

— Куприсы дома?— спросил я.

— Кто?

Сообразил, что все их уже величают Куперами. Только это я и запомнил из поездки, когда мы со ско-

ростью, непривычной для наших дорог, едва не упорхнули в рай. И еще вспомнил звучавшие по-английски имена: Уолтер, Айрини...

Хотел спросить, дома ли владельцы машины, но человек в комбинезоне, как мне показалось, не был расположен к разговорам. Оставив его в покое, я по наружной лестнице поднялся на второй этаж.

На мой звонок выглянул Джим.

— Здравствуйте, Джим.

— Не болен. Здоров. Please, come in.

Не разобрался, то ли Джим не понял, что я с ним поздоровался, то ли это была шутка. И взмах его руки, приглашающий войти, показался мне насмешливым. Но я тут же упрекнул себя в вечной подозрительности. Уроки в подвалах охраны не прошли бесследно. Призраки мерещились мне даже в храмах, хотя, откровенно говоря, квартира Чарли не напоминала храма. Во всяком случае, коридор явно отдавал пивной.

Джим надсадно пыхтел. В такую жару ему и правда приходится нелегко. Но ведь и в Америке не иначе. Не на Аляске он живет. А спастись от жары он, судя по запаху водочного перегара, мог и здесь.

— Sultry weather,— сказал я, когда мы шли по коридору. Не знаю, удалось ли этими словами сказать то, что хотел, и если удалось — понял ли меня Джим. Но поток прорвавшихся ругательств (что это ругань, скорее почувствовал, чем понял) свидетельствовал о том, что мы друг друга поняли.

В довольно большой комнате, забитой открытыми чемоданами, на полу и мебели валялись галстуки, башмаки, одеколон в затейливых флаконах, рубашки, машинки для бритья, колоды карт, коробочки с презервативами, проспекты пароходных компаний, подтяжки,— в этой комнате за столом сидели Чарли с Уолтером перед двумя бутылками из-под виски. Третья была только что откупорена.

— Вовремя тебя черт принес,— радушно сказал Чарли.— Поможешь нам лакать. Я-то, как ты знаешь, абол... абол...

— Трезвенник,— перевел я.

— Не то,— заупрямился Чарли.— Я абол... абол... Да, я — аболиционист!

— И трезвенник.

— Аболиционист и трезвенник. Никаких стерв и никакого алкоголя. А сигареты только «Кэмел», и то изредка. Джим, этот изгнанный из ада кровавый сукин сын, вылакал половину этого, а другую половину мы с Уолтером на половину. Понял?

— Очень ясно сказано,— подтвердил я.— Только полный баран этого бы не понял.

— Чарли, он над нами смеется,— сказал Уолтер.

— Вижу, что не вовремя пришел,— заявил я.— Лицо Уолтера не выражает ко мне симпатии. Да и дела у меня не было, просто слонялся по улицам и зашел.

Я говорил чистую правду, и это было написано на моем лице.

— Тогда садись,— сказал Уолтер.

Запах алкоголя и сигаретный дым смешивался с идущими со двора парами асфальта, вонью бензина и смазки. В открытые окна изредка залетали мухи и тут же спасались бегством.

А людям этот запах был нипочем.

Из ванной явился Джим, вытирая мускулистое покрасневшее тело мохнатым полотенцем. Но сала у этого силача тоже было достаточно. В мозг назойливой мухой залетела мысль: а что, если свести Джима с одним из братьев Ручонок? Кто кого? Мысль тут же улетела. Такая атмосфера была вредна не только для мух. А может, она и содействовала рождению таких глупых мыслей?

Передо мной появился стаканчик, не очень-то чистый, но из хорошего хрусталя. Ничего дешевого не было в этих комнатах.

— Дууй!— сказал Чарли, налив золотистой жидкости.— Думаю, не будешь портить эту вещь водой. Не станешь разбавлять. Да и сифон уже пуст.

Я отхлебнул глоточек, даже понравилось. Не потому, что было вкусно. Просто вспомнилась деревня под Шештокай, где мы навестили соседей тети, и те нас угощали самогоном. Я был еще ребенком, но угощение

не миновало и меня.

И вот сейчас мне почудилась эта деревня.

Глотнул еще.

— Надо было и свою красотку прихватить,— бросил Уолтер.

— В Каунасе много красоток,— заметил я. Аниту я с ними не знакомил, Агне — давно канула в Лету, да и Уолтер ее не видел, ведь мы с Чарли тогда игнорировали этого мальчугана.

— Немочку свою,— вставил Чарли.— Когда ты с ней — нас даже не замечаешь.

— И правда не замечаю.

Признаться, я давно не встречал Куприсов.

Джим вышел на середину комнаты, поклонился во-ображаемой публике и, откашлявшись, начал:

— А теперь, уважаемые дамы и господа, я поведаю вам песню без музыки, сотворенную нашими сермяжными братьями. «Немчик-бемчик коротышка...» Дальше не помню.

Он снова поклонился во все стороны.

— Очень смешно,— сказал я.— Этот немчик поглядывает и на Каунас вместе с домом и автомобилем Чарли.

— Это наше общее,— поправил Уолтер.— Кроме Джима, конечно.

— Джим — их ангел-хранитель, негритянская мэм,— сказал Джим с иронией, в которой мне послышалась еще и обида, а может, даже угроза.

— Распустили языки, трепачи,— зло резанул Чарли, и оба американца умолкли.— Когда явится немчик, ни Чарли, ни его автомобиля, ни Уолтера с этим артистом здесь уже не будет.

— Вас охраняет президент Сметона и союз шаулистов¹,— успокоил я.— Разве не видели парад на площади каунасского замка? Сам генерал Раштикис принимал. Равняйся! Направо! Ша-агом марш!

— А если налево?— спросил Джим и подмигнул мне. Я подумал, что не такой уж он дурак.

¹ Военизированная организация правящей партии.

— В этой стране все поворачивают только направо,— пояснил я.— Налево шагает лишь антигосударственный элемент.

— А чтобы остановить таких типов, нужен Гитлер,— сказал Уолтер.

— Конечно,— согласился я.— Ему нужны такие типы. И еще американцы с их имуществом.

— Ты тоже записался в компанию этих трепачей, или наконец выпьешь виски? Ведь этой парочке нужны только болтовня да девки.

— Иногда и виски,— уточнил Джим.

— Иногда! Ты даже потеешь водкой. В твоём теле нет ни капли воды. Не задень его сигаретой, Тулейкис. Взорвется! И мы вместе с ним!

— Я не курю.

Мне уже надоело это общество, и я думал, как бы поскорей улизнуть.

Вдруг открылась дверь, и в комнату вбежала Айрини.

— У вас как в аду!— воскликнула она.— Чарли, мама спрашивает, не свозишь ли дядю в Палангу? На дедок, он покупает там виллу.

— А где его «Крайслер»?

— На ремонте. Почему спрашиваешь, если сам знаешь, Чарли. А поезд он не любит — клопов боится.

— В поездах нет клопов, Айрини.

— Каролис! В этом дыму тебя и не увидела. Зачем ты с ними связываешься. Лучше к нам бы зашел. Мама интересуется, каким ты вырос.

— Я только сейчас узнал, что твоя мама уже приехала, Айрини. А папа?

Видно, я задал бестактный вопрос, потому что ответом была грозная тишина, в которой жужжание залетевшей мухи напоминало гул пропеллера.

— Называй меня Иреной,— сказала Айрини.— Кажется, я уже говорила тебе. А папа умер. Придешь?

— Нечего ему у вас делать,— сказал Чарли каким-то противным голосом. Вспомнил я этот голос по гимназии, когда Чарли, тогда еще Казис, выдал меня, когда я мяукал в классе. Тогда, правда, его голос был

писклявый, как у котенка. И спас меня Стасюкайтис, порядочный мальчик. Черт знает, как все перепуталось.

— Не приду, Ирена. Видишь, Чарли не разрешает.

Айрини ничего не ответила, зато подбежала к Чарли и ударила его ребром ладони ниже затылка.

— Пошевеливайся, если мама просит. Как запахнет деньгами, липнешь к дяде будто муха, а когда помочь надо, ты с этим...— Видно, она тоже в последний момент сдержалась от крепкого словца.— Тебя, Каролис, это не касается — ты другой.

Не очень-то понял, почему я другой. Может, потому, что не было у меня ни дома, ни «Линкольна»? Матери тоже не было. Но что мне пора убираться — это я понял.

Дома нашел письмо из Шештокай. Наконец-то! Вскрыл дрожащими пальцами. А что, если отца в Шештокай нет? Если его вообще нет? Такие мысли не раз приходили ко мне, и я защищался от них, пытаясь скрыть голову под крыло, как куропатка от коршуна.

Подержал в руке сложенный вчетверо листок из ученической тетради, исписанный большими буквами обыкновенным карандашом. А конверт был маленький, дамский, в таких гимназистки посылают любовные записки.

Есть! Мой отец — в Шештокай. Есть отец, но отчасти его как бы нет: это не совсем он. Моя тетя была крестьянка, ее светлый ум разбирался в жизни. Но одно дело разбираться, а другое — изложить на бумаге!

Набрал номер телефона.

К телефону — на другом конце провода — подошла Анита.

— Ты настоящая домоседка, — сказал я. — Здравствуй, Айседора Реслер.

— Может, мне больше подошло бы Анита Дункан. А вообще-то — не смейся над величием Айседоры Дункан и моим ничтожеством. Да и ее, Айседоры, фамилию по-английски следует произносить иначе.

— А я вовсе и не произношу. Я сказал «Реслер».

— Наконец-то позвонил.

— Договорились, что сообщу, когда найдется отец.

— Зря тогда паниковал.

— Может быть.

Какое-то время мы молчали. Просто в голове у меня вдруг возникла пустота, полный вакуум, не только слов, но даже обломка мысли не осталось в ней.

В действительность меня вернул голос Аниты:

— Значит, тебе опять нужен шофер. Если можно, не сегодня.

— Разумеется. Идешь в театр? Наверно, в летний. А может, сама где-нибудь пляшешь?

— Нет. Просто занята завтра с самого утра.

— Репетируешь?

— Не совсем. Но вроде этого. Выхожу замуж.

— Правда. Ты ведь говорила. Вагоны женятся на текстили.

— Наоборот.

— Почему наоборот? Ни так, ни наоборот, кажется. Ты же сама говорила, что жених...

Она резко оборвала:

— Мы говорим по телефону.

— Понял.

— Ничего ты не понял. Когда привезти твоего отца?

— Привезти? Не знаю, привезти ли — я еще должен посоветоваться.

— Со мной?

— Да. И с психиатром.

— Сошел с ума?

— Ладно. Мы говорим по телефону, Анита.

— Вот теперь вижу, что понял.

Мы закончили разговор, и я, вызвав лифт, спустился вниз. Между третьим и вторым этажом застрял, и меня тут же охватил страх. Потом, когда лифт двинулся, понял, откуда эта клевстрофобия. Я приобрел ее в подвалах охраны.

По Лайсвес аллее в обе стороны текла людская река. Кто никуда не торопился, шел по середине бульвара. А у меня перед глазами маячили еще два оболтуса, два скучных часа в разных частях города.

Я свернул на середину бульвара и пошел вперед.

А в Шештокай оказался только через неделю.

Не сразу отыскал избушку у леса. Да и лес оказался просто лесочком. Когда же я был здесь в последний раз? Давно, очень давно.

Сейчас, в июле, дни уже становились короче, но закат еще не наступил; приехали мы под вечер. Избушка осела еще ниже, казалось, она вот-вот уйдет под землю вместе с жильцами.

А жильцы тоже изменились. Но меня и Аниту встретили гостеприимно.

— Даже машину завел,— без удивления сказала тетя Антанина. Почему-то раньше мы ее называли Антосей, и я так к ней обратился.

— Не завел.

— Доктор ведь!

— Половина доктора. Ну, чуть больше. Еще год учебы, потом год практики.

— Приезжай к нам. Не в деревню, нет, какой доктор в деревню поедет! В Шештокай. Доктора в больших городах живут, мало кто в таком городишке. А это женушку привез?

— Не совсем так. Друзья мы.

— Просим, барышня, не побрезгуйте.

На покрытом белой скатертью столе стояла керосиновая лампа с зеленым абажуром. Лампа не горела, но лучи заходящего солнца лизали абажур, и он вспыхивал изумрудом, окрашивал край скатерти в ярко-зеленый цвет. Пришла и другая женщина, совсем уже старенькая, и мне неудобно было спрашивать, кто она, тем более что она называла меня «Каролюкасом». Это не была моя бабушка, та уже давно умерла.

На столе появились деревенская булка, скиландис, желтоватый сыр, усеянный тмином.

— Зачем все это,— сказал я.— Не проголодались. Сколько тут езды от этого Каунаса...

— От Каунаса дорога дальняя, ты не говори, Каролюкас,— сказала старушка.

А я думал об отце. Хотел поскорей увидеть его — и боялся, и искал подходящих слов, которыми бы следовало о нем заговорить.

Когда стол был накрыт, Антосе шепнула:

— Тебя-то он узнает. А вообще людей путает. И с тем светом разговаривает.

— Вот те и на! Значит, до этого дошло. Что за тот свет?

— Сестричка твоя, Цецилия.

— Она жива и здорова, тетя Антосе, почему же она вам на том свете?

— Не нам, а папе твоему. Если его послушать, ей и десяти годков-то нету. Будто с ребенком разговаривает.

— Но ведь она в Каунасе!

— Вот и говорю: с тем светом.

Отец сидел в комнатухе в конце избы, и духота здесь была неимоверная, похуже, чем в квартире Чарли. Воняло немытым телом, а этот запах я больше всего не переносил. Для меня он был страшней запаха трупов в формалине.

— Здравствуйте, отец.

Он ничего не ответил, даже головы не поднял.

— Каролис пришел,— добавила Антосе.

Отец встал и засеменял маленькими шажками по комнате. В горнице пол был дощатый, а здесь — глинобитный. Видно, зимой в этом закуте держали кур, а может, даже овец.

— Каунас лежит в долине,— сказал отец.— Дым отравит Каунас. Пары асфальта, бензин и одеколон проституток. Все это отравит Каунас и невинных младенцев. Единственная возможность для спасения — четыре мощных мельницы, вращение которых очистит воздух Каунаса. Другого выхода нет.

Мне показалось, что в сумасшествии тоже должна быть логика. И я спросил:

— Почему четыре мельницы, отец? Не три и не пять?

— Куда же ты поставишь пятую?

— В центре города.

— Не годится. И где же центр города? Бургомистр не согласится строить в центре. И смысла нету. Есть четыре части света, и должны стоять четыре мельницы.

Северная, Южная, Западная и Восточная. Деньги привез?

Теперь я понял, что он узнал меня.

— Привез. И ваш синий в белую полоску костюм совсем уже не синий, и полосок не видно, и вообще остались одни лохмотья. Мы сошьем новый. Только вам надо немного окрепнуть.

— По утрам выпиваю четыре сырых яйца,— сказал отец.— Антосе очень обо мне заботится. А вот у Циле нету аппетита, мама никак не может ее уговорить.

— Какая мама?

— Твоя. Или ты и от мамы отрекся?

— Не отрекся, отец. Вы отдохнете, а потом мы сошьем вам новый костюм. Где ваше пенсне?

— Разбил. Делал модель мельницы, и крыло сбило очки. Закажи мне пенсне.

— Сперва надо глаза проверить. Какие стекла вам заказать?

— Ты доктор, вот и проверь.

— Я еще не доктор. И не по той части. И всего необходимого у меня нет. В больнице проверят, а потом вы вернетесь домой. Соседи за вашей мебелью присматривают.

— Он хочет упрятать меня в желтый дом, Антосе,— качая головой, сказал отец, а я подумал, что в сумасшествии тоже бывают проблески ума.— Нет, сын, в больницу я не лягу — у Антосе нам очень хорошо. Циле растет как на дрожжах.

На меня смотрел не мой отец, а застывшая маска. Правда, раньше я тоже редко видел на его лице улыбку, но все-таки это было лицо с отдельными мышцами, а сейчас осталась лишь схема лица, обтянутая пергаментом.

Я не знал, что еще сказать.

Обрадовался, когда отец снова нарушил тишину:

— Иди перекуси, ты же с дороги. А деньги оставь Антосе.

— Хорошо,— согласился я.— Много не оставляю. Все равно придется вас одеть, отец. Деньги на костюм пускай останутся у меня.

— Не надо,— отец покачал головой.— Костюма не надо.— Он показал потрепанный рукав.— Вошьем вот тут новые манжеты — и все. В Шештокай есть первоклассный портной, он в самом Вилкавишкисе когда-то имел собственную мастерскую. Ты мне все деньги дай. Конечно, и себе оставь. Мне много не надо.

— Сколько же вам дать, отец?

Он подумал,— видно, считал в уме: его губы шевелились.

— Двести тысяч,— сказал он.— Двести тысяч литов. Но если столько у тебя нету, для начала оставь хотя бы половину суммы. Начну с фундаментов. Хочешь, я тебе все подсчитаю?

— Нет, не стоит. Меня за столом ждут. До свидания, отец.

— Пока, пока. Спасибо, что не забыл отца.

Мы с Анитой поужинали, и я оставил тете Антосе сто литов. Стеснялась брать, но взяла.

— Присматривайте за отцом,— попросил я.— Заберу его в больницу, но надо предварительно договориться. В Калварию не хотелось бы, там жестокое обращение.

— А может, он и здесь поправится?— засомневалась тетя.

— Не поправится, тетя Антосе. Хотя, кто знает...

Я думал, что неплохо бы устроить отца в отделение психических заболеваний военного госпиталя. Придется опять обращаться за помощью к Палёнису. Очень не хотелось, да что поделаешь.

Анита гнала «Додж» со скоростью почти ста километров в час. Глянул на ее профиль, и в какой-то миг мне показалось, что она тоже в маске.

— Что же ты во мне разглядел, Каролис?

— Красивую женщину. Как всегда.

— Ты не думаешь, что твоему отцу лучше?

— Как это — лучше?

— Чем мне, чем тебе. Он уже избавился от своего «я». Это уже другой человек. Его дух умер, осталось

тело, которое принимает пищу и переваривает. А сам-то он мертв.

— Ты думаешь, моя босоногая мыслительница, что мертвому лучше?

— Оставь в покое мои ноги. Они тоже мертвы. Когда их не воодушевляет мысль, они такие же трупы.

— Что с тобой сегодня, Анита?

— Почему сегодня? Ведь говорила тебе, что я — неудачница и дилетантка. Богатство! Оно приносит счастье тому, у кого его нет. И то, что я переспала с сотней парней, вроде тебя, тоже ничего мне не принесло. Не только счастья, но даже сифилиса. Удивительно, правда?

Я не ответил. Слышал, как брызжет гравий из-под колес, и прикидывал, в который телеграфный столб или камень мы врежемся. В каком месте окажемся в канаве? Любопытно, что чувствуешь в момент аварии? А если гибнешь сразу, чувствуешь ли вообще что-нибудь?

Когда мы спускались с Алексотаса, внизу снова вспыхнули огни Каунаса, как в тот вечер, когда я возвращался с Чарли.

— Твой муж не будет в обиде, что ездила со мной?

— Он будет в обиде, что не взяла его с собой. Ты бы ему понравился. Он надушился бы духами «Суар де Пари» и старался бы обольстить тебя.

— Послушай, Анита,— машина мчалась по мосту через Неман,— тебе надо плюнуть на отца и мужа-педераста, на пять комнат, не считая зала с зеркалами, в котором упражняешься, на десятки фарфоровых сервизов и на золотые ложечки и уехать из Каунаса. И не в Рокишкис, потому что тебе надо удирать из провинции. Каунас — прогнивший провинциальный город с атейтинками, которые ненавидят неолитуанов¹, с неолитуанами, которые ненавидят варпининков², с варпининками, которые ненавидят коммунистов, и с коммунистами, которые ненавидят этот прогнивший строй.

¹ Студенческая организация националистического толка.

² Молодежная организация народнического направления.

— Ты бы сделал карьеру, как адвокат,— сказала Анита, терпеливо выслушав мою речь,— но ты всего-навсего медик. Куда же ты посоветуешь бежать? Может, в Москву?

— Да хотя бы в Москву.

— Нет, дружище. Там не нужны богачки.

— Там нужны художники. Поезжай в Париж. Поезжай во дворец Занзибарского султана. Поезжай туда, где только найдутся подмости, на которых можно танцевать. Плюнь на свой фарфор. Ты же художник.

Анита сбавила скорость, наклонилась ко мне и поцеловала в губы.

— О, единственный поклонник моего таланта!..— сказала она.— Ты веришь в то, что говоришь?

— Абсолютно.

— Спасибо. Значит, не зря я трудилась. А это тяжелый труд, дружище. Несколько часов перед зеркалами, день изо дня. И ради того, чтобы раз в году выступить в офицерском клубе... Я останусь жить в памяти одного человека.

— Не говори как с подмостков.

— Сам же гонишь меня на подмости.

— Не в драму. Твой талант — не для нее.

Машина остановилась на улице Майрониса.

— Вот и привезла тебя, парень.

— Спасибо, Анита.

— Квартиру обставил?

— Обставляю.

— Для одной комнаты подошло бы красное дерево. Для другой — орех.

— Сойдет и яшень.

— Удачи!

— Тебе удачи, Анита!

Поднимаясь на лифте, я услышал запах духов. Пахли мое плечо или щека. Лифт не застрял. Из окон моей квартиры виднелись крыши, мигающие огни в мансардах, уличные фонари в просветах между домами. И в эти же окна, хотя я и жил так высоко, проникала духота. Мой отец еще не получил от меня двести тысяч

литов и не построил мельниц, которые разогнали бы спертый воздух каунасской долины.

Завтра схожу к четырем юным лодырям. Завтра вечером стану богаче на двадцать литов.

Х

Крыши Каунаса разорила гроза с ливнем.

Конечно, это не значит, что не осталось ни одной крыши. Все они сверкали, краснели или серели на своих местах. И трубы тоже были на месте. Лишь кое-где оторвало лист жести или зияла дыра в красной черепичной крыше. Да еще, повиснув на проводах, болтались сломанные деревянные антенны.

Только и всего.

А ночью казалось, что наступил конец света. Наверно, такое чувство испытывают люди, когда на них падает огромный метеорит, от которого никуда не убежишь. Огонь, страшный гул, а затем — ничего.

О Хиросиме и Нагасаки люди тогда еще ничего не знали. Нагасаки был всего лишь экзотическим японским городом, и Юргис Петраускас в оперетте «Гейша» даже пел название этого города, хотя певцом он и не был. Но чего не делают люди ради искусства!

Всю ночь я вскакивал с кровати после каждого удара грома; может быть, электрический разряд коснулся и громоотвода над нашей крышей. Все-таки дом, в котором я жил, в 1935 году был каунасским «небоскребом». Выше поднимались только башни костелов и «белый лебедь» — бывшая ратуша.

Проснулся измочаленный, как после подготовки к трудному экзамену или схватки с корпорантами. Но к экзаменам готовился не раз, а дрался — только однажды. И сейчас даже не проснулся, а меня вырвали из сна, потому что к утру буря утихла, и я заснул крепким, здоровым сном.

Назойливо трезвонил телефон.

Я разозлился на Аниту. Конечно, мог звонить и отец кого-нибудь из учеников. Или, как нередко случалось,

кто-то ошибся номером — может, звонили на фабрику шоколада «Кодимо» или на фабрику расчесок «Кашуф», или на магазин спортивных товаров Тринковского и Арриса.

Старался не обращать внимания на звонки.

Сунул голову под одеяло, потом под подушку, наконец, сразу под две. Однако стал задыхаться. В ярости схватил трубку.

Хотел крикнуть: «какого черта!..», но сказал: «алло».

А потом отвечал примерно так:— Ничего, ничего... Я уже не спал... Что? Не может быть! Хорошо. Сию же минуту.

Мне кажется, забыл побриться. Столько лет спустя такая мелочь вроде не должна бы иметь значения, но если остаешься верен себе, то есть, остаешься педантом... О завтраке и не подумал. Да и завтракал я то дома, то в кафе. В одной из кофеев давали «венский» завтрак. Сытный, вкусный и довольно недорогой. Почему он назывался «венским», а не «брюссельским» или «стокгольмским», никогда не задумывался. Тем более в то утро, когда сломя голову, не вызывая лифта, бежал вниз по лестнице.

Позвонили из городской больницы и попросили немедленно прибыть в морг на экспертизу. По требованию полиции. Я знал барышню Реслер, поэтому смогу посодействовать в опознании трупа.

Первым человеком, попавшимся мне навстречу в больнице, была сестричка, с которой я спал, пока она не заговорила о свадьбе. Раньше она работала в Красном кресте, сейчас — здесь. Скорее всего, недавно, если столкнулся с ней впервые.

Она улыбнулась мне искренне, но холодно, как улыбаются покинутые любовницы; иногда к этим двум чувствам присоединяется ненависть.

В этой улыбке ненависти не было.

— Каролис, — сказала она, — у тебя не найдется минуты времени?

— Ни секунды. — О, ирония судьбы! — я забыл имя этой сестрички. Имя, которое в минуты экстаза повто-

рял на разные лады, изобретая уменьшительные формы.— Бегу в морг.

— Почему через больницу? Мог со двора, там ближе.

Логика всегда была ее сильной стороной. Может, поэтому я и тогда испугался свадьбы? Ведь она была хороша во всех отношениях.

— Если можно, потом.— Я понял, что не вправе отказать от встречи с ней.— Где тебя найти?

Она назвала отделение и палату, а я шел по коридору дальше, сворачивая направо и налево. Коридоры были короткие, но запах карболки сопровождал меня еще долго. Даже во дворе больницы.

Только теперь я осознал, что Аниты нет и никогда больше не будет. Ни ее мягкого голоса в телефонной трубке, ни ее тела — на паркете во время танца и в постели — по-детски целомудренного, хоть она спала с сотней мужчин, и приплывшего из Валпургиевой ночи, хотя любила она только меня. И не будет больше «Доджа», ставшего ее частицей; достаточно было только вспомнить, как мягко и уверенно вращала она руль, как изящно переключала скорости; даже зажигание она включала неповторимым движением руки.

«Додж» превратился в костер, в буквальном смысле слова — он сгорел. Больше я ничего не узнал по телефону.

Перед тем как войти в морг, оглядел себя. Весь в грязи. Лужи не могли впитаться в асфальт, испариться еще не успели, и все брызгало на прохожих, машины, стены домов, — серая грязь, которая осыпается, едва высохнув, без вмешательства руки и щетки. Я остановился, пробовал смахнуть ладонью хоть часть этой грязи, и тут же понял, что это — самозащита, попытка затянуть время, поскольку за дверью морга буду уничтожен и я сам; я буду существовать физически, но какая-то доля моего «я» исчезнет вместе с пеплом «Доджа» и трупом Аниты: из морга я выйду другим — богаче опытом и беднее эмоциями.

И я благословлял тучи, ниспославшие ночью ливень, благословлял ливень, смешавший воду с пылью,

и пыль, въевшуюся в мои брюки, которые я отирал рукой до тех пор, пока не открылась дверь морга и нетерпеливый голос не окликнул меня:

— Мы ведь ждем вас, коллега...

На окованном жестью столе прозекторской лежала бесформенная масса, и я поначалу не понял, что это, и не увидел людей, обступивших стол. И что страшнее всего, у этой бесформенной груды были изящные ноги, ничуть не изувеченные, и если б я не знал, где нахожусь, не видел обуглившейся массы (только теперь это до меня дошло), мог бы подумать, что эти ноги — фрагмент произведения прославленного скульптора.

— Это, конечно, формальность, — обратился ко мне мужчина, которого я поначалу не узнал, потому что он был в высоких резиновых сапогах, в резиновом переднике, закрывавшем тело от подбородка до колен; руки тоже были в длинных резиновых перчатках. Маска с лица была немного сдвинута, виднелись глаза и нос, рот был закрыт, и голос неузнаваем, голос призрака или придушенного человека, а может, человека с волчьей пастью, без нёба или даже без носа; нет, нос у человека был, он торчал над маской. Под носом, на верхней губе, блестели бусинки пота.

Этот резиновый робот был судебным экспертом, преподававшим и у нас в университете. О нем говорили, что он разводит тюльпаны или даже пытается скрестить тюльпаны с розами; конечно, это было уже невинные острооты, вроде той, что он боится ходить через кладбище и делает крюк со своей улицы Траку, когда идет в город. Скорей всего, он хотел подольше погулять, вот и вся причина.

— Вы поняли? — загудел из-под маски судебный эксперт.

— Простите, нет. Не расслышал.

— Эмоции предназначены не для медиков, — настаивательно сказал эксперт. — Повторяю: это формальность, но вместе с тем не формальность, поскольку в своей работе мы должны быть уверены на всю тысячу промилле.

— Понял, господин профессор. Эмоции предназначены не для медиков. Слушаю вас.

— Пока я еще только доцент,— скромно поправил судебный эксперт.— Узнаете ли вы в этом... в этой жертве катастрофы Аниту Реслер?

— Господин доцент, узнаете ли вы в этой жертве катастрофы человека?

— Коллега Тулейкис, это я вас спрашиваю, а не вы меня. Конечно, узнаю. Ноги, как ни странно, остались почти невредимы. Перелом левой коленной чашки. И все. А вы не бойтесь подойти ближе. Видите, кое-что еще осталось. Вот, например, правое ухо.

Я извинился и торопливо выбежал в дверь — меня затошнило. Все кончилось на судорогах. Я не успел позавтракать, и мой желудок был пуст.

Вернулся.

— Простите,— извинился я.— Жертву катастрофы я знал лично, и эмоции, не предназначенные для медиков, на этот раз предназначены мне. Сейчас я не чувствую себя медиком.

Кто-то монтерским тоном изрек:

— Медик обязан всегда оставаться медиком. Павлов, умирая, считал свой пульс.

Это была святая истина, только сказана не вовремя. Впоследствии я не раз убеждался, что любую истину можно опоплить, если произнести некстати.

Я даже не посмотрел в ту сторону, откуда донеслось наставление. Не хотелось ответить грубостью.

— Опознаю Аниту Реслер,— сказал я.— Разрешите подписать протокол и уйти.

— Этого мало,— просипел резиновый робот. Его голос, хотя и искажен маской, звучал уже приветливее. И я подумал, что так говорят сифилитики, когда у них отпадает нос. Или больные проказой.— Почему вы уверены, что это она?

Это не было издевкой, хотя так и звучало. Если робот и издевался, то неизвестно, над кем: над Анитой или надо мной.

От того, что было Анитой, осталась обуглившаяся масса. Но то, что было, пожалуй, сутью танцовщи-

цы — уцелело. Ведь душа танцовщицы обитает в ногах, если у души есть какое-либо обиталище.

— Это действительно Анита Реслер,— убежденно сказал я.— Она была танцовщицей, и не удивительно, что люди запомнили ее ноги. Посмотрите — ни одного деформированного пальца. У всех каунасских красавиц изуродованы мизинцы ног. С мозолями, как прессованные финики. Здесь — ни единой мозоли. Таких ног не найдешь во всей Литве. Таких. . .

Не знаю, что я еще хотел сказать, но у меня вдруг отнялся язык. Говорил и не слышал своего голоса. Скорее всего, вообще не говорил. Подошел к толстой книге, расписался не там, где положено, потому что пришлось еще ставить свою подпись. И выбежал из камеры инквизиции. У секционного стола остался облаченный в резину Торквемада и все остальные, которых я так и не увидел.

На дворе, на свежем после ночного ливня воздухе, меня совсев развезло. Потемнело в глазах, и я, шатаясь, подошел к какому-то карнизу и прислонился. Потом вещи вновь приобрели свои цвет и очертание. Я разглядел скамейку и побрел к ней.

К моей скамейке приблизилась какая-то статуя и села рядом.

— Вам не медиком, а адвокатом быть,— сказала статуя.— Вы златоуст. Шатобриан. Я — муж Аниты.

— Знаю,— неприязненно ответил я.— Но не пришлось слышать, чтобы Шатобриан был адвокатом.

— Откуда вы можете знать, что я — муж Аниты?

— Я узнал бы вас, даже если бы вдруг ослеп. Как собака, нюхом. Вы благоухаете «Суар де Пари». С примесью морга.

— У меня был кокер-спаниель. Попал под платформу с пивом «Вольфа-Энгельмана». . . Странно, правда?— Муж Аниты положил руку мне на колено и легонько нажал.

— Уберите руку,— сказал я.— Сейчас же,— повторил, хотя рука уже отпрянула.— Я не намерен заменить вам Аниту. Хотя она вам, кажется, и не была нужна.

— Вам Аниту тоже никто не заменит,— сказал ее муж.— Называйте меня Артурасом. А вас как зовут?

— Ко мне обращайтесь по фамилии. А лучше всего — вообще не обращайтесь. Оставьте меня в покое. Почему вы ко мне пристали?

— Меня прислали,— Артурас махнул рукой в сторону морга.— Заметили, что вам дурно. Там тьма врачей, но почему-то послали меня.

— Наверно, знают, что их помощь мне не нужна. И не знают, что тем более не нужна ваша.

Я встал со скамьи.

— Зря вы на меня обижаетесь,— ласково сказал Артурас. Щеки у него были пунцовые — от волнения или от румян.— Анита говорила, что ореховая мебель и из красного дерева — ваша.

Наверно, выражение моего лица не показалось Артурасу дружественной, потому что он попятился.

— Артурас,— заговорил я, и в своем голосе услышал мирную нотку, что меня удивило не меньше, чем моего собеседника.— Расскажите, как это случилось?

— Срезала перилы моста и слетела вниз. Даже не сломала, а срезала. В реку, но у самого берега. Машина сгорела только до половины.

— Где?

— Не доезжая Йонавы.

— Что ее понесло в Йонаву?

— Этого мы уже не узнаем.

— Вы же ее муж, Артурас, и не знали, куда едет ваша жена?

— Вы тоже не знали.

Это был ответный удар.

— Эксперты уже что-нибудь установили, Артурас? Руль отказал или взорвалась шина?

— Если вы верите в страшный суд,— сказал Артурас,— и если из пепла воскреснут не только разбившиеся люди, но и разбитые машины, может, тогда и удастся установить, отказал ли руль. Только не знаю, будут ли тогда экспертные комиссии.

Мы попрощались без рукопожатия, но довольно корректно. Он засеменил к моргу — мелкими шажками,

может, даже покачивая бедрами. А в коридоре больницы меня встретила сестричка, с которой я какое-то время спал и имя которой все еще не мог вспомнить. По правде говоря, сейчас уже и не старался.

— Чего от тебя хотел этот педераст?— спросила она.— Видела в окно, хотела бежать на помощь.

— Тебя прислала сама судьба, которой нет,— сказал я.— А если б была, прислала бы тебя еще раньше.

— Не было необходимости, опасность тебе не угрожала,— возразила сестра.— Кстати, с женщинами, говорят, он тоже может. Если женщина похожа на мужчину. Зачем ты ходил в морг? Она твоя любовница?

— Она?

— Которая разбилась.

— Оставь ее в покое. Откуда ты знаешь этого педераста? Он еще вздумал говорить про мебель. Красное дерево и орех!

— Наверно, это умнее, чем хныкать. Откуда его знаю? Я ведь тоже медик, пусть и обыкновенная медсестра. Мы всех извращенцев знаем. Такая уж у нас профессия.

— Послушай, как тебя теперь звать? Ты замуж не вышла?

— Скажи лучше, что забыл мое имя. Все-таки ты неплохой жеребец. Или наполовину жеребец, наполовину человек. Видела такую картину.

Мы поднялись по лестнице и дошли до конца коридора.

Сестричка открыла маленькую дверь в палату.

На подушке покоилась женская голова, а под тонким летним одеялом вырисовывалось худое тело, почти скелет.

Лицо женщины было мне знакомо, но я никак не мог вспомнить ее. Широко открытые глаза смотрели перед собой ничего не видящим взглядом.

— Без сознания,— сказал я.— Знакомое лицо. Кто она?

— Покопайся в памяти,— сказала сестричка.— Может, побыстрее вспомнишь, чем мое имя.

— И откуда в тебе столько злости? Сестра милосердия, называется.

И вдруг вспомнил. Здесь лежит Агнел

— Вот видишь. Вспомнил-таки,—сестричка заметила, что я вздрогнул. Так вздрагивают засыпающие люди, когда им чудится, что они падают в бездну. Я же — наоборот, я вернулся из бездны.— Она самая. Теперь ей уже все равно, хоть руку отрежь. Ничего не почувствует.

— Не будь так уверена.

— Уверена. Насмотрелась.

— Злокачественная анемия?

— Что ты! Не так уж легко сейчас умереть от злокачественной анемии. Фармакология не таких ставит на ноги, это не те времена, когда она лежала в Красном кресте.—Сестричка рассмеялась.—Говорю, как старуха. Не те времена! Ведь совсем еще недавно она там лежала.

Я ждал, когда она закончит свой монолог. Ведь те дни связаны и с нашим с ней знакомством... Хотел уже оказаться на улице. Не много ли впечатлений для одного дня?

— Туберкулезный менингит,—после паузы сказала сестричка.

— Этого ей не хватало!

— Когда станешь профессором, найдешь лекарство и от туберкулезного менингита.

— Если так, то мне надо поторопиться, а то боюсь, что найдут другие. Послушай, ты вышла замуж?

— Почему это тебя интересует?

— Это очень важно.

— Хочешь, познакомлю тебя с Лелей,—сказала сестричка.—Немного косит, но сейчас это в моде. Работает в операционной и спит с кем попало. И здоровая, Вассерман отрицательный.

— Не то,—сказал я.—Совсем не то. Ничего от меня она не добьется. Опозорюсь. Ничего мне не надо. Ни женщин, ни Артураса. Я не могу идти в свою квартиру, понимаешь? Вдруг она позвонит по телефону.

Сестричка взяла меня за руку.

— Померю тебе температуру. Рука будто лед. Ты болен, мой мальчик.

Я стучал зубами.

Термометр показал 36,6°.

Несколько дней мы жили в одной комнате. Как брат и сестра. Район был мне почти незнаком — Шанчэй. И в этой укромной улочке никогда раньше я не бывал. Утром моя хозяйка убегала на работу, оставив меня в полудреме; с дивана я перебирался в еще теплую ее постель, — малышами мы с Цилей дрались за место в маминой кровати, когда та рано утром уходила за покупками.

В этой полудреме я пребывал весь день, заставляя себя только встать и выпить кофе из термоса или съесть уже сваренные и завернутые в бумагу, чтоб не остыли, яйца. А ту ночь, когда сестра дежурила в больнице, я так и не сомкнул глаз: едва закрывал их, видел алебастровые ноги Аниты. Изваянные скульптором ноги, в которых таился талант, но уже не было жизни. Зажигал свет. Пытался читать детективные романы Пилипониса — и швырял в сторону. (Уже гораздо позже я убедился, что можно писать еще хуже.)

А четыре дня спустя заснул крепким сном и проснулся совершенно бодрым.

— Поспи, — сказала сестричка.

— Пойду уже. Спасибо тебе. Ты поступила как истинная сестра милосердия. Не будь тебя, я, чего доброго, тоже бросился бы с Йонавского моста.

— Ты-то? Не из таких...

— Или изобрел бы вентиляторы, чтобы очищать воздух в Каунасе. Или вышел бы замуж за Артураса. Свихнуться можно по-разному, милая.

Имени ее я уже не спрашивал. Ждал, пока восстановится это разрушенное вещество мозга, унесшее в забвение имя, которое я повторял в десятках уменьшительных форм.

А поднявшись на лифте в свою квартиру, я почувствовал, что бытие снова становится призрачным. Одна комната желтела орехом, другая светилась благородным блеском красного дерева. В стеклянной горке

отливал зеленоватым лунным светом фарфоровый сервиз. «Хочешь? Вижу, тебе нравятся эти вещички. У тебя, дитя народа, совсем аристократический вкус». Я ведь тогда не принял этого подарка. А он все же возник, как в сеансе черной магии.

Боже мой, ведь дом, в котором я живу, стоял именно на том месте, где профессор черной магии распиливал свою ассистентку. Пополам. Вспомнились ноги ассистентки, живые, не алебастровые, они приплыли из моего детства. И ноги Аниты были живыми. Еще совсем недавно. Пока «Додж» не срезал перила и не рухнул в реку. Профессор черной магии так и не прикончил своей ассистентки, живая и невредимая, она кланялась публике, пожирающей бифштекс по-английски. «Додж» действовал наверняка, но ноги Аниты он уберег. Наверно, они оказались в воде, когда пылала машина,— вот и весь секрет магии.

Я вздрогнул. В дверь бесшумно вошел человек.

— На ключ не закрываетесь? Хорошо, что вас застал. Видите, сколько было забот,— человек широким жестом показал на мебель, словно дарил ее мне.

— Разрешите спросить, как сюда попала эта мебель?— хмуро осведомился я.— Может, она дематериализовалась и прошла сквозь стену?

— Как вы сказали? Дематериализовалась? Первый раз слышу это слово,— сказал доовладелец.— Знаете, господин жилец, в моем доме живут только весьма состоятельные люди, но ни у кого нет такой дорогой мебели, как у вас.

— Дорогой? Она и вам дорога?

— Как это — мне или не мне? Вещь бывает или дорогая, или дешевая, а мне или не мне — не имеет значения. Но вы — шутник, это я давно заметил. Хорошо, что они догадались меня разыскать, и я открыл дверь запасным ключом. Думаю, вы довольны, что я так поступил?

— Необычайно. Кто привез мебель?

— Говорил же: вы большой шутник. Покупаете мебель и спрашиваете, кто привез. А может, вам ее подарил святой Николай? Но ведь сейчас не рождество.

— Совершенно верно. Жаркое лето, которое скоро станет еще жарче.

— Что вы хотите этим сказать, господин Тулейкис?

— Чтобы вы строили убежище от бомб. Ваш дом, наверно, самый высокий в Каунасе, с самолета его заметят раньше других.

— С самолета все дома одинаково высокие. Я хотел сказать — одинаково низкие. Я летел, господин Тулейкис, на самолете в Таллин. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Не стану я строить бомбоубежище.

— Воля ваша.

Хозяин все-таки забеспокоился:

— Вы думаете, будет война?

— Не сомневаюсь. Посмотрите на карту. Китай, Эфиопия, Испания. Будет война? Почему «будет»?

— Абиссиния, или, как вы сказали, Эфиопия, господин Тулейкис, далеко.

— Зато Италия близко. А ведь именно она нападет на Абиссинию.

— Вам об этом сообщил сам Муссолини?

— Пророк Магомет. Явился ночью и сообщил.

— Судя по вашему виду и, как бы тут выразиться, по тому, что вы не эксплуатируете свою квартиру, вам ночью являются, как они там называются, гурии или фурии.

Довольный остротой, он рассмеялся.

— Посидите, — сказал я, — побудьте в гостях в собственном доме. А я позвоню родителям своих кретинов. Хотя они, может, и не горюют, обрадовались, что не надо будет платить мне денег за уроки.

Домовладелец сунул руку в карман и извлек письмо.

— Вы так мне зубы заговорили своими войнами, господин Тулейкис, что я чуть не забыл главное. Из-за этого и пришел. Пришлось расписаться, иначе бы письмо не оставили.

На штемпеле четко виднелось только «1935». Это означало год. И еще слово «Шештокай», а другие даты были оттиснуты такой жирной краской, что, взяв в руку письмо, я запачкал палец.

Не ожидая, пока уйдет хозяин, нетерпеливо вскрыл конверт. Письмо, отправленное четыре дня назад, сообщало о смерти отца. Повесился четыре дня назад, ночью в сенях, когда все спали. Разрешение на похороны получено, но погребен будет без молебна в неосвященной земле. Если будет представлена справка от врача, что он страдал умственной болезнью, землю можно будет освятить или гроб перенести в более достойное место. «С прискорбием извещаем и приглашаем на похороны».

Приглашение!

А похороны состоялись два дня назад.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИРЕНА

I

Последний день 1937 года выдался мягкий, несвойственный суровым литовским зимам.

Плавно покачиваясь, с серого неба опускались пушистые снежинки. Это были не мокрые клочья, которые осыпают человека с головы до ног, пробирая до мозга костей. Такие снежинки художники изображают на рождественских открытках. Не снежинки, а просто орнаменты.

И вот эти орнаменты теперь плавно покачивались в воздухе, будто им нипочем законы Ньютона, взлетали, подхваченные ветерком, и, как знать, может, возвращались в свою серую тучку, породившую их.

Мой рабочий день в больнице кончился. После обеда — частная практика: пациент-другой в моей приемной в «небоскребе» на улице Майрониса, несколько вызовов на дом. Хотя я только начинал работать самостоятельно, клиентура у меня уже была немалая. Говорю это без хвастовства. За визит не брал слишком много, но старался и не продешевить: у дешевых врачей не было состоятельных клиентов. Откровенно говоря, гонорар я брал, сообразуясь с возможностями клиента. А толщину кошелька определял при помощи интуиции, потому что в интуицию довоенного врача входило и это, не одно только умение угадать болезнь. Ведь без лаборатории и рентгена врач мог только угадать болезнь. Или не угадать.

Судя по тому, что число моих пациентов росло, оба компонента моей интуиции (значит, и тот, что устанавливал толщину кошелька) действовали безупречно.

Пожалуй, следует сказать несколько слов о больнице, в которой я работал. Она была не из тех переполненных, сравнительно дешевых больниц, в которых работы уйма, а оплата — средняя.

В моей больнице платили неплохо, а работой не перегружали, потому что больница снова была частная (говорю «снова», так как мне уже приходилось работать в такой лечебнице, только, конечно, на других основаниях). Клиника принадлежала известному хирургу Хаберланду, а моя обязанность была подсчитать в лаборатории эритроциты и лейкоциты, установить осадок эритроцитов в стеклянных капиллярах, да еще слушать легкие, поскольку послеоперационное воспаление легких в то время было грозным и частым заболеванием.

Надо добавить, что известный хирург преподавал и в университете, там меня заметил и, едва я получил право заниматься врачебной практикой, пригласил к себе. Не знаю, чем я заслужил его благосклонность. Может, тем, что усердно посещал его лекции; но читал он поистине занимательно. Он даже уговаривал меня избрать специальность хирурга, но что-то заставило меня отказаться. Может, пуля из монтекристо, вогнанная в живот сутенеру на лестнице Аушрос такас? Ведь пришлось бы по слоям вскрывать брюшину множества людей и думать при этом, через какие мускулы и кишки проникла моя пулька да в каком месте могла она пробить полость живота. Конечно, это только предположения, дилетантские попытки обнаружить психологическую причину этого предубеждения против хирургии.

Профессору я ответил, что подумаю, а тем временем добросовестно старался расслышать мокрые хрипы в легких послеоперационных больных. Слух у меня был неплохой, это мой шеф уже знал. Обычно ассистировал ему сын, тоже хирург, и если профессор

предлагал обучить меня, это тоже показывало, насколько он ко мне благосклонен.

Вот почему я не толкался в душных коридорах, а работал в роскошных палатах, где о капризах больных заботились не меньше, чем о самом здоровье. Частная клиника стояла поодаль от улицы, почти в самом центре мало застроенного квартала, в большом саду. Снаружи здание выглядело скорее скромно, а летом, за листвою деревьев, с улицы его вообще было не разглядеть. Не было видно его и когда на Каунас опускался туман, и даже сейчас, в снегопад, не так-то просто было его увидеть.

Свернув на улицу Мицкевича, я очутился перед серым фасадом медицинского факультета. Шагая в сторону улицы Кястутиса, я с теплотой подумал о своем факультете. Такое чувство я испытывал каждый раз, проходя мимо. Столько времени здесь занимался! Отрывочно, без всякой связи, с калейдоскопической быстротой всплывали в моей памяти картины занятий и пустяковые бытовые сценки, например, в буфете или в раздевалке. Ни с того ни с сего вспомнил Алдону-Юлию, потом ее мужа. И тут же усилием воли изгнал их из своего воображения. Изгнал как Еву и Адама из рая, хотя в моем воображении не было райских кущ, тем более, что слева маячило кирпичное здание каунасской каторжной тюрьмы. И все же — рай или не-рай — мир во мне был моей собственностью, и я мог создавать или разрушать его по своему усмотрению.

А теперь, за пеленой снегопада, замаячил массив дома Куприсов, огромного дома, в котором жила маленькая Айрини. «Маленькая» — тоже плод моего воображения. Не была она такой уж маленькой ни по росту, ни по годам. Сколько же ей теперь лет? Девятнадцать. Нет, все-таки ребенок. Так показалось мне с высоты моих двадцати семи лет.

Глянул на часы — еще два часа до моей практики. Но сегодня скорее всего ее не будет. Канун Нового года — тоже праздник. Для здоровых, конечно. Поэтому на двери прищипил листок: «31 декабря врач принимает лишь в исключительных случаях». И звучит

как боевая труба, и придает мне солидности. В моих собственных глазах, конечно. И без того ясно, что Новый год для врача выходной, поэтому в листке об этом даже не упомянул. Первого января, как всегда, врачи будут дежурить в больницах. А те, у кого кошелек набит туго, как у Куприсов или Реслера, везде и всегда найдут квалифицированную помощь. Но богачи болеют редко.

Поднимаясь на лифте к себе, подумал, что вот Чарли, к счастью, не доверяет мне, как врачу. Просто везет мне. Гонорар брать неудобно — все-таки друг детства. А капризами отличалась вся семейка Куприсов. С такими можно изредка сходить в ресторан, окунуться в воспоминания, но иметь дело... Боже упаси!

Отпирая дверь, подумал, что хорошо иметь приемную в таком удобном месте. Не раз спрашивал себя, подходит ли ореховая мебель для врачебного кабинета. Мебель я не мог вернуть ни господину Реслеру, ни Артурасу: оскорбил бы не только достоинство этих людей, с которыми я не был знаком. Нанес бы пощечину Аните, прах которой покоился на лютеранском кладбище на проспекте Витаутаса, а ведь нельзя бить по щекам человека, который живет только на фотографиях, в воспоминаниях или мебели. Пощечина! После катастрофы уцелели только одно ухо и обе ноги. Когда вспоминал это зрелище, хотелось убегать из приемной, и, только раздев до пояса пациента, шумы сердца которого слушал, осознавал, что ухо Аниты теперь уже фикция, а действительность — это сердце пациента. Часто сердце пациента оказывалось настолько изношенным, что я знал — скоро и оно станет фикцией. Конечно, этого я не говорил, и пациент, оставив у меня десять литов, выходил вооружившись рецептом на капли и огромной надеждой, а я заносил в книгу больных: «прогн. нб., 2—3 г.», что означало — «прогноз неблагоприятный, осталось жить 2—3 года». Иногда я ошибался — больной умирал раньше. В очень редких случаях — жил дольше. Я делал все, что мог, а мог совсем немного. В те годы операций на сердце не делали, клапаны не заменяли, и, наверно, ни один хирург в Кау-

насе не подозревал о том, что наступит время, когда и в Каунасе и в Вильнюсе специалисты будут заменять даже по два клапана.

Был только канун 1938 года.

В кабинете я застал уборщицу, что меня, надо сказать, удивило. Это была честная старушка, набожная представительница общества прислуги имени св. Зиты; точнее — не набожная, а просто богомолка. У нее был свой ключ, кабинет она убирала в мое отсутствие, и я ни разу не заметил ни пылинки на мебели, кушетка для пациентов всегда была застлана белоснежной простыней, кипа чистых простыней белела в шкафчике, умывальники сверкали, даже плевательница напоминала больше блестящее ведро для шампанского, чем посудину определенного назначения. Да и жилая моя комната из красного дерева сверкала, а может, даже дышала чистотой.

— Задержались, Агота? .. — спросил я.

— Господина доктора ждала, — ответила она. И я понял, что в жизни Аготы стряслось что-то. И не в ее здоровье дело. Это я тоже понял. Интуиция врача сошла на меня вместе с дипломом, как святой дух на апостолов. И этот второй дух устанавливал диагноз, диктовал руке рецепты, а первый, додипломный, смотрел на мебель и вспоминал Аниту. И я чувствовал, что у меня тоже есть сердце, как и у моих пациентов, которое напоминает о себе внезапным изменением ритма. Но это не пугало меня — я был молод, постиг тайны жизни и смерти, и смерть была уделом моих пациентов. Для себя же установил предел — семьдесят лет. До той поры успею решить вопросы жизни и смерти.

— Кто-нибудь из родственников заболел, и вы хотите меня отвести, — грустно покачал я головой. — Хотите превратить меня в доброго дедушку из сказки или в доктора, лечащего мартышек в Африке?

— Мартышки — не моя забота — у них души нету.

— Вопрос души мне вообще не ясен, Агота. Почему мы обижаем не только мартышек, наших предков,

но и честных лошадок? Раз уж рай, то для всех. Пусть и у лошадок будут вечно-зеленые лужайки.

— Не тратьте времени, господин доктор,— Агота не давала втянуть себя в рассуждения о духе.— У людей денег нету, не могут врача позвать. А господин доктор может вычесть у меня из жалованья. Потому и жду.

Я немного обиделся, но не показал этого. Не изображал из себя святого и вовсе не собирался разорвать пополам свой плащ и поделиться с бедняком, как святой Иероним или другой монах со светящимся венчиком над головой. Но и у своей прислуги брать гонорар не хотел. Не из гордости, а просто так. За те недели, что Агота служила у меня, она могла меня узнать с лучшей стороны.

— Жду пациентов,— сказал я.— Вдруг будет срочный вызов.

— Я и есть срочный,— спокойно сказала Агота. Она сняла пальто с вешалки, так как я уже успел раздеться.— Помогу господину доктору одеться. Дите хвораёт. Мальчик.

— Я же не педиатр,— возразил я.— Не детский врач. Чем я там помогу?

— Отец на общественных работах, а мама две недели как родила. Может, господин доктор больше ихнего разбирается. И больше моего.

Она почти силой надела на меня пальто и сунула в руки шапку. И сама оделась не по годам проворно.

Я взял чемоданчик, положил в него лекарства и шприц. Прихватил и книжку про детские болезни. Не сомневался, что это воспаление легких — сезонная болезнь в такое время года. Может быть, грипп, но он дает такие же осложнения, особенно у малышей. Прикинул в уме, какие дозы лекарства назначить для такого крохи.

Агота остановила сани, которые ползли мимо. Хотя на улице было всего несколько градусов мороза, от клячи шел пар.

— Улица Жемайчю,— сказала Агота извозчику. И мне:— Я заплачу, доктор.

— Оставьте свои шутки, Аготеле,— сказал я, не скрывая раздражения.— Вам и без того место на небе гарантировано, разрешите и мне купить туда билетик.

— Деньгами не откупитесь.

— И не надо. И если услышу еще хоть слово про деньги, сойду, а вы езжайте и лечите. Могу даже свой чемоданчик одолжить.

Ехали мы довольно долго. Добрались бы быстрее, если б часть пути проделали на автобусе, но Агота, по-видимому, считала, что врача следует везти только на извозчике или такси. А такси в то время стоило бешенные деньги, и в Каунасе их было немного.

Хотя попона и грела, а день, как я уже говорил, выдался мягкий, чувствовал, что стынут ноги. Начал шевелить пальцами. Лошадь тяжело тащила сани в гору. Улица Жемайчу! А ведь старая ипохондричка, моя хозяйка, была совсем ничего. Чем же она меня угощала? Яблочным пирогом? Не мог вспомнить. Жаль, ведь и она жила теперь только в воспоминаниях живых, а ее тело покоилось в земле — сейчас еще и под снегом. Если бы кто испек сейчас такой же пирог, может, в нем нашлось бы место для души этой старушки...

Проехали мимо дома, где я жил когда-то. Здесь помогал прятать нелегальную литературу. Дом и тот уже не тот, вроде поменьше стал, и сад не такой густой. Знал, что увиденное в детстве взрослому кажется менее внушительным, но ведь я жил здесь уже не ребенком! И все же дом кажется иным. И Циле прибегала сюда сообщить о смерти матери. Циле! Она живет сейчас на улице Бажничёс в квартире отца,— мебель делить не стали, я все оставил ей. Аптекаря она бросила, и тот жил с круглощекой Петронеле, своей прислугой. Он будто бы спал с Петронеле и женившись на Циле — во всяком случае, так уверяла моя сестра. Что ж, крепкий старикан, только нос у него противный, лиловый какой-то. Да и Циле не терялась. Путалась с каждым, кто попадал под руку. И может, не столько по необходимости, сколько из мести: родителям, судьбе, аптекарю. И сейчас жила не одна. Ее

дочка подросла, вытянулась, скоро станет девчонкой. Здесь, в саях, на какой-то миг мне стало совестно, что я так отделился от единственных своих родных. Но разве сестра не первая порвала со мной? Странная была у нас семья. Более чужды друг другу, чем посторонние люди.

— Остановитесь,— сказала Агота. Но можно было и не говорить. Дальше ехать было некуда: вниз, до самой Нерис, отвесно спускался обрыв. Сквозь снег, редкий уже и мелкий, видны были маленькие домики Виллиамполе.

«Здесь жил Пятрас Старкус,— подумалось мне.— Где он сейчас? В тюрьме или на свободе? Во всяком случае, для меня его след потерян. В Каунасе его нет, раз за мной «хвосты» не ходят». Я знал, что Пятрас был ко мне расположен. Потому, что я когда-то пожертвовал на политзаключенных? Или потому, что позднее не выдал его в охранке? И еще подумалось, что было бы неплохо встретиться как-нибудь на таком обрыве лицом к лицу со Стасюкайтисом. Профессия врача призывала меня спасать людей, но Тадаса я смог бы убить. Потом мучила бы совесть? Наверно. Так всегда бывает с чувствительными людьми (а себя я считал таким). Но Тадаса бы не пожалел. Случая не искал, но почему-то был уверен, что он представится.

Звон бубенцов удалился. Мы вошли в квартиру в деревянной лачуге.

Конечно, слово «квартира» было весьма условное. Мы вошли в хлев. Но разве можно назвать хлевом помещение, в котором живут люди? Живут? И это слово не годилось. Даже слово «прозябают» казалось не на месте. Здесь люди могли только умирать.

— Доктора привезла, Старкувене,— сказала Агота.

Ко мне подошла женщина с изможденным лицом. Я посмотрел на руки — такие же были у мамы Викте. Прачка.

— Здравствуйте, госпожа Старкувене,— сказал я.

— Вот-вот, госпожа,— повторила она с насмешкой, но так, чтобы не обидеть гостя. Если, конечно, врача можно назвать гостем.

— Покажите ребенка.

В набитом тряпьем (тряпье было чистое) ящике из-под каких-то товаров лежал крупный мальчик.

— Двухнедельный?— спросил я.— Большого родили.

— Чтоб похоронить.

— Не хочу обнадеживать.— Глянул еще раз на ребенка. Даже стетоскоп был не нужен: хрип слышался издали. Вокруг носа и губ проступила синева, словно новорожденного покрасили. Лоб был серый. Ноздри раздувались. Типичное воспаление легких.

Стетоскоп приставил больше из психологических соображений, чем по необходимости. В таком состоянии ребенка спасли бы разве что американские ученые, поместив в кислородную палатку и применяя сульфаниламиды, которые только начали появляться на мировом рынке. А в Каунасе? Может, в какой-нибудь частной клинике и попытались бы спасти его. Сульфаниламиды были и у них.

Кроме разнообразных хрипов, в обеих легких прослушивалось и трение плевры.

Я успокоился: миллионерам тоже не удалось бы спасти этого ребенка. Было слишком поздно. Вчера — может и нет. Вчера еще можно было попробовать его спасти. Сейчас это уже предсмертное состояние.

— Почему не обратились вчера?— спросил я и, не желая усугублять горе матери, добавил:— Тоже нелегко было бы спасти. Наверно, невозможно. А сейчас делать нечего. Это уже конец.

— Спасибо, доктор. Сколько я вам должна?

— Оставь это мне, Старкувене,— вмешалась Агота.— Ребенка окрестила?

— А это оставь мне, Агота,— ответила Старкувене.— Спасибо, что доктора позвали, а о душе сами позаботьтесь.

— Ты не сердись, Старкувене,— грустно сказала Агота.— Каждый живет как может. Я тебе в душу не лезу.

— За это вам и спасибо, Агота,— улыбнулась Старкувене. Тяжело было видеть эту улыбку. Так улыбают-

ся приговоренные к смерти, когда им надевают на шею петлю, а они видят поющую на соседнем дереве птичку.

Я ввел ребенку камфору с хинином. Младенец не прореагировал на укол. Он уже был птичкой на соседнем дереве.

— Я знал Пятраса Старкуса,— сказал я.— Учились вместе на медицинском. И жил он то ли в вашем, то ли в соседнем доме. Вы не родственники?

— Не жил тут Пятрас Старкус,— ответила женщина, не глядя мне в глаза.

— Значит, ошибся. Вы зря боитесь, я не работаю в охранке. Меня самого там основательно избили. Отчасти и за Пятраса Старкуса.

Женщина подняла на меня глаза. Я не мог разглядеть, что было в этих глазах. Наверно, обрыв, с которого я хотел сбросить Тадаса Стасюкайтиса.

— Я оставляю вам несколько таблеток. По четверти таблетки через каждые пятнадцать минут. Горчица у вас есть?

— Есть.

— Положите на спинку. И здесь.— Показал, в каком месте можно класть горчицу на груди.— Если что, Агота мне завтра сообщит. Если до утра ребенок протянет. Вы, Агота, не ищите для меня извозчика. Хочу пешком пройти. Жил когда-то на этой улице. Хочу вернуться хоть в воспоминаниях. А вам, Агота, я еще должен. За извозчика. И не говорите ни о каком гоночаре, черт бы вас побрал.

Может и зря я помянул черта у постельки умирающего, но для Старкувене черти не существовали. Для нее ад был здесь, на земле. А возмущение набожной Аготы меня не так уж волновало.

II

Я сидел за новогодним столом в семье профессора Хаберланда. Думал, что сказали бы по этому поводу мои бедные родители или Тадас Стасюкайтис, которому никогда не суждено попасть в такое общество, или Анита, которую тоже не пригласили бы сюда, хотя она

была немкой, такой же, как Хаберланд. И не без удовольствия подумал, что Чарли тоже здорово бы мне позавидовал, хоть он был и богаче Хаберландов.

Хаберланды были аристократами, но не благодаря происхождению или нитям жемчугов, а рукам, потому что вся слава этих людей, а она гремела в городе, исходила из пальцев профессора. И его глаза, умно и чуть насмешливо вззирающие сквозь стекла очков, предназначались лишь для разглядывания бокалов на столе, женских туалетов, заснеженных деревьев за окном, и это были самые обыкновенные глаза, не обогащающие ни человечества, ни самого профессора; истинные глаза Хаберланда обитали в подушечках пальцев. И его мозговые центры таились там же, в тонких пальцах и в узких ладонях, которые, войдя внутрь человека, решали, что именно делать или не делать ничего; ведь трагические ситуации попадались даже в карьере Хаберланда.

Мы сидели впятером. Стол был овальный, а может, круглый, удобные жесткие стулья с полукруглыми подлокотниками,— не мягкие кресла, позволяющие человеку погрузиться в себя; эти стулья заставляли сосредоточиться даже за столом.

Все это мне хорошо запомнилось, потому что в гостиной профессора я очутился впервые.

Итак, сидели мы впятером. Профессор Вольфганг Хаберланд, глаза которого на время вернулись по назначению, улыбался гостям. Это определение, конечно, было неточным,— единственным гостем в доме был я. Профессор сейчас улыбался мне, а не кому-то другому, и такую улыбку у него я видел впервые. Вообще-то профессор улыбался нередко, но чаще всего его улыбка была ироничной. Теперь же он улыбался добродушно, и насмешливости в этой улыбке оставалось немного. Жена профессора была такая же поджарая и подтянутая, как и он сам, ни малейшей сутулости,— сказал бы даже, прусский генерал с женой, отец которой тоже был прусским генералом, у них в крови было закодировано «держаться только прямо». Правда, в тот вечер я еще ничего не знал ни про коды наследствен-

ности, ни про гены; о профессоре этого не скажу. Может, он тоже не знал, ведь чаще всего он мыслил, как я уже говорил, пальцами, а гены — слишком тонкая вещь, чтобы их нащупать. Сын профессора Роберт Хаберланд не походил ни на отца, ни на мать, и ум его тоже пока что таился в руках, но только тогда, когда он держал в них теннисную ракетку. Оперировал он постольку, поскольку приходилось ассистировать отцу, дежурил по ночам в клинике (при надобности будил отца), уже разбирался в хирургии и, как мне казалось (и как старался показать он сам), совершенно ею не интересовался. Не интересовался он и своей женой, юной бледнолицей женщиной, которая сидела рядом со мной и довольно откровенно интересовалась мною. Мне было неловко перед профессором Хаберландом, и я старался не встречаться глазами с молодой хозяйкой, а глаза у нее были изумрудно-зелеными; не помню, случалось ли мне до этого встречать женщину с такими глазами. Правда, такой же цвет иногда приобретали глаза Айрини-Ирены, но они тут же становились голубыми, как и должно быть у девушки, родившейся в просторах океана. Надо еще добавить, что бледное лицо младшей госпожи Хаберланд обрамлял пламенный ореол — трудно иначе охарактеризовать цвет ее волос. Эти волосы при смене освещения выглядели иначе — красные, коричневые, иногда отливающие даже лиловым цветом, что, конечно, было только обманом зрения. Если присмотреться, это были просто густые и обыкновенные женские волосы, даже коротко подстриженные, с пробором посередине, и почему они напоминали пламенный ореол, этого я не могу себе объяснить по сей день.

Не раз я встречал Новый год в разных компаниях и в разных городах, но такая встреча в моей жизни была первой, и даже сейчас я помню до мелочей туалеты всех присутствующих. Например, платье молодой Хаберланд — длинное, из чудесного черного бархата, с глубоким треугольным вырезом на спине и более скромным, полукруглым, спереди. Золотая цепочка с бриллиантом обвивала длинную красивую шею. Старая

госпожа Хаберланд — в платье из светлого шелка, тоже до земли, с вырезом поскромнее и длинными рукавами. Шею украшало множество нитей мелкого жемчуга, конечно, чтобы меньше была открыта шея — зеркало, в котором лучше всего отражается начало старения женщины. Седеющие волосы украшала бриллиантовая диадема, и взгляд приковывала она, а не цвет волос.

А вот туфель я не запомнил — ни формы, ни цвета. Был еще неопытен, не знал, что это главный атрибут женского наряда. Ну, а мужчины? Профессор Хаберланд был в черном костюме, по-видимому, он не знал, что у меня есть смокинг, и не хотел, чтобы я чувствовал себя неловко. Роберт же был во фраке, который ему не шел; он был в нем похож не на сына и ассистента знаменитого профессора, а на барабанщика симфонического оркестра.

Профессор Хаберланд посмотрел на часы.

— Что ж, половина одиннадцатого. Роберт, ты сказал сестрам, что мы здесь?

— Конечно.

— Вот и хорошо. — И, обращаясь ко мне, добавил: — И очень плохо. Когда квартира рядом с больницей или, можно сказать, в самой больнице, никогда не чувствуешь себя свободным.

— Да Вольфганг никогда и не бывает дома, — заметила его жена. — Только в Новый год. И то, если не вызовут в палату. А иногда приглашают и в университетскую клинику.

— Нередко, — добавил профессор. — Мой уважаемый коллега Кузма, наверно, и сейчас не за праздничным столом, а обходит палаты городской больницы.

— Не забудь, Вольфганг, что он на десять лет тебя моложе.

— На двенадцать, — поправил профессор. — Ну и что? Я не чувствую себя стариком. И не буду чувствовать. Вы, коллега, — это предназначалось мне, — не знаете, как падает подстреленный человек. Это смерть хирурга. Солдат на передовой. Я участвовал в великой

мировой войне. Видел, как падают солдаты. Со стороны выглядит страшнее, чем для самого солдата.

— Изумительная тема для Нового года,— сказала красавица, обжигая меня изумрудным взглядом. Пожалуй, у изобретателя лазера мысль о нем возникла именно в минуту, когда он встретил такой взгляд...

— Отец говорит об этом только раз, под Новый год, Аусма,— сказала старая госпожа Хаберланд.— Сейчас мы будем говорить о кушаньях, потому что у вас плохой аппетит.

— У нас совсем нет аппетита,— пробормотала Аусма, накладывая на свою тарелку салат из креветок.— Вам тоже положить? Как вас зовут?

— Каролис.

— Значит, Карл. Какой же вы литовец? Совсем подходите к этой компании. Я чистокровная немка и ношу латышское имя, а вы...

Она поленилась закончить мысль, которая была не такой уж сложной. Я приступил к салату, но Аусма подлила мне еще соуса. Я смотрел на ее руки на белом фоне скатерти. Когда профессор заговорил о подстреленном человеке, я на короткий миг увидел сутенера Викте, лежащего на этом столе, и скатерть вдруг превратилась в стоптанный снег. А сейчас ничего не осталось, кроме кушаний и рук Аусмы, и то, что на миг показалось мне кровью сутенера, было всего лишь красное вино.

Но мы к нему еще не приступали. Была пора белого вина.

— Ваш отец, по-видимому, отдал дань местным нравам,— продолжал я разговор с Аусмой.— Это бы не помешало ему присоединить Ригу к рейху.

Хотел прикусить язык, но слово уже вылетело.

— Если можно, без политики,— холодно ответила Аусма.— И знаете что? Трудно представить себе более немецкий город, чем Рига. Надо только, чтоб глаза были на месте.

— И уши,— не уступил я.— Уши слышат только латышскую речь.

— Филологические споры — слабость Аусмы, — сказала старая госпожа Хаберланд, до которой, к счастью, долетели лишь обрывки нашего разговора.

— Что вам положить? — спросила Аусма. — Сардины? Омары? Или салат из креветок? — Она вполголоса добавила: — Мужчинам он очень полезен.

— Почему не предлагаете своему мужу? — также вполголоса спросил я.

Аусма расхохоталась:

— Ему уже не поможет. Лучше положу вам.

За дверью раздался шум. «Сейчас профессора вызовут к больному», — подумал я. Но нет: явился второй сын профессора. Он был инженером, но, кажется, нигде не работал, а жил за счет отца. А может, тестя. Альберт Хаберланд был женат на дочери оптовика бумаги, прелестной блондинке, о которой никогда не скажешь, что ее отец — еврей.

И вот они остановились напротив.

— Милости просим. Вы же, кажется, собирались гулять без нас.

— Изменили решение. Будем гулять с вами. Между прочим, мы уже были в ресторане. Скучно, публика противная, все только и говорят, что о приближающейся войне, — сказал Альберт.

— Гиацинты маме, — это жена Альберта.

— Обожаю гиацинты, — сказала старая госпожа Хаберланд. — Доктор Тулейкис тоже принес мне гиацинты.

— Это объясняется просто, — вставил Роберт. Аусма занималась мною, и Роберт сам себя обслуживал. Аппетит у него был неплохой. — В городе небольшой выбор цветов. Еще есть камелии, но эти цветы с подтекстом, для мамы не подходят. Что ни говори, в мамином возрасте стать «дамой с камелиями»...

— А вот и нет, — возразила жена Альберта. — Можно купить и азалии и цикламены. Но мама любит гиацинты... — Она подошла ко мне и протянула руку. Я вскочил на ноги. Мы еще не были знакомы. — Меня зовут Адой. А вас?

— Каролисом. Каролис Тулейкис.

— Фамилию уже слышала. Вижу, вами занимается Аусма, значит, не будете голодать ни физически, ни морально.

— Это надо понять двусмысленно, моя дорогая?— с улыбкой спросила Аусма, но ее улыбка не показала мне дружеской.

— Я имела в виду блюда на столе и твою интеллигентность.

— О, тогда другое дело.— Аусма наклонилась ко мне.— Она не так глупа, как кажется. И говорит не то, что думает.

Я почувствовал себя не в своей тарелке. Перспектива соблазнить невестку профессора (или быть соблазненным ею) не вязалась с моим понятием этики, хотя намеки на мужские достоинства Роберта уже подтачивали фундамент этой этики. Белое вино приятно освежало, в голове появилась какая-то ясность, а мне было всего лишь двадцать семь лет. И никакой необходимости специально питаться креветками.

После индюшатины с тушеным черносливом, к которой подали красное французское вино, я снова почувствовал себя трезвым. Мне показалось даже смешным, что эта красивая вампириша силится соблазнить меня. И ее изумрудные глаза больше не производили на меня впечатления. До меня донесся политический спор, и я насторожился, как боевой конь, проданный крестьянину и услышавший зов трубы. Ведь по сравнению с молодыми Хаберландами я был стариком: меня уже избивали в подвалах охраны. Профессор— дело другое. Он извлекал пули и зашивал раны, а над его головой не раз с воем пролетали снаряды.

— Дни Теруэля сочтены,— сказал Роберт Хаберланд, молодой хирург.— Исход войны в Испании решен. Германия и итальянцы завалили Франко таким мощным оружием, что никакая, как говорит отец, «сила духа» республиканцам не поможет. А русские далеко, оружие они могут доставить только морем. Франция придерживается выгодного нам нейтралитета: она сочувствует испанским красным, но желает их поражения, потому что боится собственных красных. И ни-

какого русского оружия через свою территорию она не пропустит.

— Тем хуже!— будто сливовую косточку, бросил профессор.

— И это говорит немец,— с упреком покачал головой молодой хирург.

— Послушай, оставь отца в покое, несносный гитлеровец,— сказал инженер Хаберланд. Слова «несносный гитлеровец» были произнесены ласково — так может сказать только брат брату, если любит его. И все же я понял, что линия фронта проходит и через этот праздничный стол. Только испанский фронт был усеян трупами, а здесь красовалась индюшатина. Говорю «красовалась», потому что принесли новое блюдо с этим лакомством.

— Теперь другого разговора не жди,— сказала Аусма. Под столом она коленкой коснулась моей ноги. Я подумал, что мне везет на немок. Не так уж плохо,— это я тоже подумал. Тогда я еще не отождествлял немцев с гитлеровцами. Только тогда? Нет, не только тогда. Никогда.

Стрелка часов приближалась к полуночи. Издали доносились литовские песни. Говорю «издали», потому что мы находились вдалеке от всех домов, кроме корпусов частной клиники. А в клинике больные не пели; они спали. Может, кто-то и стонал, но только во сне. Профессор Хаберланд придерживался мнения, что химический сон лучше физиологической бессонницы. И сестры тем, кто не мог спать, давали таблетки или, если больной был после кишечной операции, вводили снотворное в мышцы. И поэтому в корпусах царила тишина.

Перед двенадцатью на столе появились бутылки шампанского в блестящих ведерках со льдом. Горлышки бутылок тоже сверкали словно лед, когда на него падают лучи солнца.

Туда, куда меня вызвали перед балом, лучи солнца не проникали.

— Сегодня меня вызывали к больному,— начал я, воспользовавшись тишиной, хотя буквально минуту на-

зад не испытывал желания говорить. Что именно — со-терн или бургундское — развязало язык? Странно прозвучал мой голос в тишине, потому что все обратились в слух. Но я не опешил.— Двухнедельный ребенок. Сейчас, наверно, он уже бывший больной. Стены этого дома, стены квартиры, в которой лежал ребенок, изнутри, заметьте, мои господа, изнутри покрывал слой льда. Не такой толстый, как вокруг этих бутылок шампанского, но самый что ни на есть лед.

— Это намек, что нам не следует пить шампанское, коллега?— с вежливой иронией осведомился молодой хирург.

— Обрывок мысли, приблудившийся перед полночью,— ответил я.

Аусма крепко прижалась ко мне коленкой.

— Перед полуночью больше подходят другие мысли,— заметила она вполголоса.

— А для этого и мысли не нужны,— ответил я тоже шепотом.

— Чудесно, мой дорогой. Значит, договорились.

-- Мы еще не договаривались, Аусма.

— Уже на попятную? Импотенты проклятые!..— Это она произнесла чуть громче, чем следовало.

— Что сказала Аусма?— спросила старая госпожа Хаберланд.— О, уже пора открывать шампанское!

Пробки выстрелили, когда стоящие в углу огромные часы с гирями пробили первый раз. Все встали. Я чувствовал, что не очень-то твердо стою на ногах. Аусма пошатнулась и оперлась на меня. Шампанское из моего бокала пролилось на скатерть. Не все, конечно.

— *Prosit Neujahr!*— торжественно произнес профессор Хаберланд.

В голове у меня снова стало светло и ясно. Посижу еще полчаса и пойду к Ирене. Не к Чарли, а к Ирене. Она даже не понимает, как мне хочется видеть ее. А может и понимает. Эти морские волны в радужных оболочках глаз омывают мои мысли, и потом в них легко проникают зрачки Ирены.

Абсурд, конечно. Мысли читали профессора черной магии во дворе, где сейчас стоит большой дом, а в

этом доме живу я. Но вся эта магия — один обман. Где же правда?

Просидел я не полчаса, а целых три часа. За тортами, кофе и французским коньяком (в этом немецком доме пили только французские напитки) мы пытались решить европейские вопросы и так их и не решили. Даже Ада присутствовала при том, как мы делили Европу будто торт. А Аусма — нет. Она была смертельно обижена на весь мир — на своего мужа, на Гитлера, Франко, Сметону, на французское правительство, на Сталина, а больше всех — на меня.

Но мы победили. Мы — это профессор Хаберланд, его сын Альберт (инженер, не занимающийся своей профессией) с женой Адой и я. Мы были против Гитлера, Франко и Муссолини. Роберт крикнул «Хайль Гитлер!» и после очередной рюмки коньяка свалился под стол. Как и подобает воину великой Германии — с именем вождя на устах.

Старая госпожа Хаберланд соблюдала нейтралитет, но этот нейтралитет был выгоден ее мужу. Аусма же представляла все анархистские синдикаты, какие только были на свете. Если бы в первый день 1938 года существовал маоизм, она носилась бы вокруг стола и кричала: «Мао! Мао!» Сейчас же она молчала, поджав губы, и взглядом разъяренной тевтонской валькирии смотрела в себя. Правда, валькирии не были анархистками. Аусма просто смотрела взглядом разъяренной женщины. А мне это было смешно.

— И все-таки, мой друг, — грустно сказал профессор Хаберланд, обращаясь ко мне, — хотя все мы, кроме Роберта, ругали Гитлера, все же мы немцы, и весь мир, в свою очередь, проклинает нас, не разбираясь, кто нацист, а кто антинацист.

— Право же, нет, профессор, — возразил я. — Этот «весь мир» хорошо знает, что в концентрационных лагерях гибнут не только коммунисты и люди других наций. Там гибнут и честные немцы.

— А если мы не желаем погибнуть в концентрационных лагерях? — спросил профессор Хаберланд. — Я просто к слову, не обращайтесь внимания. Когда Гитлер

займет Литву, нас мобилизуют в вермахт, даже меня, хотя я уже старик, и мы погибнем на фронте. Мы слишком хорошие специалисты, чтобы нам позволили погибнуть в концлагерях.

— Вы сказали «Гитлер займет Литву»?

— Разве вы в этом сомневаетесь, юный коллега?

— Не верю.

— Сначала Клайпеду. Она станет Мемелем. Гитлеру хотелось бы, чтоб вы не отдали этот мизинец, он тогда отхватит всю руку.

— Отец, я устала от политики,— сказала старая госпожа Хаберланд.

В третьем часу снегопад прекратился, но в саду столько намело, что пришлось брести по колено в сугробах. Все тропинки занесло снегом.

На моей руке повисла Аусма.

— Можно?—спросила она у старого Хаберланда.

— Спрашивай своего мужа и доктора Тулейкиса. Кстати, у Гитлера вы тоже смогли бы сделать карьеру. Женились бы на Аусме—и уже наполовину немец. Жаль только, что в Европе запрещена полиандрия. Кажется, в Непале и Тибете женщины могут иметь несколько мужей.

— Какое счастье,— сказала Аусма.— Среди множества хоть один окажется настоящим.— И шепнула мне на ухо:— Импотент проклятый.

Из больничного сада я мог отправиться на все четыре стороны, а точнее—на набережную Немана, на улицу Мицкевича, которая была рукой подать, и даже на улицу Гедиминаса, до которой было довольно далеко. Но калитка выходила на улицу Мишко.

Наша компания распрощалась у калитки. Инженер Хаберланд предложил подбросить меня на своем «Оппеле», но я отказался и оставил его с Адой. Я уже сворачивал на улицу Мицкевича, а «Оппель» все еще не мог сдвинуться с места,—Альберт малость перебрал, или немецкая техника отказала. В здании медицинского факультета светило одно-единственное окно, и я силился вспомнить, в какой оно аудитории. Слева угрюмо маячили корпуса каторжной тюрьмы.

Зато в здании тюрьмы на улице Кястутиса гремели песни: здесь жили надзиратели со своими женами. Они еще встречали Новый год.

Мне было интересно, чем заняты Куприсы. Вообще-то, пошли они к черту, эти Куприсы или Куперы!.. Меня интересовала Ирена, которую вся эта шайка называла Айрини. Мне было славно у Хаберландов, но все-таки я жалел, что отказался от предложения Ирены. Почему я так сделал? Может, Чарли не слишком-то уговаривал? Хозяйкой на встрече Нового года была их мама, а она-то приглашала от души.

Что ж, сейчас уже жалеть нечего. С другой стороны, целый вечер смотреть на эту откормленную гору мышц, на этот гибрид обезьяны и бизона, на этого Джима — небольшое удовольствие. А слишком часто поглядывать на Айрини опасно. Почему Чарли так оберегает ее? Из братской любви? Вряд ли. Чувства никогда не волновали Чарли: их заменял туго набитый кошелек. Я пока еще был слишком беден для его сестры. Будь у меня самая захудалая фабрика да пакет солидных акций, может, и был бы принят в их семью. И хотя я стал прилично зарабатывающим врачом, для Чарли я оставался все тем же бедняком с улицы Бажничёс, сыном клерка, едва сводящего концы с концами.

В окнах старой Купрене (а она уже порядком постарела) и Ирены было темно. Значит, или спят, или веселятся в домике над гаражом. Но там слишком уж неторжественная обстановка для такого праздника. Ясно, братья встретили Новый год наверху, у матери, а сейчас пьянствуют в своем логове. А Ирена тоже спит. Мама не пустила бы ее в эту компанию забулдыг, даже если эти забулдыги — ее сыновья.

Почему я заглянул во двор? Железные ворота были распахнуты, словно в ожидании, что вот-вот выедет или въедет машина, битком набитая горлающими захмелевшими гостями. Нет, в этом доме не может быть захмелевших — только мертвецки пьяные.

На втором этаже домика ярко горел свет, в открытые окна клубами вырывался пар и дым, как в заправ-

ской вакханалии с настоящими чертями. «Линкольн», черный лимузин, блестел в ночи; он придавал адский блеск этим декорациям.

И вдруг лимузин бесшумно двинулся с места. Прямо на меня. Я подумал, что, наверно, тоже перебрал, и мне это мерещится. Но даже в бреду я не мог стоять на месте, когда на меня катилась машина!

Отступил в сторону, и машина тоже повернула. В панике бросился к двери большого дома, боясь, что она заперта.

Но машина остановилась, когда я еще не успел взбежать на крыльцо.

В «Линкольне» загорелся свет.

За рулем сидела Айрини.

Она хохотала. Я не слышал хохота — эти пьянчуги наверху горланили под радио или патефон, а то и под все инструменты, какие только уже изобретены в мире; хохота не слышал, но видел смеющийся рот.

Подошел к машине, открыл дверцу и сел.

— Американский юмор, — сказал я. — Смешнее всего было бы, если б ты меня раздавила.

Айрини не ответила; машина выкатила на улицу.

— С Новым годом, Каролис.

— С Новым годом, Айрини.

— Ирена! Только Ирена. Никакой Айрини. Ты уже столько раз обещал...

— Верно, Ай... трудно отвыкнуть, когда твои братья-алкоголики иначе тебя не зовут.

— Ты ненавидишь моих братьев?

— Откуда это взяла?

— Говорят, что евреи отвечают вопросом на вопрос. Почему — «взяла»? Вижу, как на них смотришь да как с ними разговариваешь.

— Я этого не заметил.

— А я заметила. И они, между прочим, тоже. — Мы въехали на улицу Майрониса, это было совсем рядом. — Покажи, как живешь. Еще не водил меня к себе.

— Твои братья охраняют тебя, как церберы.

— Брат. Один брат. Чарли. Точнее, Джим, потому что Чарли ему платит за это.

— Джим — кто он такой? Адъютант твоего брата или секретарь? Или телохранитель? А может, они любовники?

— Ну, последнее отпадает. А все другое подходит.

— Что ты делала в машине, Айрини? Прости — Ирена...

— Ждала тебя.

— Так уж и ждала.

— Так и ждала. Знала, что заглянешь, когда будешь возвращаться домой. Даже если будет не по пути — заглянешь.

— Посмотреть, как гуляют твои братья?

— Посмотреть, что поделявает их сестра, Каролис. Мы вошли в лифт.

— Если Чарли узнает, что ты ночью ко мне заходила, он меня убьет, Ирена.

— Чарли? Нет. Тебя убьет Джим. По приказу Чарли. Но Чарли не узнает.

— Слава богу.

— Если б он узнал, что я побывала у тебя днем, он тоже бы тебя убил.

— Ты же только что говорила, что не Чарли, а Джим меня убьет.

Ирена рассмеялась.

— Слушай, а ты богаче живешь, чем мы, — сказала она, внимательно осматривая мою небольшую квартиру. — Ведь это настоящий орех, не подделка. А тут махагони! Чарли это видел?

— Соизволил заглянуть сюда раза два.

— Наверно, провериться, не подхватил ли венерическую болезнь?

— Даже если ты права, Ирена, это врачебная тайна. Но он не проверялся. Из страха заразиться он просто избегает женщин.

— А то, что ты сейчас сказал — не врачебная тайна?

— Может, отчасти. Это ведь ненормально. Жени его, Ирена.

— А тебя? Тебе не надо жениться?

На это я не ответил. Просто спросил:

— Выпьешь что-нибудь?

— Из спиртного — нет.

— Фруктовый сок с газированной водой?

— С удовольствием, Каролис.

Вставил в шейку сифона патрон, нажал, и газ, вырвавшись из этого патрона, взбудоражил воду.

— Есть французский компот. Налью жидкости и разбавлю сельтерской.

— Зачем? Я люблю просто компот. Налей немножко. Без сельтерской. Я ведь еще ребенок, Каролис. Мне девятнадцать лет.

— Как раз пора выходить замуж. За меня.

— Давно жду, когда это скажешь. Ромео и Джульетта в новогоднюю ночь. Джульетта пьет французский компот. А сейчас мне уже пора домой.

— Боишься меня, Джульетта?

— Боюсь себя. Проводи до автомобиля. Слушай, Каролис, братья не позволяют мне выйти за тебя.

— И ты должна слушаться братьев?

— Я должна слушаться маму. А она слушается Чарли.

— А если ты никого не слушаешься?

— Останусь без денег. Они мне не дадут приданого.

— Думаешь, я недостаточно зарабатываю?

Лифт мягко коснулся основания шахты.

На мой вопрос Ирена не ответила.

Я хотел по-дружески поцеловать ее в щеку, но она метнулась из моих объятий словно дикий зверек.

— Еще нет, Каролис. Еще нет.

— Когда встретимся?

— Может, сегодня. Может, никогда. Каждый раз, когда будут улетать мои братья-вороны. Сколько этих братьев было в сказке?

— Не знаю сказок. Сказки моего детства — дебет, кредит и сальдо в толстых книгах отца. Да и эти книги я видел лишь издали.

Ирена помахала мне рукой и включила зажигание. На повороте улицы красные огоньки исчезли. Я под-

нялся в свои роскошные апартаменты и подумал: не предал ли я Аниту, посватавшись к Ирине среди этой мебели? Какой заколдованный круг — проклятое богатство не позволяет приблизиться к женщине, которую люблю. Хотя и сам я уже достаточно богат. Значит, нет такого понятия — богатство, ведь для настоящего миллионера Чарли такой же нищий, как я для Чарли. Есть только цифры в левом столбце бухгалтерских книг — дебет. Цифры с идущими за ними нулями, и цель жизни множества людей — приписать новый нулик справа. А когда трясущийся старичок умирает, добившись своей цели, он попадает в нулевой рай, а его земные нулики шутя проматывают весьма конкретные наследники, пускающие потом себе пулю в рот в парке Монте-Карло. Чарли такая опасность не угрожает, он проматывает свои деньги сам, при жизни, и, преодолев страх перед болезнями, подхватит от проверенной лучшими специалистами куртизанки сифилис и умрет. Не от сифилиса — от страха.

Я тщательно умылся под душем и забрался в свежую постель. Агота аккуратно меняла простыни. Где-то, наверно, в старом городе, а может, в костеле Сестер Милосердия, гудел колокол, первый колокол, возвестивший Новый год. Агота, конечно, в костеле. Ирина думает обо мне. А ребенок среди обледеневших стен наверняка уже умер.

И когда я задремал и даже что-то увидел во сне, у двери раздался звонок.

III

Я открыл дверь, и в прихожую вошли двое незнакомцев.

— Надеюсь, не разбудили, — сказал высокий молодой мужчина. Черные густые кудри и блестящие глаза служили признаком нескольких национальностей. Но поскольку итальянцев и мексиканцев в Каунасе было немного, я понял, что он еврей. — Прежде всего, с Новым годом, доктор.

— И вас также,— ответил я, подавляя зевок.— А разбудить вы меня разбудили. Кстати, вы по поводу больного?

— Конечно. Сегодня с поздравлениями ходят трубочисты и почтальоны, но мы — ни те ни другие.

— Тогда должны бы знать, что для экстренных вызовов есть больницы с дежурными врачами.

— Мы больше доверяем вам.

— Благодарю. Но я пока не знаменитость.

— Ошибаетесь, наверно. Но эти наши разговоры, доктор, больному не помогут. Будьте любезны, возьмите свой чемоданчик и положите в него побольше лекарств.

— А вы напористы. Ваш коллега — спокойнее.

И на самом деле, второй мужчина стоял в передней, не говоря ни слова. Но мне почему-то казалось, что откажись я, этот молчун просто перекинул бы меня, как мешок, через плечо и понес к больному. Даже молчание этого блондина, не говоря о выразительном взгляде голубых глаз, как бы говорило: «Не спорьте, доктор, и не возражайте».

— Здесь подождете или зайдете в приемную?

— Да здесь,— сказал брюнет.— Нанесем в комнату снега, и бедной Аготе будет лишней работы.

— Откуда вы знаете Аготу?

— От нее мы получили ваш адрес.

— Любопытная история. Пожалуй, придется платить ей проценты с гонорара. Она заманивает ко мне клиентов.

— На сей раз гонорар будет, доктор. Не все же ваши пациенты не платят.

— Ошибаетесь. Я сам не взял денег. Откуда вам известна эта история?

— Случайно.

— А ребенок?

— Умер после полуночи.

— Какие лекарства мне брать? Хотел спросить — что подозреваете?

— Мы не разбираемся. Высокая температура. Человек задыхается.

— У десятка болезней такие симптомы. Воспаление легких, плеврит, ангина, наконец, дифтерит...

— Взрослый человек. Лет на сто старше вас. По опыту.

Я обшарил свою аптечку и взял самые эффективные лекарства.

— Далеко ваш больной?

— Не очень.

— Надеюсь, в городе?

— Немного за городом. Давайте поторопимся, доктор.

Блондин так и не сказал ни слова. Я подумал, что он глухонемой. Или просто немой. Я не был специалистом в этой области.

Хотел вызвать лифт, но незнакомцы предложили спуститься по лестнице. «Если это грабители, лифт самое удобное место, чтоб со мной разделаться. Хотя моя квартира — еще более удобное место». И все-таки в их поведении было что-то подозрительное.

Скажем, вышли мы не на улицу, а в соседний двор — вспомнилось, что в детстве там заливали каток. Да и сейчас, хоть и без коньков, мы скользили: под рыхлым снегом были островки скользкого льда.

В соседнем дворе стоял автомобиль, ничем не примечательный «Форд», уже не новый, но и не старый. Модель позапрошлого года. Блондин сел за руль и указал мне место сзади.

— Садитесь, — предложил, и я понял, что он не немой.

Вскоре рядом со мной оказался и брюнет. Он вернулся от ворот, хотя они были распахнуты и открывать их не требовалось. Я вспомнил, что сам примерно так действовал, когда убегал от «хвоста». То и дело озирался!

— Могли подъехать к дому с улицы, а не таскать врача по чужим дворам, — изобразил я недовольство.

— Простите, доктор, это правда бестактно, — сказал брюнет. И нельзя было понять, всерьез он говорит или издевается.

— Не соизволите ли объяснить, наконец, где же ваш больной?— спросил я.

— Недалеко. За городом.

— Это вы уже говорили. Благодарю. Например, под Панявежисом.

— Зачем? Там тоже есть врачи. Нет, доктор, совсем недалеко.

Мы ехали по улице Кястутиса, потом свернули на проспект Витаутаса, направо, потом на улицу Бажничёс, подъехали к спиртовому заводу, и слева от него, по другую сторону улицы, я снова увидел дом, где мы жили; сейчас квартиркой распоряжалась моя сестра; пульс мой почему-то участился, и брюнет тут же заметил, что я встревожен.

— Вам нечего волноваться, доктор,— сказал он.

— Может, и есть,— возразил я.— Здесь прошло мое детство. Мое печальное детство.

— Зато у вас веселое настоящее.

— Вы слишком хорошо проинформированы. Веселое настоящее с черными пятнами отчаяния.

— И подвалы в охранке.

У меня и раньше уже появилось подозрение, что это провокация Стасюкайтиса, только не верилось, что в первый день Нового года он займется именно мной. Да и оснований для этого не было. Но теперь мысль цеплялась за мысль: Агота, умирающий ребенок, женщина, фамилия которой Старкувене, мой вопрос о Пятрасе Старкусе... Что я знал об этой женщине? И кому она могла сболтнуть о разговоре со мной? Агота — нет, эта старушка умела держать язык за зубами.

А ведь этой Старкувене я действительно не знал.

— Может, и сейчас мне грозит нечто в этом духе,— буркнул я.— Что я о вас знаю? Отвезете меня к подозрительной личности, а потом дело пришьете. Я — ученый.

— Вот потому и везем вас, доктор. И дела не пришьем.

Я посмотрел брюнету в глаза. Не прочитал в них ничего. Ни хорошего, ни дурного. Глаза артиста, простачка, или конспиратора? Увы, ясновидящим я не был.

Странным был наш маршрут — небольшой отрезок улицы Буги, направо; потом снова на Шяуляйскую улицу и тут же в переулок Гирступё.

— Значит, везете меня в долину Мицкевича. Но Адам Мицкевич уже умер.

— И кроме того, в Турции. И никогда не жил в своей долине. Вы остроумный человек, доктор, но на этот раз промахнулись.

Я должен был признать, что он говорит правду, но кто дал право брюнету упрекать других в отсутствии чувства юмора?

— Я не собираюсь играть для вас водевиль. Вы же визит к больному превратили в какой-то спектакль. Позвольте еще раз спросить: к кому вы меня везете?

— Уже говорил: к тяжелому больному.

— Фамилию которого вы вдруг забыли...

— Фамилия которого вам ничего не скажет.

— Или скажет. Поэтому и скрываете?

— Что ж, мы квиты, как говорят в Каунасе. Теперь я промахнулся. Скоро будем на месте, доктор.

Мы проехали всю долину, снова кружили возле каких-то деревянных домов, которые я никогда раньше не видел или забыл, хоть и бывал в этих местах с Анитой, и оказались на дороге, по которой я уж точно никогда не ехал. Перестал понимать, в какую сторону направляемся. Если такова была цель шофера, этот маневр он исполнил блестяще.

Продвигались с трудом. Иногда колеса «Форда» буксовали, и мы с брюнетом вылезали из машины, чтоб помочь, и то раскалывали лопатой лед под снегом, то толкали автомобиль на менее скользкий отрезок дороги. А то и просто застревали в сугробе — снега нанесло, оказывается, не только в Каунасе.

Ехали больше двух часов. Прodelали несколько десятков километров или всего лишь несколько — этим я уже не интересовался. Небо затянули серые тучи, ни разу не взглянуло солнце, так что я даже не знал, в какую сторону света едем. И деревянный хуторок на опушке леса был одним из тысяч таких же в Литве.

Хотя мороз и не поджимал, я все же порядком продрог. Приятно было, когда тело окунулось в тепло натопленной избы. Пахло свежее испеченным хлебом.

В избе нас встретили пожилая женщина и мужчина тех же лет.

— Доктора привезли?— спросила женщина и, не ожидая ответа, пригласила нас дальше.

В последней комнате на целой горе подушек лежал раскрасневшийся человек. Уже издали было видно, что у него жар.

— Термометр у вас есть? Мерили?— спросил я у женщины. У двери на лавке сидел брюнет. Блондин и пожилой мужчина испарились, словно камфара.

— Без малого сорок градусов,— ответила женщина.— Со вчерашнего вечера так.

— Порядочно без врача,— пробормотал я.— Лекарства давали?

— Липовый цвет.

— Тоже неплохо.

Я подошел ближе и не удержался от восклицания:

— Пятрас!

Нет, никогда я не думал встретить в этой избе Пятраса Старкуса.

Пятрас открыл глаза и улыбнулся. Я подал ему руку, и он пожал ее довольно крепко.

— Возьмите из чемоданчика стерилизатор и прокипятите шприц,— приказал я брюнету.— Э, да что я. Вы же не сестра милосердия.

Брюнет улыбнулся.

— Столько-то умею. У меня отец диабетик. Дома всегда шприц кипячу. Когда я дома, конечно.

— Когда не в тюрьме,— добавил Старкус.— Ну как, Каролис, вырвешь меня из объятий костлявой?

— Костлявая еще далеко,— сказал я.— Ты только остерегайся Лашаса-Спиридоноваса и Стасюкайтиса — из их объятий я уж тебя точно не вырву. Они будут похлеще тифа.

Типичное крупозное воспаление легких — болезнь, которую редко встретишь сейчас, в эру антибиотиков. А в те годы это была весьма распространенная болезнь.

И оптимизм врачей был искусственным — чтоб поднять дух больного. Чем обернется эта болезнь — никогда не мог знать.

— Последний раз виделись у общежития мариан,— сказал Старкус; говорил он с трудом.— А может, у меня бред. Знаешь, на самом деле иногда заговариваюсь. Но черти не мерещутся — атеист. А вот почему Спиридоновас к кровати не подкрадывается, не знаю. И вообще, только красивые сны вижу. Цветущие поля. В тюрьме тоже лужайки снились. Часто вижу цветные сны. Чем это объяснить?

— Ты отдохни,— сказал я.— Слишком слаб столько говорить. Вот поставим тебя на ноги — тогда и рассказывай мне хоть о горных хребтах. В горах тоже растут цветы, эдельвейсы, а как по-литовски, не знаю. Только они, кажется, белые, эти цветы,— для твоих снов не подойдут.

Вечером брюнет сообщил, что нам пора в путь. Поедем вдвоем — с молчуном.

— Если можете, оставьте стерилизатор и шприц, доктор... — несмело попросил брюнет.

— Какой же вы робкий! Из дому меня похитили, а сейчас боитесь шприц одолжить. Берите и не возвращайте. Их у меня достаточно. А сейчас дайте листок бумаги — на своем бланке не хотелось бы писать...

Отметил часы — когда какие инъекции, когда таблетки. Тело больного было испещрено круглыми узорами — банки поставили еще до моего приезда.

— Завтра дайте знать. Не знаю только, зачем вы гоните меня в Каунас. Сегодня суббота, завтра на работу не надо. И пациентов в такой день не будет.

— Не суйте голову в пасть льву,— сказал брюнет.— Уже сталкивались с охранкой. Ваше исчезновение из Каунаса могут заметить.

— Вы боитесь, что меня арестуют, и я проболтаюсь, кого лечил?

— Если б этого боялись, вас бы сюда не привозили, доктор.

— Сюда? Будь я даже не Тулейкис, а Тадас Стасюкайтис, все равно не сумел бы снова сюда попасть.

Брюнет рассмеялся.

— Раз уж конспирация, то конспирация. Сама природа помогла. Когда кругом снег, не очень-то сориентируешься.

— Спасибо, Каролис,— сказал Старкус.— А Стасюкайтису все-таки пришлось выпустить меня из когтей. И господину Спиридоновасу. Меня обменяли на литовского шпиона.

— На какого еще шпиона?

— Никудышнего, раз его тут же схватили в Советском Союзе. Ну, меня через границу в Россию, а этого шпиона — в Каунас.

«Значит, ты снова перешел через границу в Литву. Чтоб за тобой охотился Стасюкайтис. И чтоб подхватить воспаление легких, пока еще не попал к нему в лапы».

— Послушайте,— требовательно сказал я брюнету.— Завтра после обеда я должен знать о состоянии здоровья Пятраса Старкуса.

— Вы ошибаетесь, доктор, никакого Пятраса Старкуса нет,— сказал брюнет.— Это Зигмас.

— Пускай хоть сам Сигизмунд Август. Если боитесь приехать ко мне, раз за вами следят...

— Может, следят и за вами.

— Может быть. Сообщите о состоянии больного по телефону.

— А вы думаете, телефоны не прослушивают? Сообщим: лучше или хуже. Фамилию больного придумайте сами.

— И температуру сообщите. Да, и пульс. Фамилию?— Мысленно перебрал фамилии своих пациентов. Один из них болен таким же крупозным воспалением легких.— Золубас. Гедиминас Золубас.

— Золубас. Золубас,— повторил брюнет.— Такую фамилию надо вызубрить. Как роль в театре. Но это полегче монолога Гамлета. Спасибо, доктор. Но не гарантирую, что позвоним.— Из кармана он достал конверт.— Кстати, это для вас. Еще раз спасибо.

Конверт я не взял.

— Видно, вы спутали меня с каким-нибудь другим врачом,— сказал я довольно холодно.— Гонорара не возьму. А чтоб вас не обидеть, считайте это взносом для Красной помощи. Или Мопра. Не знаю, как это теперь называется.

— Там взносы платят регулярно, доктор,— улыбнулся брюнет.

— Хорошо. Адрес знаете.

— Значит, вы — за нас?

— А я давно за вас. Не с сегодняшнего дня. Хотя и провожу время в обществе чуть ли не миллионеров.

— Кстати, рецепты, которые вы написали своей рукой, я уничтожу. Переписав перед этим, конечно.

— Не перебарщиваете ли с конспирацией?

— У вас уже была возможность убедиться в обратном.

В Каунас я вернулся еще до трех. Попросил, чтоб меня не подвозили к дому,— боялся не только за блондина, но и за себя. Каким-то образом мы очутились на улице Пародос.

— Вот свободные сани, здесь и остановитесь. Спасибо!

Я не поехал вниз по улице Пародос. Решил навестить Гедиминаса Золубаса. У него тоже было тяжелое воспаление легких. Как знать, может, даже пытался вызвать меня по телефону... Надо будет сказать, чтоб не звонил, сам буду наведываться. А то еще перепутаю обоих больных...

— Вверх, направо. Не знаю этих улиц. Потом скажу, куда свернуть.

В моем чемоданчике уже не было ни лекарств, ни стерилизатора, ни шприца. Но там был стетоскоп и книжка рецептов. И голова на плечах осталась. На этот раз вынес ее в целости. Надолго ли? Когда тебе двадцать семь, о голове почему-то думаешь меньше, чем о любой другой части тела.

IV

Не знаю, почему именно девятого января, в воскресенье, едва проснувшись, я решил, что сегодня обязательно навещу сестру.

Такие мысли возникали у меня и раньше, но всегда я находил предлог избежать визита.

А в это утро я знал, что мысль станет плотью.

Разумеется, первый шаг надо было сделать мне. Но каким должен быть этот первый шаг, и ради чего? Чтоб помириться? Но мы же не ссорились. Наша жизнь текла разными проводами, которые не соприкасались, а если б даже соприкоснулись, искр не было бы — провода были изолированы. Я знал, что у меня есть сестра, а у этой сестры дочка, и на этом мое родственное любопытство заканчивалось.

Конечно, в мыслях иногда возникали какие-то картинки детских ссор или игр, слишком прозрачные, чтоб надолго остаться в сознании. Пожалуй, я чувствовал даже какое-то подобие угрызений совести. С какой стати меня должна мучить совесть? Если бы сестру так волновало семейное согласие, она не стала бы ждать от меня первого шага. Достаточно снять телефонную трубку. Ведь моя сестра не такая уж наивная, чтоб даже не поинтересоваться, есть ли у меня телефон. Я относился к той категории молодых врачей, которым везет в их профессии. «Молодой, подающий надежды». Если сам про себя так и не думал, то все равно меня таким считали. А жена аптекаря, даже сбежавшая от мужа, знает цену врачам.

И хотя мне было ясно, что сегодня навещу свою сестру, я все равно медлил.

Вот почему долго брлся дорогой немецкой электробритвой, которую мог приобрести только преуспевающий врач. Вот почему долго копался в холодильнике (а холодильник тоже был доступен немногим), раздумывая, что приготовить себе на завтрак. Вот почему долго крутил руку приемника «Блаупункт», пока не узнал, что от Теруэля остались лишь руины и что в битвах за него погибло шестьдесят тысяч человек,

в основном, конечно, испанцев. Немецкие и итальянские летчики безнаказанно хозяйничали в небе Испании. Республиканцам не хватало самолетов. Тучи Италии легко переплывали в Испанию, а небо России было далеко.

Литовцы тоже сражались у Теруэля. Не на стороне фашистов, конечно. В то время, когда я слушаю радио и пью настоящий кофе без кофеина, который якобы щадит сердце, на Испанском фронте пули не щадят сердец, и никто из защитников революции не пьет настоящий кофе ни с кофеином, ни без него. Они пьют какую-нибудь бурду. Меня снова одолевает подобие угрызений совести. На этот раз уже не из-за сестры, а из-за Испании. Но успокаиваюсь я очень быстро: Теруэль я бы не спас, а университет уж точно бы не кончил.

Дав себе отпущение грехов, мягко спускаюсь на шведском лифте.

Небо пасмурное, падают мелкие снежинки, всего несколько градусов мороза, а по улице спешит молодежь. Кто с лыжами, кто с коньками. Щеки у девушек стали румяные, а когда еще поднажмет мороз — щеки посинеют и придется потереть кончик носа, чтоб не отморозить. Интересно, какая зима в Испании? В горах, конечно, снег. А в долинах и на равнинах?

Мимо торопятся румяные девушки, а я вижу колонну фашистов с оружием германского производства, и лица у них одинаковые, как маски на захудалом карнавале. И отчетливо представляю, как выглядит эта маска: это лицо Тадаса Стасюкайтиса.

Интересно, ринется ли Гитлер на Литву, как пророчат местные немцы? И что тогда будет делать мой Стасюкайтис? Защищать страну от захватчиков? Ладно, там видно будет. А вообще-то жалко, что нет у меня даже монтекристо. Интересно, ходит ли Стасюкайтис по Аушрос такас? Бойтся, наверно. А у меня на сей раз рука бы не дрогнула. А тогда дрогнула? Не помню уже. Но мучался. Не то сны, не то кошмары наяву.

Из-за Стасюкайтиса я бы не мучался.

Нажал на кнопку звонка.

Дверь открыла невзрачная девчонка, похожая на аптекаря. И все же в этой невзрачности таилась какая-то прелесть.

Я старался понять, в чем тут секрет.

— Мапочка, какой-то господин пришел.

Шевельнулась ли моя совесть? Нет.

— Здравствуй, малышка. Тебе, наверно, годков восемь? А я — твой дядя.

— Дядя?

Вошла сестра.

— Каролис? Сними пальто. Позавтракаешь?

— Только что дома перекусил.

— Выпьешь кофе?

— Это можно.

Разговаривали мы так, будто расстались вчера, словно не было между нами этой почти десятилетней пропасти. (Я попробовал подсчитать в уме годы, но цифры путались. Какая разница — год туда, год сюда? Двое чужих людей. А может, не чужих, раз так легко возобновляется контакт.)

— А это правда твой дядя, Рима.

— Кажется, ты окрестила ее другим именем?

— У нее несколько имен, кроме Римы.

— Тебе это имя нравится?

— Да.

И вдруг я вспомнил: парня, за которого не позволил ей выйти отец, звали Римантасом. Едва сдержался, не сказав ей этого.

Квартира была та же, и все-таки другая. Каждый живет по-своему, и Циле тоже. Та же мебель, дешевая, но ухоженная, и потому не было впечатления нищеты. Скромная квартирка каунасских мещан, и только. Таких квартир в городе большинство, а может, и нет: я вспомнил обледеневшие стены в трущобе, где умирал младенец. А есть, конечно, и орех, настоящий, не подделка, и красное дерево, как в квартире молодого преуспевающего врача. Видно, на моем лице отразились противоречивые чувства, а может, просто хаос мыслей, потому что Циле спросила:

— О чем ты думаешь?

Я рассмеялся, если это можно было назвать смехом.

— Если б я сам знал.

— Слышала, дела у тебя идут хорошо.

— Хорошо. Частная практика пока небольшая, но материальных забот нет.

— А у меня иногда бывают.

— Нужна помощь?

— Я не потому сказала, Каролис, что жду от тебя милостыни.

— Милостыню тебе давать не намерен. В семье нет милостыни.

— Красиво говоришь. Надо было пойти в адвокаты.

— Говорил уже, мне и врачом неплохо. Тебе-то, кажется, медики всегда нравились.

Было бестактно намекать на ее роман со студентом медиком; может и романа-то не было. Женидьба не состоялась, отец тогда еще не заботился об очистке воздуха в Каунасе, его волновало будущее дочери. А тут подвернулся состоятельный аптекарь.

Циле ничего не сказала, но, я понял, обиделась. Даже кофе не готовила, что, наверно, означало, что я могу одеть пальто и убраться.

— Вы и правда мой дядя?— спросила Рима. На какой-то миг она показалась мне красивой: оказывается, красоте нужны эмоции. Правда, я не был уверен, относится ли к эмоциям любопытство.

— Да, Рима.

Девочка была слишком скромно одета. Я прикидывал, как бы все-таки оставить Циле денег.

Из трубы спиртового завода на другой стороне улицы поднималась струя серого дыма. Было слышно, как на вокзале пыхтят паровозы. Странный это был район: кладбище со своей тишиной и большими раскидистыми деревьями, аристократическая улица Траку, и тут же — спиртзавод, нищая Шяуляйская улица, вереница борделей на проспекте Витаутаса и шумная железная дорога.

— Муж дает тебе денег?— спросил я.— Ребенок-то его.

— Дает. Причем тут ребенок? Дает и мне. Мы ведь не разведены. Римуте, уложи свою куклу в кроватку, тебе совсем неинтересно, о чем мы разговариваем с этим господином.

«Хочет подчеркнуть, что мы совсем чужие,— подумал я.— И мы правда чужие. Ведь не обязательно мне надо было делать этот шаг примирения. Могла и ты вспомнить брата. Когда я едва сводил концы с концами в университете, у тебя всего хватало. Тогда ты обо мне не вспомнила».

Конечно, думал я тогда не такими гладкими фразами, как пересказываю сейчас, но смысл был этот.

— А разводиться ты не хочешь или он?— спросил, подавив злость.

— Он боится общественного мнения. А его общество— настоятель костела Кармелитов, два престарелых глухих врача, которые орут за столом, играя в преферанс, да несколько пожилых неврастеничек, которых он пичкает гомеопатическими снадобьями, сто процентно предохраняющими от смерти всегда и везде. У меня ведь есть сильный козырь: даже женившись на мне, он продолжал спать со своей служанкой. Мне это было даже удобно, я притворялась, что ничего не подозреваю. Думаешь, приятно, когда к тебе в постель лезет такой...— Она не закончила, может, испугавшись, что за дверью подслушивает дочка. Потом продолжила:— Он боится, как бы я не сообщила настоятелю или свихнувшимся докторам, что сбежала из-за его связи со служанкой. Поэтому и выкладывает деньги. И будет платить до самой своей смерти. Он ведь захочет, чтоб его похоронили едва ли не как святого.

— И все-таки он может тебя пережить.

— А мне все равно. Значит, я обеспечена до гроба.

— Что ж, я рад за тебя,— сказал я.— Если ты не возражаешь, я сводил бы Риму к портному или в магазин готового платья.

— Нет, нет. Святой Николай с подарками для сироток здесь не требуется.

— Должен ли я понимать, что вообще здесь нежелателен?

— Я этого не сказала. Наоборот, рада, что вспомнил сестру.

— Приятно. К сожалению, ты ни разу не вспомнила, что у тебя есть брат.

Нельзя сказать, что мы расстались друзьями, и, выйдя на улицу, я пожалел, что вообще пришел сюда. Ведь поклялся когда-то не переступить порог этого дома. Правда, в кармане я уносил толстую тетрадь — дневник отца, который Циле обнаружила за спинкой дивана. Видно, отец прятал там дневник от мамы, пока она была жива. Вручая мне дневник, Циле сказала: «Прочитай, может, поймешь, почему наша семья никогда не была дружной. Наверно, нас вообще нельзя называть семьей».

*

Оказывается, отец знал не только дебет слева да кредит справа.

Он вел дневник. Бисерным почерком педантичного бухгалтера и четко — до того четко, что одна буква смахивала на другую, а обе вместе напоминали третью, и поэтому мудрено разобрать, что написано.

Улегшись в кровати и включив радио (симфонический оркестр исполнял «Фантастический вальс» Берлиоза), я стал перелистывать страницы.

Интересно, почему этот педант до мозга костей не отмечал ни год, ни месяц, ни день? Были только дни недели: воскресенье, понедельник, четверг... Потом вдруг среда, конечно — уже следующей недели, а то и через два года.

Струнные инструменты игриво развивали довольно меланхолическую тему Берлиоза, и вдруг мне показалось, что я раскрыл секрет отсутствия дат (оркестр, перейдя на форте, старался изобразить веселье), разгадал главную тайну жизни своего отца: для него цифры имели смысл только в бухгалтерских книгах. А в календаре цифр не было. (Оркестр смолк, передавали сводку погоды: завтра в Каунасе пасмурно с осадками, температура — от трех до семи градусов мороза.) И вообще, время для него не существовало, существовали лишь дни недели, которые уходили и возвращались.

Не новые, но все те же. Если бы мой отец умел говорить формулами, он, пожалуй, первым доказал бы человечеству, что времени вообще нет, но физиком он был плохим, может, даже не знал, какова скорость света.

Ведь даже меняющиеся времена года были для него своеобразной каруселью, лошадки и кораблики которой, сделав круг, возвращаются на прежнее место.

Мальчик вытянулся, рукава пальто уже коротки, и сколько бы их жена не выпускала, они все равно коротки... А Каролис доволен и не жалуется, словно так и должно быть. Может, и не замечает этих рукавов... В прошлом году он стянул из моего кармана шестьдесят центов (когда просил у меня, я не дал). Потом я нарочно оставлял в карманах мелочь, проверял его честность. Не пропало ни цента. Только у нашей мамы несколько месяцев назад пропал лит, и то она не была уверена, могла и сама куда-нибудь засунуть. Боже мой, не пускать детей в кино, прилично не одевать их только потому, что не можешь свести концы с концами! Жена хотела бы работать, но ничего не умеет, а безработных в Каунасе все больше. Если б я умел воровать, то, пожалуй, махнул бы рукой на все десять заповедей, но... не умею я воровать. В нашем банке урвать денег в состоянии только директор банка, может, еще его заместитель, но не бухгалтеры или кассиры. А мне ведь кое-что известно о махинациях директора. И я должен молчать. Положение у меня безвыходное. А жена то и дело, когда не слышат дети, устраивает мне сцены, что я — неудачник. Все мои соученики, мол, лучше устроились, чем я. Ухожу в другую комнату и молчу. Упреки кончаются слезами жены. А то и без всякой причины не разговаривает со мной целыми днями. Иногда хочется повеситься, но страшно: представляю себя с высунутым языком. Мне-то будет все равно, но какое зрелище детям! И неизвестно, так ли уж легко умереть в петле! Никогда не был героем. Кончить самоубийством может только герой.

Я отложил тетрадь в сторону. Честно ли читать то, что человек писал только для себя и так тщательно прятал от других?

Инкрустации из слоновой кости в красном дереве имеют восково-желтый оттенок. Трупный цвет. Правда, висельники выглядят иначе. Вернулся ли рассудок к отцу перед тем как он покончил с собой? Если сделал это в своем уме — то считал ли он себя героем?

Листаю страницы — то же самое, только другими словами. Девочка стала барышней, а ходит в том же пальто, и заячий воротник облез, и надо менять ваталин и подкладку, зима холодная, а денег нет... И снова упреки и слезы матери. Когда нас нет дома или когда мы крепко спим...

И вот в какой-то из дней недели, — да, субботним вечером, — появляется другая женщина. Она не устраивает сцен и не проливает слез. Она стонет только от страсти, — ведь отец и мать уже давно не живут как муж с женой, а он-то остался мужчиной...

Закрываю тетрадь. И снова спрашиваю себя — честно ли читать исповедь другого человека самому себе? А к кому еще должен был бежать отец с исповедью? К канонику кафедрального собора? Пожаловаться ему, что нету денег?

*

Утром проснулся с тяжелой головой. Читал до глубокой ночи, снова и снова возвращаясь к тем же страницам. Потом крепко заснул, а ночью проснулся весь в поту, не понимая, кто я и где я. И долго еще не мог заснуть, проваливался в какую-то пропасть, и снова просыпался. Зажег в квартире все люстры и бродил по комнатам: по спальне с красным деревом и по приемной, где благородной желтизной напоминал о своей ценности орех. Подумал, что надо будет поменять мебель местами — это положительно действует на психику врача и импонирует больным. Красное дерево лучше подойдет в приемной, а восково-желтые инкрустации все равно не напомнят пациентам лиц покой-

ников. Я был неплохим психотерапевтом, умел внушить больным бодрость. А вот меня взбодрить было некому.

Отвлекся только в клинике профессора Хаберланда. В лаборатории некогда было думать о записках отца. И все-таки, подсчитывая формулу Шиллинга (как раз заметил в ней большое отклонение влево — надо будет тотчас же известить профессора), огорчился, что мы так и не поняли друг друга там, в доме, которого уже нет. Подумал: «Не наладить ли хоть с сестрой добрые отношения? Ведь никогда между нами их не было. А маленькая племянница — просто прелесть. Когда вырастет, никакого сходства с аптекарем не останется».

Потом осматривал больных, спрашивал у сестер, не кашляет ли кто-нибудь, золотым вечным пером заносил сведения в истории болезни. Вспомнил, как вернул своему бывшему свояку подаренный им когда-то «Паркер» — по почте, без сопроводительной записки. И старикан, надо думать, обрадовался. А вот мой отец не радовался, когда выдавал за него мою сестру, но тогда для отца существовал только один магический камень, который творил чудеса, и у отца не было этого камня, и у студента тоже, а у аптекаря был.

Я уже уходил из больницы, когда меня остановила старшая сестра — немецко-русский гибрид из белых эмигрантов. Звали ее Ириной, была она хороша собой, хоть и не первой молодости, и весьма набожная — все свободное время проводила в церкви. Это, кстати, не мешало ей игриво поглядывать на представителей мужского пола.

— Профессор приглашает вас, доктор.

— Спасибо, сестра. Когда же мы ходим в кино?

Разговор о кино был лишь частью нашего ритуала, потому что ее фильмы интересовали лишь столько, сколько меня — православное богослужение.

— Когда вам не с кем будет ходить, доктор Тулейкис.

— Зачем эти намеки, сестра! Чего хочет профессор? Ирина пожала плечами.

— Разве он нам говорит...

Я постучал в дверь из узорчатого матового стекла.

— А-а, это вы... Садитесь, коллега.

Сел. Не дожидаясь, пока заговорит шеф, доложил:

— Одна формула Шиллинга очень плохая, большой сдвиг влево. Об этом передал доктору Роберту Хаберланду.

— Сын говорил мне. Я не по этому поводу. Какие у вас счета с охранкой?

— Ужасные. Если б я мог...

Профессор прервал меня:

— Теперь могут они. Понимаете, они, а не вы.

— Моя личность вас компрометирует?

— Тулейкис, вы говорите так, словно не считаете меня достаточно честным или, хотя бы, недостаточно сообразительным.

Я молчал. Хаберланд прошелся по кабинету, остановился передо мной. Продолжил:

— Приходил такой... Значок показал, удостоверение... Требовал сохранить его визит в тайне. Интересовался, где вы были...— Он стал листать истории болезни.— Не помню даты. Болтал о какой-то субботе, а может, я ошибаюсь. Вот,— он протянул мне историю болезни.

Я вспомнил — в тот день меня везли к Старкусу. Не слишком ли хорошо работает охранка?

— Да,— ответил я. Никакое другое слово не пришло в мою голову.

— Я подумал, что вас в чем-то подозревают. Будь у них улики, они бы не стали спрашивать, а забрали бы вас. Само собой понятно, вы не подозреваетесь ни в убийстве, ни в воровстве.

— Может, в ограблении банка?— добавил я. Вспомнился отец. Вдруг на месте отца я бы просто ограбил банк?

— Словом, я сказал, что в тот день вы дежурили в больнице. И попросил этого типа больше здесь не появляться, иначе пожалуюсь его начальству. Однако на всякий случай сделайте записи в нескольких историях болезни. Задним числом, конечно. Это ваше алиби. У сестер и санитарок мозги куриные, они не пом-

нят, кто когда бывает на работе. И работа их не интересует. Думаю, у них не станут спрашивать, побоятся вас спугнуть. Может, послушаются моего совета и не станут совать сюда носа. Занятная вы птица, доктор Тулейкис.

— Весьма занятная. Но с подвалами охраны как-то довелось познакомиться.

— На приверженца Вольдемараса вы не похожи. На коммуниста тоже: любите роскошь. Сужу по тому, как одеваетесь.

— Значит, вся эта история — чистое недоразумение.

— Оставляю вас в кабинете. Чем больше сделаете записей, тем лучше. Где есть свободное место, там и фантазируйте. «Состояние больного без изменений», подпись, дата. Удачи вам.

Возвращаясь домой, слежки за собой не заметил. Но тревога снова начала мучить меня. Не страх даже, а тревога. Неприятно думать, что каждый твой шаг может оказаться под контролем.

«Надо почаще бывать у Чарли,— решил я.— Этого богача никто не заподозрит в левизне».

Мысленно говорил о Чарли, а воображение рисовало Ирену.

Двенадцатого марта 1938 года Ирене исполнилось девятнадцать лет.

Об этом мне сообщил изящный билетик, приглашающий на скромный ужин в зале «Трех князей» ресторана «Метрополь».

Слова «скромный ужин» означали, что стол будет ломиться от самых дорогих блюд и не менее дорогих напитков. Чарли был скуп и, как все скупцы, любил иногда щегольнуть своей щедростью.

«По случаю дня рождения Irene Cooper...»

Моя фамилия на приглашении и адрес на конверте были надписаны рукой Ирены. Вполне вероятно, что она пригласила меня, не посоветовавшись с братом. Я раздумывал — идти или нет. Не так уж приятно видеть удивленные взгляды Чарли, Уолтера и этого приживалы Джима — «зачем притащился этот человечек». Я был достаточно зажиточен, чтобы они даже мысленно

называли меня нищим. Но по сравнению с ними я был всего лишь бедным человечком. По сравнению с Куперами, конечно. Джим был только хорошо натасканным псом, научившимся говорить по-человечески, и кости сменивший на шницеля и ромштексы.

Приглашение на «скромный ужин» я получил за восемь дней до него.

Приняв пять пациентов, я побежал к самому знаменитому каунасскому портному. Может, он и не был великим мастером, но драл с клиентов больше, чем другие.

Дверь ателье с улицы была на замке, но сквозь витрины сочился свет.

Я свернул во двор.

— Уже не работаем,— сказал мне подмастерье.

Сунул ему в руку два лита.

— Пропусти меня к господину Римше.

— Не примет. Сегодня суббота.

— Ты оставайся здесь, я сам с ним потолкую. Где твой хозяин?

— Считает деньги. Он вас выгонит.

— Не твоя забота.

Господина Римшу я нашел сам. Он сидел за столом, заваленным рукавами, еще не пришитыми к пиджакам, жилетам, белеющими меткой и изрисованными мелом, рулонами подкладного шелка, а в руках держал пачку хрустящих ассигнаций. Деньги на самом деле хрустели,— увидев меня, господин Римша перестал считать, но еще мял ассигнации между пальцами.

— Как вы сюда попали?— спросил он грубо и, пожалуй, немного испуганно.

— Пришел пополнить вашу кассу, господин Римша. Ни в коей мере не опустошить ее.

— Клиентов я принимаю с Лайсвес аллеи,— сказал он.— Тот, кто впустил вас — будет наказан.

Он говорил не как каунасский портной, а как римский император.

— Оказывается, я ошибся. Мне нужен портной Римша. А вы, видимо, прокурор? Тогда простите. Кстати, меня никто не впускал, я ворвался силой.

— Вы помешали мне считать деньги,— немного покладистее сказал Римша. Видно, его одолели сомнения— а вдруг я новый инспектор по труду, которому он еще не успел дать взятки, или еще черт знает кто.

Я достал бумажник из хорошей английской кожи, подарок счастливой пациентки профессора Хаберланда; пациентка была женой фабриканта гвоздей и была благодарна всему миру за спасение ее жизни. Принимая подарок, я не мог ей сказать, что опухоль не удалена, и в лучшем случае ей осталось жить два года. Что ж, женщина была старая, а два года в таком возрасте — тоже подарок судьбы.

— Приложите к своей пачке еще две сотни. Авансом.— Сложил деньги вдвое и бросил на стол с обметанными жилетами, поближе к господину Римше.— Фрак должен быть готов к утру двенадцатого марта. Вечером я иду на банкет к одному миллионеру.

Господин Римша не притронулся к деньгам.

— Это невозможно. Вы не знаете, сколько у меня заказов. Я шью фрак художнику, который женился на сестре адъютанта президента. А адъютант президента на дочери самого президента. Вы считаете, что этот художник хуже вас?

— Считаю, что да. Только потому, что он скверный художник. Покосившиеся обомшелые избушки и желтокошая литовка с коромыслом и ведрами. Он даже коромысло не умеет нарисовать, не говоря уж о литовке.

— Он платит деньги.

— А я заплачу на полсотни больше.

— И ни к какому миллионеру на банкет вы не пойдете. Ни Вайлокайтис, ни Ичас, ни братья Френкели в эти дни банкетов не дают. Кому-кому, а уж мне известно, у кого когда праздник.

— Ничего вам неизвестно. Про Куперов слышали?

— Американцы?

— Они.

— Да какие они миллионеры... Хотя денег у них во сколько,— Римша поднял большой палец вверх и показал, сколько у Куперов денег, а потом присоеди-

нил мои ассигнации к своей пачке.— Видите ли, если б это состояние принадлежало одному человеку...

— Вайлокайтисы тоже братья.

— Но братья! А тут два молодых Купера и их дядя. А еще сестра! А мать! Капитал не в одних руках. Это уже не то.

— У молодых Куперов огромный дом на улице Кястутиса,— сказал я.— Без никакого дяди.

— Знаю. Но кинотеатр — с дядей, дом у вокзала, где этот большой бордель, тоже с дядей; дом у собора и дачи в Лампеджяй — тоже с дядей. Конечно, деньги немалые. Не то что у нас, бедных ремесленников.

— Вы, господин Римша, один из самых богатых людей в Каунасе.

— Может, вы пересчитывали в банке мои деньги?— Он потряс пачкой банкнотов.— Все эти медные гроши заработаны собственными руками, моим кровным потом, любезный господин. Начинал с простого подмастерья. Когда мне разрешили утюжить клиентам брюки, я думал — это уже вершина карьеры. Когда другие играли в бильярд в кафе Перковского или жрали шницели в «Божегряйке», Римша шил все это,— он показал мне на стол, заваленный незаконченными костюмами.— Господь наградил Римшу легкой рукой и вкусом художника, и не завидуйте, если он зарабатывает немного больше, чем рядовой портной из Шанчяй. А теперь снимите пальто. И пиджак. Раз уж фрак, то фрак, сможете в кинотеатре во время дивертисмента танцевать танго «Аргентина», и даже если вы не делаете ни единого шага, вам будут рукоплескать за фрак.

— Танго без партнерши?

— Этого я не говорил. Римша шьет своим клиентам лучшие фраки, лучшие смокинги и лучшие костюмы. А красивых девушек предлагают шоферы такси на улице Даукантаса.

Он снял мерку с груди, талии и рук.

— Благодарю, господин Римша. Двенадцатого марта я заберу. С утра.

— Если господин президент меня упрячет в тюрьму за то, что я не сшил вовремя фрак родственнику его зятя, скажу, что вы заставили меня силой.

— Обязательно. Только у господина президента забот и без того хватает. И в тюрьмах не нашлось бы места для господина Римши. Тюрьмы набиты битком.

— Лучше без политики, господин клиент. Не такие нынче времена.

V

Зал «Трех князей» не приспособлен для слишком многочисленных банкетов. Но его стены, по-видимому, такие же резиновые, как у всех ресторанов мира. И хотя людей собралось масса, для всех нашлось место у главного стола и боковых столиков.

Сомнения, охватившие меня утром, когда забирал фрак, что окажусь в единственном числе, рассеялись. Во фраках пришли многие. Я не знал их, они — меня, и это было хорошо.

Хозяева, как и положено американцам, оказавшимся в Европе, оделись пестро. Чарли в иссиня-фиолетовом костюме, клетчатой рубашке и при бабочке; Уолтер в пиджаке канареечного цвета и зеленых брюках; только Джим, как это ни странно, был в смокинге. Может, потому, что, как ни крути, он был только слугой богатых господ, а слуги всегда одеваются в черное?

Ирена была одета очень элегантно, и — сам не знаю, почему — я был благодарен ей за это. Платье из голубого шифона подчеркивало ее стройный стан, еще детский — и уже женственный. Серебристые туфельки на высоком каблуке и такая же сумочка свидетельствовали о хорошем вкусе.

Странно, что человек, не ведущий дневника, вроде меня, спустя многие годы вспоминает незначительные детали (не так уж важны были для меня зеленые брюки Уолтера или клетчатая рубашка Чарли). А вот о чем я говорил с господами в таких же фраках, как у меня, вылетело из головы.

Но не забыл, как меня встретила Ирена.

— Как хорошо, что ты пришел!— воскликнула она, едва я показался в дверях.— Ведь никогда не знаешь, что тебе взбредет в голову. Ты — человек с фантазией.

— Судя по тому, как одеты твои братья, фантазия на их стороне. Я чувствую себя кельнером на банкете миллионеров.

— Сегодня не день рождения моих братьев. И не они здесь хозяева. Из них так и прет фантазия, кажется, весь зал взорвется.

— А все эти господа тоже твои гости?

— Не придирайся, Каролис. Единственный мой гость — ты.

— Надеюсь, братья этого не знают.

— Оставь ты их в покое наконец!

— Ладно. Но запомни: Чарли не желает, чтоб мы дружили. Не показывай так неприкрыто своего внимания.

Ирена нахмурилась. Она знала, что я говорю правду.

Я вдруг остолбенел. Бросив взгляд в сторону Чарли, я понял, что господина в смокинге где-то уже видел.

Узнал его.

Тадас Стасюкайтис!

— Ирена,— начал я. Хотел сказать: «Не останусь ни на минуту. Здесь находится подлец, который избивал меня ногами. Не могу поручиться, что после нескольких рюмок коньяку чего-нибудь не выкину».

Но слова куда-то делись, в голове возник вакуум, полная пустота, а Ирена подвела меня к госпоже Купер, в прошлом Купрене, и я говорил какие-то пошлости, наверное, комплименты, потому что мама Ирены любезно улыбалась. Она отчаянно сражалась со старостью, да и не была такой уж старой. Ей было под пятьдесят, но и столько не дал бы. Розовый костюмчик в поясе украшал огромный бант в розовый горошек; да, такую маму еще можно прибыльно выдать замуж; наверно, Чарли уже предвидел такую возможность. Выдать за конфетную фабрику, дела которой идут блестяще, или хоть за хорошо оборудованную шерстече-

сально,— Чарли не гнушался ничем, что могло увеличить в его кармане число «зелененьких». (Чарли часто так называл доллары, и — сам не знаю, почему — эти «зелененькие» в его устах приводили меня в ярость.)

— Пойдем с нами,— сказала мама Ирены, я хотел возразить, что не пойду, ведь там Тадас Стасюкайтис, но мысли снова рассыпались в отдельные слова, которых я не мог связать воедино.

Но меня потащили (конечно, не в физическом, а в моральном смысле) в противоположный угол, точнее, не в угол, а под огромных размеров портрет какого-то князя, где стоял сухонький старичок, облаченный в скромный черный костюмчик.

— Дядя Ирены,— сказала госпожа Купер,— брат моего светлой памяти мужа. Они с Чарли теперь компаньоны.

— Я слышал, вам принадлежит половина Каунаса,— сказал я.— Если не половина, то четверть.

Пронзительный и насмешливый взгляд старика устался на меня, и в этом взгляде я увидел больше сообразительности, чем в глазах Чарли. (Чарли и Стасюкайтис в этот миг исчезли у меня из виду, и это сразу подняло мое настроение.)

— Вскоре мне будут принадлежать два метра. Два метра в длину и метр в ширину. Хватило бы и меньше, но ведь надо еще поставить лавочку, чтоб удобней было проливать слезы дрожащим родственникам.

— Не слушай, Каролис, его болтовни. Он так говорит, а сам надеется всех нас пережить. Как доктор, можешь даже по лицу определить, что он здоров как бык.

Я поискал взглядом Ирену, которая куда-то исчезла. Что ж, у хозяйки хватало забот и кроме моей драгоценной персоны.

— Так ты, значит, доктор?— спросил старичок.

— Да, врач.

— В Америке ты бы загребал сто тысяч долларов в год. Если бы везло. А здесь, в этом нищем крае?

— Не голодаю. Но ведь вы вернулись в Литву, хотя и там дела у вас шли неплохо.

— Здесь у меня тоже идут неплохо.

Госпожа Купер ушла к другим гостям. А я беседовал с этим старым богачом и думал, как бы от него избавиться. Откровенно говоря, мне хотелось удрать домой.

— Кажется, начинают рассаживать за стол,— сказал я.

— Люблю докторов,— заметил старичок.— Давай садись со мной. А то еще подсядет какой-нибудь мелкий банкир. Я пришел вкусно поесть, а не делать бизнес.

«Ну, пропал»,— подумал. И тут же решил, что оно к лучшему. Тадас Стасюкайтис не сядет рядом с этим старичком, в этом я почему-то был уверен. Но на всякий случай заметил:

— А здесь не только банкиры. Чарли приглашал и полиции.

— Дело полиции — стеречь имущество, а не ходить по банкетам,— грозно заметил старичок.— Но Чарли волен делать что захочет. Я не могу ему запретить. Мы с тобой усядемся подальше и от Чарли, и от полиции.

Подумалось, что я, как знаменитый шахматист Владас Микенас, вовремя сделал рокировку и оказался в стороне от вражеских фигур. Пристроился по левую руку старичка. С другой стороны от меня сидела холеная дама; трудно было определить ее возраст без тщательного исследования.

— Я тебя кое о чем спрошу, а потом пришлю чек,— сказал старичок, когда мы уже сидели и накладывали на фарфоровые тарелки лососину и икру.— Не люблю ничего получать даром. Ты платишь мне, а я — тебе. Скажи, что делать, если все время пучит живот? Вот и сейчас. А портить воздух не принято и на родине. Я хотел сказать, здесь.

— А в Америке?

— Тоже нет. Но когда я сидел в тюрьме...— Он осекся, потому что слова, видно, сорвались неожиданно для него самого.— Э, это было давно. Там мы спо-

рили, кто громче. И знаешь что? Весело было, не то, что за этим столом.

Начались тосты: первый, разумеется, в честь именинницы. Говорил какой-то представительный господин, тоже во фраке, но руками он размахивал, как мельница крыльями. Я вспомнил проекты своего отца и загрустил.

Дядя Чарли оказался наблюдательнее, чем можно было ожидать.

— Чего нос повесил, доктор? Весело или грустно — смейся! Американская привычка.

— Я не американец. Но и на вашем лице не вижу улыбки.

— Я ржу как лошадь, только про себя.

— Вам весело?

— А как думаешь? Вот Чарли, например, надеется, что я скоро протяну ноги, и все мои денежки отойдут к нему. Хотя и сейчас у него не меньше моего. А он даже ломаного цента не получит. Надеюсь, не передашь ему? И я смеюсь как лошадь. Только не проболтайся.

— Немного у нас с ним общего языка.

— Вижу, голова у тебя на плечах. Тогда почему он тебя пригласил?

— Не он, Ирена.

— Айрини! Она тебе нравится?

— Она всем нравится, господин Куприс. Простите, Купер.

— У этого худосочного старикашки, что сейчас размахался за столом, есть кусок торфяника у Палемонаса, жена, которая дает каждому, кто вежливей попросит, и сын, ровесник Айрини. Он надеется, что Айрини — пара для его сына. Но Чарли не такой дурак, хотя думает про себя, что умен, как президент Джефферсон.

Владелец торфяника и сына закончил свою речь. Госпожа Купер плакала — господин во фраке подобрал самые чувствительные и банальные словечки. Мы с дядей Чарли чокнулись и выпили до дна.

— Иногда стоит проявить внимание и к своим соседкам, не только к богачам,— негромко произнесла дама слева от меня.— Я как раз жена этого старикашки, которая дает всем, кто вежливей попросит. Кажется, так выразился ваш толстосум? Ну, он немножко сгустил краски.

— Что ж, он вас не узнал, мадам. Разрешите предложить вам заячьего паштета. Или маринованных грибочков?

— Индюшатины с маринованными сливами. Вы не считаете, что после горячих блюд стоило бы перебраться в «Версаль»? В индивидуальном порядке, конечно.

Я окинул взглядом даму. Выглядела она прелестно, как двадцатилетняя, хотя была раза в два старше.

— Ненавижу «Версаль»,— искренне признался я.— С ним связаны весьма неприятные воспоминания. Однажды после «Версаля» меня крепко били.

Что я тоже дубасил дрекольем корпорантов, умолчал.

— В Каунасе хватает и других мест,— пошла на компромисс соседка.— А воспоминания надо сохранить только приятные. Единственная бессмертная штука на этой земле. Бессмертная настолько, насколько и сам человек. А это не так уж мало.

Мой богач ткнул меня локтем.

— Кто она? Вроде ничего.

Я тихо объяснил, кто эта дама.

— Ну и попасть же так!— сказал дядя Чарли.— Впрочем, вижу, она не очень-то обиделась. Смешно, а?

— Ужасно.

— Если хочешь, не теряйся. Только, пока с ней не сбежал, скажи, почему ни с того ни с сего начинает болеть поясница?

Снова звякнул нож о хрустальную рюмку.

Заговорил Чарли.

Видно, он уже немало выпил, потому что его глазки мало отличались от глаз китайца Альгирдаса Урнежюса.

— Господа и дамы!

Его мать поправила:

— Дамы и господа.

— Один черт. Барышни, дамы и господа! Мы уже поднимали бокалы за мою сестричку, за нашу маму и за гостей, которые оказали нам честь своим присутствием.

— Думает он иначе: «Которым я оказал честь присутствовать здесь»,—довольно громко буркнул дядя Чарли.—Надеюсь, ему не вздумается говорить обо мне. Я-то сам знаю, что должен о себе думать.

— В этой почетной компании есть три друга, три мушкетера из...—он подумал,—из веселого американского фильма. Годы и необъятный океан разделили нас, но мы снова оказались за одним столом.—Я наполнил свою рюмку, подумал, что это невежливо, и налил соседке слева и дяде Чарли. Выпил украдкой и налил себе еще.—Три школьных друга, которые перешагнули через трудные алгебраические задачи и сочинения Цезаря и получили почетные аттестаты об окончании гимназии. Разумеется, я не могу предлагать выпить за себя, но приглашаю поднять бокалы за моих любимых друзей! За наши аттестаты зрелости!

— Даже прослезился,—шепнул мне старый богач.—Ты этим слезам не верь, там капает бренди. Вы ее называете коньяком.

В зале «Трех князей» грянули такие мощные аплодисменты, что было ясно—никого из гостей не интересовали какие-то аттестаты зрелости; эти бумаги ведь не приносили дивидендов.

Когда хлопки стихли, слова попросил я.

— Браво!—крикнул Чарли.—Один из мушкетеров уже отозвался!

— Дамы и господа!—начал я.—Приятно, что меня признали мушкетером, хотя я никогда не держал в руке шпаги. Но не это я хотел сказать. Чарли произнес волнующую речь, о чем свидетельствуют слезы. На его глазах.—Заметил, как сверкнули золотые зубы богача, он впервые рассмеялся не только про себя.—И все-таки я предлагаю этот тост немного изменить. Аттестаты зрелости получили только мы двое: Чарли и я.

И за эти два аттестата я предлагаю выпить. В этом зале больше нет людей, которые кончили гимназию вместе с нами.

— Как это, Каролис!—взревел Чарли.— Неужели ты не узнаешь Тадаса Стасюкайтиса? Своего лучшего друга?

— Это совсем другой вопрос,— сказал я подчеркнуто холодно.— Ты предлагал выпить за наши аттестаты зрелости. И я утверждаю, что только мы одновременно их получили. Ты и я. И за это я предлагаю тост.

Стоя выпил рюмку до дна. Видел, что моему примеру последовало и большинство гостей. В сторону Чарли и Стасюкайтиса (они сидели рядышком) я даже не посмотрел. Я был взбешен и не хотел, чтоб мой яростный взгляд видел Стасюкайтиса. Не боялся его. Просто хотел, чтобы он понял, насколько я его презираю.

Думаю, понять это было нетрудно.

— Дело полиции стеречь имущество, а не сидеть за банкетным столом,— сказал дядя Чарли.— Ты сказал хороший спич. В Америке ты, как доктор, зарабатывал бы сто тысяч в год.

VI

Наверно, после своей речи я опрокинул еще несколько рюмок, и поскольку обычно не употреблял спиртного, этого мне хватило. Все, что происходило потом, помню как в тумане. Одно только врезалось в память: желание незаметно улизнуть с этого базара разряженных во фраки меринов. Потому что и я, не только дядя Чарли, смеялся про себя, как лошадь. Малости не хватало, чтоб я запустил через весь стол бутылкой в Тадаса Стасюкайтиса, надеясь, что попаду прямо в его ненавистную харю. Помню, что собирался сделать это. Увидел, что он разговаривает с Иреной, и понял: нечего с ним цацкаться. А ведь для ревности не было повода! Просто я считал, что сама его беседа с Иреной унизила ее, оскорбила, изнасиловала, и моя ненависть возвелась в куб.

А утром проснулся с ненавистью к самому себе. Испытал даже уважение к пьяницам, которые с такой головой просыпаются каждый день и тут же бегут пропустить новую рюмку. Но поиски удовольствия ценой такого паскудного психического состояния!

И звонок у дверей, и появление Ирены показали мне продолжением пьяного бреда.

— Ты вел себя по-скотски,— сказала Ирена. Пальто она сняла уже в комнате и швырнула его на подлокотник кресла.

— Неужели в Америке такие слова заменяют «доброе утро»?

— Оставь ты, наконец, Америку в покое,— сказала Ирена со злостью.— Становишься неоригинальным.

— Оригинальных людей вообще нету. Вот ты повторила мне то, что уже говорила мне Анита. Каждый кого-нибудь дублирует. Тысячи людей размышляют одинаковыми понятиями и реагируют одинаковыми словами. Со сотворения мира минуло много времени. Современные люди сотворены на конвейере, как на автомобильном заводе «Форд».

— Господи, как ты безнадежен, Каролис!

— Безнадежно глуп?

— Этого я еще не сказала.

— А ты правда изумительно похожа на Аниту. Не внешностью, конечно. Ты моложе и красивее.

— Но у нее был талант. Об этом ты мне уже рассказывал.

— Может, проявятся и твои таланты. Но стиль мышления у вас одинаковый.

— Не очень-то приятно мне чувствовать себя дубликатом другой женщины. Кстати, откуда тебе известно о моем стиле мышления?

— По твоим словам. Если ты говоришь то, что думаешь.

— Это не обязательно. Многие думают одно, а говорят другое.

— Случается, Ирена. Например, твой брат. Он презирает Стасюкайтиса, тот ведь — чинуша, полицейская крыса, по сравнению с которым и я богач. А Чарли

уважает только богатых. И вдруг — тост в честь Стасюкайтиса!

— И в твою.

— В мою — постольку поскольку. Чтобы затушевать это подхалимство к Стасюкайтису. Что натворил Чарли, если ему понадобилась помощь полиции?

— Уолтер.

— Что Уолтер?

— Натворил. И тебе не стоило швырять через весь стол бутылкой в Стасюкайтиса.

— Я не швырял!

— Ты швырял.

— Ирена, клянусь тебе, я не швырял! Я только хотел швырнуть, но сдержался.

— Швырял и попал. Хорошо еще, что не в голову, а в плечо. Облил даму, которая сидела рядом.

— Рядом сидел Чарли.

— И госпожа Герута Касаускене. И хотя платье у нее было из красного бархата и вино красное, пятна, как тебе известно, остаются. Так не поступают даже там, где не уважают хозяев.

— Хочешь сказать, что я не уважаю тебя?

— Именно это я и хочу сказать, Каролис. За тем и пришла. А теперь позволь попрощаться.

— Ирена,— я встал между ней и дверью,— будь оно даже так, а, наверно, оно так и есть, можно ведь простить человеку, мозги которого ваше гостеприимство размягчило алкоголем?

Я почувствовал, что она оттаяла, хотя лицо оставалось таким же грозным.

— Если хочешь, проводи меня. Я пешком. Мороза всего градуса два. С крыш капает. Весна, правда? Я не очень-то разбираюсь в вашем климате. Успела обамериканиться.

Мы не пошли к ее дому, а свернули по улице Кястутиса в противоположную сторону. С Немана, как и во все времена года, кроме лета, дул ветер, а на этот раз даже довольно-таки пронизывающий.

— Что же случилось с Уолтером?— спросил я, когда мы молча прошли порядочный отрезок набережной до улицы Канта.

— Не хочу об этом говорить.

— Но ведь за тем и пришла. Не для того, чтоб разругаться.

— Разругаешься, и легче.

— Когда расскажешь, станет еще легче. Психокатарсис, очистка души. В Америке психоанализ в моде, и стоит больших денег, а я даю сеансы бесплатно. Свернем на Лайсвес аллею. У реки холодно, а на Неманской улице — проститутки.

— Еще не подчистили?

— Что? Улицу, проституток или так называемые низкие инстинкты? А может — социальное неравенство?

— Агитируешь? Я же капиталистка. Только неясно, какой из тебя социалист. Живешь роскошно, зарабатываешь много и только языком болтаешь. Таких, как ты, Каролис, называют салонными коммунистами.

— Никогда я не был коммунистом. И в салонах бываю только в день рождения красивых девушек.

Словом, с самого прихода Ирены мы оба несли какую-то чушь, иногда изображая ссору. А ведь Уолтер на самом деле где-то увяз, если Чарли понадобилась даже помощь полиции. И это еще не выплыло наружу, иначе Уолтер не присутствовал бы на банкете.

— Ты ведь никуда не торопишься,— сказал я.— Могли бы посидеть в кафе.

— Дом на военном положении,— сказала Ирена.— Чарли ввел диктатуру. После банкета они с Джимом избили Уолтера и заперли его в квартире. Могли бы и не запирасть, с фонарями под глазами тот никуда не сунется. Странная у нас семья, Каролис.

— Брось ее.

— Каким образом? Ты самостоятельный, тебе хорошо. А я тоже хочу быть богата.

Я бросил взгляд на Айрини. Она шагала рядом, как спортсменка, балерина и пантера в одном лице. Оберегать ее надо. От Чарли и от нее самой, иначе эта пан-

тера сожрет и ее. А мать — безвольный манекен, оружие Чарли. Мать ее не спасет.

— Ирена, — сказал я. — Ты приехала из мира больших гангстеров в мир гангстеров маленьких. Литва тоже не рай, хотя по сравнению с Америкой она кажется тебе садами Эдема. Ягненок здесь не отдыхает рядом со львом, и большие рыбы глотают маленьких. Надо, чтоб тебя кто-нибудь опекал. Беспрестанно. Ты слишком хрупка для реального мира.

— И судьба послала тебя моим опекуном. Так вот что, дружище. Я — не фарфор, что красуется в твоей горке. Я из иридия, а это чертовски прочный металл. И дорогой. Опекать надо мою маму, без меня ее раздают. Неважно кто — сыновья или не сыновья. Все это называется жизнью. Мне только девятнадцать, но я жестче тебя и больше понимаю. Я не могу все бросить и подняться на шведском лифте в твои сады Эдема с мебелью из красного дерева. А ведь ты мне, пожалуй, нравишься. — Она произнесла это почти лирически, а потом добавила жестко, даже сурово: — Чарли хочет распоряжаться семейным капиталом. Как библейский первородный сын. А когда речь заходит о золоте, семейные узы слабее бумаги чековой книжки. Неужели ты думаешь, что я все оставляю для Чарли?

— Вот в этом ты не похожа на Аниту, — сказал я. — Она презирала богатство.

— Европейка. Совсем другой мир.

Я даже не уловил, с презрением она произнесла слово «европейка», или просто констатируя факт. Да мне и надоели эти рассуждения.

— Ты не сказала главного, Ирена. Что же натворил Уолтер?

— Изнасиловал дочь нотариуса Даргужаса.

— Ничего себе. А зачем понадобилось насиловать? Она ведь с ним дружила.

В воображении промелькнули хрупкая блондинка с бледным лицом и рядом с ней — атлетический бычок, потому что голова Уолтера отличалась от бычьей только внешне, а не психическими свойствами. Если у Уолтера и были рога, их скрывали густые кудряшки.

— Дружила потому, что хотела выйти замуж. Но дружила по-американски, как наши девушки — обьятия, и не больше.

— Вся беда, Ирена, что Уолтер тоже дружил по-американски. Только он не девушка.

— В Штатах Уолтер не вышел бы из тюрьмы.

— А здесь?

— Тоже посадят. Может, ненадолго. Чарли подкупит судебных экспертов, чтоб его признали психически ненормальным.

— Это не так уж просто, — сказал я. — Проще было бы подкупить жертву. Или купить. Иначе говоря, жениться на ней.

— Сейчас она лежит в психиатрической больнице, — сказала Айрини. — Шоковое состояние. Это опасно?

— По-разному бывает. Думаю, все обойдется.

— А о свадьбе девушка не хочет и говорить.

— Значит, она в своем уме, — сказал я. — Но почему Уолтер на свободе? Может, мой вопрос и бестактен — тебе это больно, а раны принято не беречь.

— Даргужас еще не подал официальной жалобы. Чарли хочет откупиться деньгами. Даргужас требует женитьбы. Заколдованный круг...

— Да, — сказал я. Мне не было жалко ни Уолтера, ни Чарли, но я жалел Ирену. — И все-таки безвыходных положений не бывает.

— Знаешь, что Чарли сказал матери? Лучший выход, если бы Уолтер покончил с собой. Тогда уж никто не возбудил бы против него дела. Чарли сказал это, конечно, в шутку, но у мамы начался припадок. Мы вызвали врача. Еще лучшего, чем ты.

— Приятно, что ты не теряешь чувства юмора. Даже в несчастьи.

Разговор об Уолтере прервался. Мы замолчали, словно сговорившись. Не замечали ни прохожих, торопящихся куда-то, даже солнечные лучи на лице почувствовали только молча пройдя длинный путь. Термометр, прикрепленный у пекарни, торгующей турецким хлебом, показывал плюс один градус.

По тротуарам сновали газетчики. Продавцы постарше несли кипы газет молча, совали центы в карманы своих потрепанных пиджаков и опять, все так же молча, пытались всучить прохожему газету. Ребятишки орали во все горло:

— Австрия присоединена к Германии! Германские танки окружили Вену! Гитлер прибыл в Линц!

— Слышала?— спросил я. Шли мы молча, и мне показалось, что мы поссорились.

— Это ваши европейские дела.

— Имущество твоей семьи тоже в Европе.

— Неужели, Каролис, ты так наивен, что ждешь Гитлера?

— Я-то его не жду. Но господин президент или хотя бы некоторые из его приближенных наверняка ждут. Однако весьма непатриотично объявить об этом народу.

— Бессмыслица.

— Ошибаешься, Ирена. Таутининки думают, и в этом они не ошибаются, что только германские танки в состоянии спасти их от народного гнева. Ты, может, не знаешь, что происходило в Сувалкии. Наконец — беспорядки в самом Каунасе.

— Пусть даже германские танки. Неужели ты хочешь, чтобы законное имущество людей досталось нищим?

— Сейчас твоими устами говорят все Куперы. Что ж, может случиться и такое. В Испании фашисты тоже берут верх, хотя неделю назад республиканцы потрепали флот франкистов у Картагены. Но это уже последняя победа республиканцев. Фашисты побеждают на Арагонском фронте. И всюду. Тем хуже для нас. И тем лучше для капитала Куперов.

— Если б не знала, что ты сам копишь деньги, донесла бы на тебя охранке.

— Ты могла бы так поступить, Ирена?

— Не знаю. Если бы возникла угроза для моего имущества — конечно. Но пока что мы сами нуждаемся в благосклонности полиции.

— Из-за Уолтера?

— Да. И ты все испортил той бутылкой, которой попал в плечо следователю.

— Как же мне искупить свою вину?

— Попросить прощения у этого следователя.

— У Стасюкайтиса? Нет. Перед человеком, который месил меня ногами, извиняться не стану.

— Ты же сам говорил, что в охранку попал по ошибке.

— Но месили меня не по ошибке.

— Кстати, этот Стасюкайтис намекнул, что мог бы уладить все дело при одном условии. Даже без твоих извинений.

— Десять тысяч литов?

— Нет. Моя рука. Я ему нравлюсь.

Это было слишком комично, чтоб я мог рассмеяться.

— Боюсь, ты замерзнешь, нежный американский цветок. Да и мне пора домой. К пациентам. Я не Чарли, у меня нет гостиницы с девицами, которые бы меня содержали. И насчет тебя могу быть спокоен: дешево тебя Чарли не продаст. Ты стоишь десять Уолтеров и десять миллионеров.

Это я сказал, конечно, зря. Захотелось обидеть Ирену. И обидел.

Она повернулась и, даже не простившись, перешла на другую сторону улицы. Все же я крикнул через мостовую:

— Айрини, звякни! Я ведь пошутил.

Теперь, оставшись в одиночестве, я заметил, что небо голубое как в разгар лета; а была только середина марта. Снег на крышах почернел, вода струилась между кучами счищенного с тротуаров снега.

В свои сады Эдема на лифте поднялся один. Но что за рай без женщины? «Странная эта Айрини,— подумалось,— ей нужно золото». Неужели и я заражусь этой страстью накопительства? Деньги ради денег?

В ожидании первого пациента принялся листать газеты. Воззвание Гитлера, которое прочитал по герман-

скому радио Геббельс. «С сегодняшнего утра на всем протяжении германо-австрийской границы ее пересекали воины германской армии: бронетанковые части, пехотные дивизии и части СС — по земле, а военная авиация — по голубому небу...»

Значит, там тоже голубое небо. Такое же, какое я вижу в окна моего небольшого апартамента. Только здесь — без самолетов. Зато здесь Уолтер насилует дочь нотариуса. Насилует? И это... еще неизвестно. Может, просто шантаж этой девицы. А там, дальше на Запад, насилуют целые государства. Везде насилие и террор. Сколько это еще будет продолжаться? Может, Старкус знает об этом? Даже он не знает. А мне так никто и не сообщил о его здоровье. Значит, все в порядке.

Ноздри щекочет едва уловимый запах. Я долго не могу понять, что это, хотя в подсознании выплывают и луга моего детства, и палисадники под окнами на даче. Наконец догадываюсь: духи Ирены! У Аниты были другие. Но и Анита была другая.

Сажусь в кресле, гляжу в синее мирное небо и размышляю, что в гибком теле Ирены, в ее то зеленых, то голубых глазах, казалось бы, созданных только для любви, могут таиться совсем другие страсти. А сегодня глаза у нее были зеленые. Меня одолевает дремота. У кого еще такие глаза? Ах, у Аусмы, жены молодого хирурга Роберта Хаберланда, которая жаждет любви, потому что муж ею не интересуется. Глаза куда-то исчезают, вспыхивает большая зеленая лампа. Изумрудная лампа в деревне у Шештокай! Керосиновая лампа Антоси. Раздаются шаги — сейчас войдет отец и начнет объяснять, как очистить воздух в Каунасе.

Звонок у двери. Я просыпаюсь от короткого сна. За дверью терпеливо дожидается первый сегодняшний пациент. В клинику профессора Хаберланда пойду вечером. Буду работать там почти до полуночи. А Куперы пускай сами расхлебывают кашу, которую заварили.

VII

Уже несколько дней Ирена не звонила мне. И я ей. Конечно, обоим хотелось это сделать. И оба надеялись, что первый шаг сделает другой.

Однажды утром я собирался, как всегда, в клинику Вольфганга Хаберланда, и еще не успел одеться, как вдруг особенно остервенело зазвонили у двери. Я уже побрился и, стоя перед овальным зеркалом в раме из красного дерева, втирал в лицо крем. Рама была инкрустирована слоновой костью, и я смахивал на миниатюру из прошлого или более дальнего столетия. Конечно, в увеличенном и модернизированном виде — без шпаги на боку и без рубашки с кружевами.

Открыл дверь. Удивился: и не Ирена, и не ранний пациент, промучавшийся всю ночь из-за мнимой (а может, и настоящей) болезни.

В дверях стоял Уолтер. Кажется, он даже не был пьян. Бросалась в глаза несвойственная этому здоровяку бледность щек.

— Каролис,— сказал он доверительно,— никто не видел, что я к тебе пришел. И никто не должен знать. Позволишь мне провести здесь день-другой?

Я прикинул, что будет, если ко мне зайдет Ирена и застанет его. Ведь никто из Куперов не знал (так я думал), что она ко мне заходит, и я не мог выдать ее Уолтеру.

— Сперва скажи, что стряслось,— сказал я, не отвечая на его вопрос.— Тебя ищет полиция?

— Мне надо выспаться,— отрезал Уолтер.— Допрашивать будешь потом. Вторую ночь без сна. Глаз не сомкнул, чтоб этот гангстер меня не прихлопнул.

«Мания преследования?» — подумал я. Может, на самом деле Уолтеру нужна врачебная помощь?

— Устраивайся, как дома,— сказал я.— В холодильнике завтрак, сам подогрей на электроплитке. Я спешу на работу.

— Спать,— сказал он.— Только спать. Двое суток без сна — это уже кое-что. Белье мне не нужно, но

неплохо было бы теплое одеяло. От бессонницы меня лихорадит.

Отыскал крепкую успокоительную таблетку. Подал ему с водой.

— Глотай,—приказал я,—перестанет лихорадить. Пока вернусь, успеешь выспаться. Тогда мы плотно перекусим и разделаемся со всеми гангстерами на свете.

— Ты не знаешь Джима.

— Этого пьянчугу?—удивился я.—Он же ваш компаньон. Друг Чарли.

— Ты и Чарли не знаешь.

— О, Чарли-то я знаю,—рассмеялся я.—С тех пор, как он еще был Казисом. В кошки-мышки мы с ним играли.

— К телефону подходить не буду и дверь открывать тоже,—прервал меня Уолтер.—Ключей от твоей двери ни у кого больше нет?

— У домовладельца. Но заходит он только в случае стихийного бедствия. Пожар. Или землетрясение, которое в Литве в последний раз случилось несколько веков назад. Засвидетельствовано в летописях.

— Я хочу спать, Каролис. Летописи — потом. У Ирены ключа нет?

Я немного растерялся.

— Нет.

— Тогда порядок. А теперь жми на свою работу. Я тебя не ограблю.

По дороге в клинику я прикинул, не попытается ли охваченный страхом Уолтер выброситься из окна. Надо будет посоветоваться с психиатром. Как знать, может, история с мнимым или подлинным изнасилованием довела до шокового состояния не только «жертву», но и «злоумышленника». Что-то не верю я в изнасилование, когда девушка сама приходит на квартиру к мужчине.

Уже сидя за микроскопом, решил, что таблетка минимум на шесть часов отключит сознание Уолтера. А потом можно будет повторить такую же дозу лекарств. Джим и мне казался темной личностью: придется еще

выяснить, нет ли в страхе Уолтера рационального зерна.

Профессор Хаберланд ходил мрачнее тучи. Ночью скончалась больная; в этом случае медицина была бес- сильна — метастазы усеяли весь кишечник и лимфо- узлы. Морфия не пожалели. Хаберланд иногда погово- ривал, что единственная услуга медицины — умень- шить страдания. Как и все видные медики (или хотя бы большинство из них), профессор не очень-то ценил медицину. Но от студентов требовал уважения к ней.

— Чертовщина, правда? — сказал Хаберланд, когда я после работы мыл руки.

— Вы ничего не могли поделать, профессор. И в клинику свою эту больную вы положили только из соображений гуманности. Метастазы прощупывались даже снаружи.

— О чем вы? Я — о мире вообще. Мой соотечест- венник собирается перебить половину населения Евро- пы, а я потом отвечаю за него.

— Гитлер пока убивает не так уж много, — сказал я. — Вот в Испании...

Я не закончил.

— Много вы знаете. Я завидую вам, что вы не не- мец. Кстати, по поводу метастаз. Вам, коллега, навер- но, известно явление, когда после удаления опухоли уменьшаются метастазы, а иногда даже совсем исче- зают. Я уверен, если бы удалить гитлеровскую Герма- нию, исчезли бы метастазы во всем мире. Иду вчера по улице Кястутиса, а навстречу колонна коричнево- рубашечников с барабанами и факелами, хотя еще светло. И с палками. Как вам это нравится?

— Младолитовцы ходят в зеленом, — ответил я. — Не представляю, что это за организация. Немецкие на- цисты, кажется, свою идеологию в Каунасе демонстри- руют только разгуливая в белых носках.

— Евреи, доктор Тулейкис! Организация Жаботин- ского «Бейтар». Коричневорубашечники организуют еврейские погромы в Германии, сажают их в концла- геря, а еврейские фашисты не брезгают коричневыми рубашками! Более жуткую метастазу трудно себе

представить. И вот когда я гляжу на этих разношерстных наци, мне трудно оставаться немцем.

Я хотел сказать, что основатель фашизма — Муссолини, что среди немцев есть и коммунисты, но профессор уже ушел.

На улице вовсю грело солнце, как бывает иногда в третьей декаде марта. Даже ветер был какой-то ласковый. И никаких коричневорубашечников на всей улице Кястутиса.

Перед домом Куперов стояли Чарли с Джимом. Не ожидал я их тут встретить. Пройти, не заговорив, было бы тактической ошибкой. А то и стратегической. Может, Уолтера мучила мания преследования, а может, у него и были основания для страха.

Я замедлил шаг.

— На солнышке греетесь? — поинтересовался. Это заменяло и «добрый день», и вопрос о здоровье мамы — госпожи Купер.

— Уолтера не видел? — вопросом на вопрос ответил Чарли. Его узкие глазки смотрели на меня изучающе. Но я был медиком и знал, что насквозь они не проникают.

— Почему я должен его видеть?

«Что ж, поиграем в вопросы», — подумалось мне.

— Вовсе не должен. В покер не сыграешь?

— Хочу. Да не могу. Должен пообедать — и пациенты. И потом, я всегда вам проигрываю.

— Надо уметь играть, — сказал Джим.

— Вы говорите только афоризмами, Джим, — заметил я. — Как древнегреческие мудрецы.

— Не встретил ни одного мудрого грека, — Джим перебрал сигарету из одного угла рта в другой, но не вынул; он умел разговаривать с сигаретой в зубах и тогда напоминал бандита из голливудских кинофильмов; мне показалось, что он нарочно старается внушить собеседнику страх. Но мне Джим казался смешным.

— Может, у мудрых греков не было случая встретиться с вами. К тому же те, кого я имел в виду, умерли две тысячи лет назад.

— В Греции хороший табак, хороший миндаль и хорошие шляхи,— сказал Джим.— Другие бегали глядеть на статуи баб с отбитыми руками, но их полно в музеях Америки. Чарли, отвези доктора в американские музеи, чтоб поглядел на баб с отбитыми руками.

— Сначала я тебя отправлю, надоел ты мне,— зло отрезал Чарли. Неужели беспокойство о пропавшем брате так расстроило его?

— Я и сам могу съездить, Джим,— сказал я.— Я самостоятельный человек, отвозить меня не надо. Могу съездить и в Грецию. Тоже люблю хороший миндаль. Есть еще там сезам, Джим, о чем вы не упомянули, сушеные фиги и апельсины. И виноград. И, черт возьми, изюм!

— Джим, он это еще по урокам географии помнит,— буркнул Чарли.— У него была изумительная память, и он стал изумительным доктором. Вот только школьных товарищей позабыл и изредка швыряет в них бутылки.

— Случается, Чарли,— согласился я.— Ты уж меня извини. Только не помню, чтоб в школе ты дружил со Стасюкайтисом. Он был слишком беден.

— А ты был богат?

— Я? Нет. Но я по сей день не уверен, считал ли ты меня своим другом. Видишь ли, ты уж такой человек, что в тебе нельзя быть уверенным. Ну, пока, Чарли! Бывайте, Джим!

— Если встретишь Уолтера, скажи, что все в порядке. Никто дела возбуждать не станет,— сказал Чарли, когда я уже уходил.

Я опять остановился.

— Эта дама согласилась выйти замуж?

— Согласилась или нет, но пускай Уолтер возвращается домой.

Я ничего не ответил, но засомневался: уж не знает ли Чарли, что Уолтер скрывается у меня? Что ж, если против Уолтера не возбуждается дело, тем лучше.

Уолтер еще спал. Таблетка действовала превосходно. Я старался ходить бесшумно, радуясь, что перед уходом отключил телефон. При нервном шоке сон —

лучшее лекарство. Конечно, через час, когда позвонит первый пациент, Уолтер может проснуться. А пока пускай спит в другой комнате.

Идти обедать в город не хотелось. Открыл холодильник и заметил, что Уолтер ничего не тронул. Ладно, проснется, и появится аппетит.

Я перекусил, запивая кофе из термоса; пить кофе научила меня Анита. Сразу почувствовал себя бодрее.

Раздался робкий стук в дверь. Вдруг это кто-нибудь из Куперов?.. Наконец это уж неважно — Уолтеру нечего опасаться ареста. Нет, это стучатся не они — Куперы звонят настойчиво, как люди, осознающие свою силу. Даже нежная Айрини.

Незнакомая черноволосая женщина без пальто, в накинутой на плечи шали, не стала заходить в переднюю.

— Простите, господин доктор,— извинилась она.— Мы с вами соседи. Вы-то нас не знаете, но мы вас каждый день видим. Особенно ваши ноги.

— Не понимаю,— пожал я плечами.— Почему вы не звонили?

— Наверно, не заметила звонка. Или не привыкла к электричеству.— Она рассмеялась, если этот печальный и отрывистый звук можно назвать смехом.— Мы в полуподвале живем, поэтому и видим ваши ноги. Туфли у вас всегда начищены до блеска.

— Спасибо,— сказал я.— Чем могу служить?

— Служить? Вы можете помочь нам. Если пожелаете. Позавчера заболел мой муж. А сегодня немного поднялась температура.

— Сколько?

— Немного. Тридцать девять и восемь. Но он кашляет, и...

Я не дал ей договорить:

— По-вашему, это немного?

— Для нас, господин доктор, это немного.

Взял чемоданчик с инструментом и необходимыми лекарствами. Спустились мы на лифте. Я все еще не любил лифт, но старался преодолевать страх.

Лифт остановился внизу, но нам пришлось еще спуститься по ступенькам. А потом еще ниже. Несло сыростью и чем-то вроде квашеной капусты.

— Нагните голову, господин доктор, дверь тут ниже, чем в вашей квартире.

— Темновато,— сказал я.— Будьте любезны, включите свет.

— Свет отключен,— объяснила женщина.

— У вас холодно,— добавил я и подумал: «Подвал остается подвалом. В охранке и летом тряс озноб».

— Радиаторы отключены, господин доктор.

— Что же у вас тут творится?

— А ты объясни доктору,— раздался мужской голос, и по кашлю, следовавшему за словами, я догадался, что это и есть больной.

— В прятки играете,— сказал я.— Где же вы, пациент?

— Он за ширмой,— объяснила женщина.

Продолговатое худое лицо, большие лихорадочно блестящие глаза и вьющиеся волосы — это я разглядел даже в полумраке, который тут же сменился светом, пусть и неярким: женщина зажгла керосиновую лампу с зеленым абажуром — такую, как в избушке тети Антоси около Шештокай. А хрип в груди можно было слышать и без стетоскопа.

— Заболели позавчера, а меня пригласили, когда развилось воспаление легких.

— Он и сегодня был против, чтоб я вызвала врача,— объяснила женщина.

— Сегодня я не против, Эстер,— сказал больной.— Только у меня, господин доктор, нету машинки для печатания денег. Вот хозяин нашего дома ее, наверно, имеет.

— Не знаю этого, господин Хаймович ко мне не обращался. Радиаторы испортились?

— Отключены. Мы задолжали за два месяца.

— И за электричество?

— И за электричество. Меня с работы уволили.

— За что?

— Господин Хаймович тоже об этом спрашивал, господин доктор. Могу повторить: не за уголовное преступление.

— Пособие не получаете?

— Такие, как я — не получают.

— Где же ваша знаменитая национальная солидарность? — не выдержал я.

— Слышишь, Эстер? Доктор... — больной, по-видимому, хотел рассказать мне о национальной солидарности, но ему помешал приступ кашля.

— Ладно уж, ладно. Помолчите. Госпожа Эстер, вам придется подняться со мной наверх, я дам вам новейшие лекарства. Немецкие. Эта нация производит не только отравляющие газы, но и чудесные лекарства. Будете давать мужу по две таблетки каждые четыре часа. И еще кое-что дадите, не захватил с собой. Завтра опять приду. Выздоровливайте. Как вас звать?

— Шмуэль. Наверно, слух режет?

— Я напоминаю вам гестаповца, господин Шмуэль? Или по меньшей мере младолитовца?

— Я этого не говорил.

— Советую вам говорить поменьше. Особенно во время болезни. До свидания. Госпожа Эстер, оставьте себе эти деньги. Ни один уважающий себя врач со своих соседей денег не берет.

В своем кабинете принял шесть пациентов.

За вечер загреб шестьдесят литов. Устал. Но за эту усталость мне щедро платили.

Проснулся Уолтер.

— Брата твоего видел, — сказал я, проводив последнего пациента. — Говорил, все улажено. Дела возбуждать не станут. Полиция тебя не ищет.

— Ты не шутишь?

— Нет.

— А Чарли не пошутил?

— За Чарли не ручаюсь. По мне, можешь оставаться, если не веришь.

— Пойду, — сказал Уолтер. — Какое тут изнасилование, если она сама ко мне пришла? Чтоб я хоть раз еще прикоснулся к какой-нибудь проклятой девке!

— Не кидайся в другую крайность, Уолтер. Хуже будет, если заинтересуешься мальчиками. Лучше остановись на женщинах. Только придерживай свой буйный темперамент.

Уолтер ушел. Мне почему-то было беспокойно. Волновался и из-за безработного Шмуэля внизу. В сыром подвале без центрального отопления в марте...

Наверно, я вскипел злостью на весь мир — и за вторжение Гитлера в Австрию, за сигарету Джима, блуждающую из одного угла рта в другой, за Ирену, которая упрямо молчала, за себя — за то, что не звоню ей. Думаю, только потому я ворвался к домовладельцу Хаймовичу.

Румяная блондинка в переднике горничной открыла мне дверь.

— Хозяин после ужина читает газету, — сказала она. Я не понял, что сие значит: принимает хозяин или не принимает.

— Я лично еще без ужина, — довольно нагло сказал я. — Поэтому не хотел бы терять времени.

Из комнаты вышел господин Хаймович.

— А, господин доктор. Пожалуйста в гостиную. Что-нибудь случилось? Испортились радиаторы?

— Да. В подвале, у вашего жилья Шмуэля. Фамилии его не знаю.

— Вы не только врач, но и адвокат?

— На этот раз — прокурор. У Шмуэля воспаление легких. Если он умрет, вас привлекут к судебной ответственности.

— Меня? Если вы, господин доктор, не заплатите мне за один месяц, я вас со всей вашей ореховой мебелью выдворю на улицу. Этого дармоеда я держу уже целых два месяца!

— Если вы будете говорить со мной в таком тоне, я сейчас же съезжаю со своей ореховой мебелью на улицу. Но перед этим, вот в этой комнате, я вам влеплю такую оплеуху, что с каждым врачом впредь вы станете говорить улыбаясь, будто китайский мандарин, да еще после каждого слова добавите: «сильвупле». Но это уже не по-китайски.

Господин Хаймович даже побелел от ярости.

— Вы антисемит, господин доктор!

Я не выдержал, рассмеялся. Даже злость прошла.

— Центральное отопление вы включите сейчас же,— повелительно сказал я.— Воспаление легких, вы поняли? Если Шмуэль умрет, его будут хоронить из вашего дома. Жильцам не придется по вкусу такое зрелище. Кроме того, люди всегда чуточку суеверны. А я постараюсь всем объяснить причину несчастья.

Поднялся, оттолкнул стул и, не прощаясь, направился к двери.

На пороге остановился. Сунул руку во внутренний карман и вынул пачку кредиток. Протянул служанке, хотя Хаймович тоже стоял в нескольких шагах.

— Передайте своему хозяину. За больного, который не бил в барабан в организации Жаботинского. Долг. Кажется, здесь слишком много. Пусть хозяин пересчитает. А сдачу, барышня, мне принесете вы.

Румяная блондинка принесла сдачу через полчаса.

Дома было неуютно. «Почему бы не посидеть в ресторане?» — подумалось. Неплохо бы с Иреной. Но она ведь как бы под полицейским надзором.

Все-таки поднял телефонную трубку и набрал ее номер.

— Привет, Ирена. Куда же ты пропала?

— Привет, Каролис! Я дома одна. Мама в опере. Не хочешь погулять?

А вечер был просто чудесный. В небе над Каунасом не гудели гитлеровские самолеты. С Немана, конечно, дул ветер, но даже в этот поздний вечер все кругом дышало началом весны. По календарю. А когда рядом шла Ирена — весна пришла и в мое сердце.

VIII

Два дня спустя меня разбудил назойливый телефонный звонок. Что ж, звонили мне не только по утрам, но и даже ночью — в жизни медика это обычное явление.

Но этот ранний звонок был необычен: звонила госпожа Купер. Извинившись, что разбудила меня (это нетрудно было понять по моему сонному голосу), она добавила:

— Я должна сейчас же встретиться с вами.

Что я мог ответить? Только «да». Услышал тревогу в ее голосе, но сам был спокоен. Наши отношения с Иреной пока не перешли грань, которую, если верить Ирене, так соблюдают американки. Шел 1938 год, в Штатах мне бывать еще не доводилось, обычаев этой страны я не знал. А если там даже процветал разврат, Ирена для меня была святая из картины в позолоченной раме. Правда, сама Ирена предпочла бы, чтобы эта рама была из чистого золота, ведь ей нравилось золото. Но ей нравился и я.

И мне казалось, что я люблю Ирену.

Правда, меня немного удивило, что госпожа Купер предложила встретиться не у меня или у нее, и даже не в кафе Конрада, а в небольшой еврейской кондитерской.

— Чарли в еврейские заведения не заглядывает, он патриот,— пояснила мне собеседница, и наш разговор пока закончился. Я так и не успел спросить, Америки или Литвы он патриот, и что общего между патриотизмом и кондитерскими.

Госпожа Купер сидела за столиком подальше от витрины, в которой красовались пирожные с розовым кремом. В кондитерской было пусто, только мы и официантка.

Госпожа Купер, как и следовало подтянутой и накрашенной американке, выглядела намного моложе своих лет, но синие круги под глазами говорили если не о горе, то хотя бы о бессонной ночи.

Поздоровавшись и обменявшись фразами о погоде (на улице стояла уже настоящая весна, хотя в любой день мог вернуться северный ветер), я ждал, что же скажет мне пожилая элегантная дама.

— Каролис,— начала госпожа Купер,— против Уолтера возбуждают дело.

— Чарли говорил мне, что дела не будет.

— Чарли соврал. И мне тоже. Даргужасы, может, и согласились бы помириться, но девушка в больнице, договориться с ней невозможно, и прокуратура уже приступила к делу.

— Ирена и Чарли сказали, что я во всем виноват. Был пьян и не отнесся с должным вниманием к представителю полиции.

— Причем тут вы? Этот нищий полицейский просит руки Айрини. Обещал за это все уладить. Думаете, ему можно верить? Он только отложил бы дело Уолтера. До свадьбы. Даргужас — нотариус, один из столпов союза таутиنيين, он могущественнее полицейского следователя. Правда, он боится публичного скандала, поэтому Уолтер еще на свободе. Но прокуратура должна доказать, что в Литве царит справедливость. Тем более, что журналисты об этом уже пронюхали. И не только журналисты. Чарли подкупает всех, кого может, но сколько это может длиться?

— Неприятная история, конечно, — сказал я. — На медицинском факультете нас учили, что мужчина не может в одиночку изнасиловать женщину, если она в своем уме.

— Вы думаете, судебные эксперты могут нам помочь?

— Я сказал, что нам объяснял доцент судебной экспертизы.

Мне показалось, что настроение госпожи Купер улучшилось.

Мы заказали по второй чашке скверного кофе и по второму вкусному пирожному с розовым кремом.

— Однако, если заведут дело, скандала не избежать, — констатировала госпожа Купер. — И Айрини не выйдет замуж. Будущий ее муж ведь не захочет себя скомпрометировать.

— Ирене только девятнадцать. Вы уже выбрали ей мужа? Судя по вашим словам, надеюсь, не Стасюкайтиса?

— Что вы! Айрини, конечно, слишком молода. Я вышла замуж в двадцать три, и то слишком рано. Но

Чарли хочет приобрести акции ткацкой фабрики. Крупный пакет.

— За сестру?

— В этом ничего страшного. Директор фабрики мужчина в расцвете сил, из себя интересный, хороший теннисист, президентского сына шутя обыгрывает, а ведь молодой Сметона не лыком шит. Но Айрини слишком молода.

— А она знает, что вы собираетесь ее выдать?

— Говорю же, Каролис, я здесь ни при чем. Но Айрини тоже хочется хорошо жить.

— У вас мало денег?

— Деньги тянутся к деньгам. Во всем мире так.

— Не во всем, госпожа Купер.

— Я говорю о цивилизованном мире.— Госпожа Купер допила кофе и отодвинула чашку.— Айрини поступит так, как прикажет Чарли.

— Значит, глава семьи не вы, а он?

— Я уже не гожусь для денежных дел. Память не та, да и надоело это мне. А Чарли—первенец. Даже по ветхому завету его слово решающее.

— Почему же он не ходит в еврейские лавки, раз так предан ветхому завету?—раздраженно спросил я.— Что ж, я узнал массу интересного. Самое худшее—журналисты. Если б не они, Чарли удалось бы купить всю прокуратуру.

— Каролис,—после некоторого молчания обратилась госпожа Купер,—нужна справка, что поведение Уолтера вызвано болезнью, что на мальчика нашло затмение.

— Если остаться наедине с красивой девушкой, на многих находит затмение. Боюсь, для суда это не явится смягчающим обстоятельством.

— Нужна такая справка, чтоб суд вообще не состоялся. Вы же молодой, известный доктор. Неужели ваши друзья-психиатры не нашли бы какой-нибудь болезни?

— А вы согласитесь отдать Уолтера в психиатрическую лечебницу?

— Да.

— Вы не представляете, что ад Данте блекнет перед лечебницей Сувалкийской Калварии. Вы слышали о Дантовом аде?

— Мне казалось, что ад один. Если, конечно, он вообще существует.

— Не один, госпожа Купер, и самый жестокий ад мы носим в себе. Но это я между прочим, не о деле Уолтера. Мне думается, найдутся психиатры, которых можно будет купить, а Чарли в этом непревзойденный мастер. Куда изворотливей меня.

— А я-то надеялась на вашу помощь.

Выйдя из кафе, я попрощался с дамой и побежал к телефону-автомату, чтобы поговорить с Иреной, пока ее мамаша не вернулась домой.

— Здравствуй, Айрини.

— Прошу называть меня Иреной.

— Нет, ты не Ирена. Айрини, святая Айрини в золотом обрамлении над боковым алтарем.

— Ты с ума сошел, Каролис?

— Но тебе этого недостаточно. Ты желаешь находиться в главном алтаре. А может, алтари называются иначе. И, кроме того, хочешь пойти к алтарю с фабрикой шерстяных тканей.

— Послушай, ты пьян?

— Да. От хорошего начала весны и скверного кофе. Чтобы внести ясность, скажу: ты собираешься выйти замуж за директора фабрики, чтобы Чарли мог купить крупный пакет акций. А потом ты потребуешь свою долю. Наконец похоронишь мужа, ведь он, насколько я понял, раза в два старше тебя, но все равно ждать придется долго. И ты похоронишь его чуть раньше, это тебе удастся.

В трубке раздался щелчок.

Ирена не дослушала.

А ну ее к черту!

Бросив взгляд на часы, я ускорил шаг.

Надевaya халат в клинике профессора Хаберланда, я подумал, что никогда больше моя нога не переступит порог дома Куперов, а рука не наберет номер телефона Ирены.

В гардероб вошел Роберт Хаберланд.

— Чего это вы так веселы?— спросил он.— Забыл сигареты в кармане пиджака. Перед глазами чертовская операция, целых три часа без сигареты. Это вы можете представить?

— Не могу. Как вам известно, я не курю.

— Собираетесь пережить моего отца?

— Профессор Хаберланд совсем не старик.

— Как тут сказать... Этот еврей Эйнштейн внес путаницу в понятие времени. Кстати, вы знали дочь доктора Палёниса? Рассказывали, кажется, что учились вместе.

— Она теперь Алдона-Юлия Кубилене.

— Нет. Снова Палёните.

— Развелась?

— Муж ее бросил. Она ведь наполовину еврейка.

— Как и жена вашего брата, доктор Хаберланд.

— Альберту тоже придется развестись с Адой. Его заставят.

— Кто?

— Не будьте наивным. Вы чистый ариец?

— Неясное для меня это понятие, но евреев в моей семье не было.

— Это видно на расстоянии. По сообразительности, доктор Тулейкис!

— Вы хотите сказать, что я сообразительней Эйнштейна?

— Ваша сообразительность конструктивная, а его — деструктивная. И в новой Европе вы найдете для себя место.

— Может, даже благодаря вашему покровительству?

— Не иронизируйте, доктор Тулейкис. Скоро у вас пройдет желание иронизировать.

— Это звучит как угроза.

— Нет. Как констатация факта. А если хотите — дружеский намек. Я испытываю к вам симпатию.— И, выпуская дым колечками, добавил:— Моя жена Аусма — тоже.

— Благодарю. Кстати, насчет Кубильюса... Он ведь не корпорант «Литвы», даже не младолитовец...

— Палёните не приняли в филистеры корпорации «Патриа». Из-за матери. Позор! И это оказалось той каплей, которая переполнила чашу. Кубильюсы не ладили.

— Красивая женщина,— сказал я.

— И свободная. Но не соблазнитесь. Попробуйте заглянуть в будущее. Добавлю: в весьма недалекое будущее.— Он бросил выкуренную до конца сигарету в плевательницу.— Можно и меня обвинить в отсутствии литовского патриотизма: я курю американские сигареты. Но я не литовский патриот. А наши, немецкие сигареты до того скверны, что издали пахнут сеном.

— Зато победы пахнут порохом.

— Таков поворот истории. Я гарантирую, доктор Тулейкис, что ваш президент со своими министрами попросит протектората Германии. Наверно, вы тоже предпочли бы немцев Советам?

На этот вопрос я мог не ответить: вбежала старшая сестра Ирина:

— Доктор, профессор уже моет руки!

Доктор Хаберланд кивнул мне и торопливо вышел вслед за сестрой милосердия.

Домой я вернулся раньше обычного и застал Аготу. Она уже управилась с уборкой и мыла руки, собираясь уходить.

— Как дела, Агота?

— У одних хорошо, у других худо. Правды никогда не будет.

— А может будет? Если не здесь, то на небеси?

— С чего это вы, доктор, о небе заговорили?

— Небо это уже по вашему ведомству, Агота. Мне туда не попасть.

— А по-моему, вы туда попадете скорее, чем каунасский архиепископ.

— И такое из ваших уст?..

— Он перед пасхой нищим ноги в костеле моет, но к беднякам на квартиры не ходит. А вы, когда надо было, не отказались.

— Может, его не приглашали?

— Эх...

— Раз даже вы, Агота, polecели, я начинаю верить, что господин президент позовет немцев.

— Заговариваетесь, доктор?

— Так один врач — немец — предсказал. И знаете что? Похоже на правду.

Оставшись в одиночестве, я подумал, что можно сходить в город и пообедать. Успею вернуться до того, как пойдут косяком клиенты. Их в моем кабинете становилось все больше.

Обедал в ресторане «Метрополь». Нравились мне и старинные, без украшений залы ресторана, и вежливое обслуживание. Может, даже слишком вежливое — иногда мне казалось, что кельнеры издеваются над посетителями. Их лица напоминали маски, а движения — заводных кукол из оперы «Сказки Гофмана».

В ресторане было многолюдно, но я отыскал свободный столик, и мне очень не понравилось, когда молодой человек с нахальными глазами решил подсесть ко мне.

— Я жду даму, — сказал я.

— А я всего на несколько слов.

— Видимо, вы ошиблись: мы с вами незнакомы.

— Я знаю вас, а вы меня тоже сейчас узнаете.

— Кто вы такой? — разозлился. Беседа в кондитерской с госпожой Купер, телефонный звонок Айрини вывели меня из равновесия, и я все не мог сбросить раздражение. Даже разговор с Аготой не смягчил эту ярость против всех. И вот сейчас эта ярость могла выплеснуться наружу.

— Альфонсас Разюлис, — представился он. — Журналист. Кражи, взломы, пожары и изнасилования.

— Значит, вы не по адресу. Я не брандмейстер и не глава цеха карманников.

— Вы хорошо знаете семью Куперов? С Чарли Купером вместе кончали гимназию?

Подошел кельнер.

— Мне обеденное меню, — попросил я, — а этого господина возьмите за шиворот. Он без приглашения

сел за этот столик и не желает встать.— Кельнер растерялся.— Что ж, тогда это сделаю я сам.

Встал из-за стола и подошел к непрошеному гостю. Все же за шиворот не взял, только за правый локоть. Руки у меня были сильные; наверно, стиснул я чувствительно, потому что лицо журналиста исказила гримаса. Публика в ресторане уставилась на нас. От стойки к нашему столику торопился метрдотель.

Я приподнял журналиста со стула и в тот же миг у соседнего столика вспыхнул магний фотографа.

— Попадете на первую полосу газеты, если сейчас же не выпустите мою руку.

Я выпустил.

— Господа... — прошептал метрдотель.

— А здесь ничего и не произошло, — сказал журналист. — Мы давнишние друзья и поспорили, кто сильнее. Верно, доктор?

— Верно, — сказал я.

Встал и вышел на улицу.

Остался без обеда.

Принимал пациентов. К неврастеникам был безжалостен и гнал вон. Знал, что сокращаю этим число своих пациентов. А может и наоборот, как знать.

Вечером вышел погулять. С удовольствием опустил в уличные урны газеты, не обнаружив в них своей фотографии.

Не обнаружил ее и вечером следующего дня. Журналист не соврал: я выпустил его локоть из железных тисков, и на первой полосе моей фотографии не было.

Ее поместили на второй полосе дешевой десятицентовой газеты. Я был похож на бандита, расправляющегося со своей жертвой. Мое лицо вышло отчетливо, а «жертвы» — нет. «Фоторепортер знает свое дело», — подумал я.

Подпись под снимком гласила, что так реагировал врач Каролис Тулейкис на вопрос о его отношениях с семьей Куперов. Потом был намек на возбуждаемое дело против Уолтера Купера за изнасилование барышни Д. И ниже вопрос: «Может ли мужчина в одиночку

изнасиловать женщину? Мнения экспертов судебной медицины расходятся».

Направился на улицу Кястутиса к Ирене. Теперь меня не интересовало, понравится это Чарли или нет.

Дома застал их обеих: мать и дочку.

Они еще не видели газеты. Я смотрел на них; лицо Ирены побледнело, а на лбу ее матери внезапно проступили красные пятна.

— Все-таки,— сказала госпожа Купер.

Моя фотография в ресторане подействовала на них меньше всего. По правде говоря, и меня она не очень-то встревожила. Профессор Хаберланд бульварных листков не читал,— правда, я не сомневался, что этот номер ему кто-нибудь подсунет. И лицо профессора озарится свойственной ему иронической улыбкой. Пожалуй, он мне скажет: «А все-таки надо было поступить с этими хулиганами радикальнее». И отправится к больным.

— Что делает Уолтер?

— Днем пил,— сказала госпожа Купер.

— Если он узнает, что о нем пишут в газетах...— начал я и не закончил.

— А ему на все наплевать,— сказала Ирена. Лицо ее выглядело бесстрастным, казалось, дело будут возбуждать не против ее брата. А ведь косвенно ошельмовали всю семью. Бойкий репортер даже меня втянул в эту историю.

Я смотрел на Ирену и думал: «Как далеко ей до Аниты!» И удивлялся, что мог ее полюбить. Нет, никогда я не любил ее, это была только игра воображения. Но что же такое любовь, если не игра воображения? Анита ведь была иная: Анита была человеком. А тут кукла с зелеными или голубыми глазами — в зависимости от освещения. Кукла, которая может сказать «мама», но не может сказать «люблю». Кукла, которая умеет еще произносить «золото».

Очень красивая кукла.

Не помню, о чем мы тогда еще говорили: наверно, какие-то пошлости, может, даже о весенней погоде.

Попрощался и вышел на улицу.

У гаража тихо рычал могучий «Линкольн». У машины стояли Чарли и Джим.

— Видел свою фотографию?— спросил Чарли.— Благодаря нам ты стал знаменит.

— Мог бы уже танцевать и петь на Бродвее, это хорошая реклама,— добавил Джим.

— Мне кажется, вы оба будете танцевать на Бродвее. Если потребуется трио, приглашайте меня. Поставим пьеску: «Как мы подкупаем журналистов, но слишком мало им платим».

— Платил-то я много, но, видать, кто-то заплатил больше,— хмуро сказал Чарли.

Я поинтересовался:

— Кто же?

— Мой дядя. Хочет выкупить у меня половину гостиницы «Женева», что у вокзала, а я не хочу. Он хочет купить и дом, из которого ты только что вышел, а я не продаю. Он хочет выдворить меня из Литвы, этот ублюдок. И купить хочет дешево, вот что.

— Приятная семейка,— заметил я.— Мы в семье ладили примерно так же, только у нас никогда не было денег. Поэтому мы ни разу не попали в печать.

— Ты показал моей матери газету?

— Да, Чарли. Плохо поступил?

— Все равно узнала бы.

— Что вы теперь собираетесь делать?

— Сперва приведем с Джимом в порядок машину. Это успокаивает нервы. А потом сыграем в покер. Это нервы взбудоражит. Видишь ли, со спокойными нервами никогда не приобретешь капитал.

Я попрощался и ушел. «Капитал любит, чтоб его умножали»,— подумалось мне. Хорошо, что мой капитал — только мои знания. Нет, никогда не стану покупать ни дома, ни поместья, ни акций. В мире ведь столько других приятных вещей — скажем, путешествия в фиорды Норвегии или на Гавайские острова...

И хотя мои нервы успокоились, я знал, что не засну. Проглотил небольшую белую таблетку и отключил телефон. Теперь я не узнаю до утра, даже если в Каунас по приглашению нашего правительства войдет не-

мецкая армия, чтобы взять Литву под свою опеку. Защитить от коммунистов, Аготы, полуеврейки Алдоны-Юлии и, наконец, от меня. Защитить имущество президента — поместье в Ужуленис, а также гостиницу Куперов «Женева» и ресторан, в котором шлюхи цементируют единство народа.

И я спал, не просыпаясь, до самого утра, а когда проснулся и подошел к окну, увидел все те же автобусы и извозчицьи пролетки и не заметил ни одного гитлеровского танка.

IX

Весь этот день я работал на редкость напряженно. В распорядке дня для Куперов не осталось места. И вечер настал быстро, словно и не было дня.

Я был измочален, как после марафонского бега, хотя, по правде, ни разу в жизни не пробежал больше километра. Наверно, доктор Палёнис не только из-за симпатий к студенту-медику освободил меня от службы в армии. Иногда я «чувствовал сердце».

Однако, добросовестно леча других, на собственное здоровье я не обращал внимания. По-моему, так поступают и другие врачи.

Сегодня мне требовалось хорошенько выспаться, и для этого первым делом надо было отключить телефон. Выдернул вилку из розетки, и забирайся под одеяло.

Но я этого не сделал. Не потому, что поленился или забыл. Я ждал какого-то стихийного бедствия или катастрофы. Конечно, проще было бы спрятать голову под крыло, как поступают беспечные птицы, и катастрофа прошла бы мимо, не взбудоражив моих снов.

Я не стал отключать телефон. Даже снотворное не принял, хотя знал, что переутомление не даст заснуть.

И ничуть не удивился, когда в полудреме расслышал телефонный звонок.

— Свершилось, — сказал я. Кажется, вслух. Не знал, что именно свершилось, но в то же время и знал. Меня это прямо не касалось. И все же это в какой-то мере было и мое личное дело. Меня мучала совесть, что я

ничего не предпринял для предотвращения катастрофы. Мог ли я что-то сделать? Пожалуй, нет. Но я должен был действовать. Как? Этого я не знал ни тогда, ни после.

— Сейчас же приходи,— раздался в трубке голос Айрини. И тут же — щелчок. Я не успел спросить, что же случилось, да знал и так.

Оделся быстро, как одеваются пожарники; а может, пожарники и не раздеваются, может, они всю жизнь спят одетыми. Схватил свой чемоданчик.

Город видел привычные сны, по тротуару изредка проползала ночная птица, возвращающаяся от девушки или из ресторана. А может, как раз член добровольной пожарной дружины спешил на свой пост: вдруг где-то горят склады мануфактуры или гараж какой-нибудь крупной шишки.

И дом на улице Кястутиса спал привычным сном. Только окна Айрини наверху светились белесым светом.

Во дворе заметил людей.

Подбежала Айрини и припала головой к моей груди.

— Они убили его,— едва слышно прошептала она.

Она не плакала, и это было страшнее всего.

— Уже поздно, доктор,— заговорил Чарли. Он стоял у «Линкольна». Дверца автомобиля была распахнута. Подавшись вперед и навалившись грудью на руль, в машине сидел Уолтер. Я взял его руку, пытаясь нащупать пульс.

Это была рука покойника.

— Нельзя ли оживить его?— как бы извиняясь за эти глупые слова, спросила госпожа Купер. Она умела держать себя в руках. Самообладание — залог богатства.

— Оживлять надо было три часа назад. И то бы вряд ли удалось. Уже часа три, как он мертв.

Взял из рук Джима фонарик. Даже сейчас, в неярком свете, был замечен серый налет на лице Уолтера. Расстегнул рубашку — тело усеяли красные пятнышки.

— Он угорел,— констатировал я.— От выхлопных газов. Не понимаю, какого черта он сел за руль, вклю-

чил мотор и никуда не поехал. Полиции это покажется подозрительным.

— Мы не смогли уберечь его от самоубийства,— сказал Чарли. Он тоже держал себя в руках, может, даже слишком. Когда умирает брат, можно не стесняться своих эмоций.

— От самоубийства?— переспросил я.— Ну, конечно, это самоубийство. Но у полиции возникнут сомнения. Бедный Уолтер даже мертвый не уйдет от полиции. А вдруг у него на теле окажутся следы насилия? Если его в пьяном виде силой усадили в машину?

— Что ты хочешь этим сказать?— грозно спросил Чарли. В его глазах сверкнула ненависть — во всяком случае, мне так показалось; в тускло освещенном дворе могло и померещиться.

— Не я хочу сказать, Чарли. Полиция. Я с ней ничего общего не имею. У меня там нет даже школьных товарищей, которых хотелось бы вспомнить. Это между прочим, сейчас не время для пустых разговоров. Полиция может даже опознать того, кто усаживал его в машину — у каждого человека руки разные. Но это только моя гипотеза, он, разумеется, сам уселся за руль, и полиция, возможно, в это поверит. А чтоб она поверила, это уж твоя забота, Чарли.

Я не заметил, как Айрини очутилась рядом с Джимом, который стоял чуть поодаль, расставив свои толстые ноги, поддерживающие еще более толстое тело. Айрини казалась газелью рядом со слоном.

И вдруг эта газель впилась ногтями в лицо слону; кровь струйками побежала по шее Джима. Странное дело — Джим не набросился с кулаками на Ирену, даже не оттолкнул ее, только заслонил локтями лицо, а девушка царапала его шею и грудь, пока ее грубо не оттащил Чарли.

И тогда случилось еще более странное — в руках Айрини блеснула никелем штучка, еще меньше, чем монтекристо, из которого я застрелил сутенера Викте, и Чарли в растерянности застыл на месте.

— Думаешь, я тебя пожалею?— прохрипела Айрини. Ее голос был неузнаваем — так хрипят полузаду-

шенный зверь или задыхающаяся столетняя старуха.— Вы его пожалели?!

И я понял, что она застрелит своего брата, как я тогда застрелил сутенера.

— Стоп!— крикнул я.— Детективный фильм окончен!— Я оказался между Айрины и Чарли, дрожа больше, чем рука Айрины; и она дрожала.— И без того сенсаций на месяц хватит! Айрины, надеюсь, меня ты не застрелишь?

Я взял у нее из рук изящный дамский револьвер с ручкой, инкрустированной слоновой костью, и положил в карман.

— Сумасшедшая,— обрел дар речи Чарли.

— Все выяснится, Чарли,— сказал я.— Кто сумасшедший, кто преступник и кто ни в чем не виноват. Не смей приближаться к Ирине, Чарли, ведь я тоже умею спустить курок. Это, пожалуй, было бы не такой уж сенсацией. Ирина и госпожа Купер — домой!

Я поднял с асфальта свой чемоданчик. Втроем — обе женщины и я — мы поднялись на лифте в квартиру. Шприц был прокипячен заранее и лежал в спирту. Айрины не сопротивлялась, когда я сделал ей укол. Госпоже Купер дал две таблетки.

— Никого не впускайте. Даже полицию. Я скажу, чтоб оставили вас в покое.

Посидел, пока Ирина не заснула. Когда дремота одолела и госпожу Купер, я попросил ее запереть дверь своей квартиры изнутри.

В полицию позвонил уже от себя. Сообщил, что там-то и там-то я обнаружил труп. Как погиб? По-моему, отравление выхлопными газами автомобиля. Мать и сестра погибшего в состоянии нервного шока, и любой допрос сейчас — преступление.

До утра было еще далеко, и я разделся, собираясь вздремнуть. Из кармана брюк на пол вывалилась красивая игрушка с инкрустациями из слоновой кости. «Было бы интересно, если б от удара оружие выстрелило в меня. В детективных романах такое случается. Полиции пришлось бы решать еще одну загадку».

Уснул, представляя, как обрадовался бы Стасюкайтис, узнав о моей смерти. Подумал еще, куда спрятать оружие. Ирене пока его не отдам. А спрятать надо так, чтоб никто не нашел. Разрешения на оружие у меня не было. Не было его, конечно, и у Айрины. Но ведь для богачей и законы другие.

Все эти мысли промелькнули с быстротой молнии, и одновременно появилась уверенность, что Уолтер не по своей воле сел в наполненную углекислым газом машину. Вспомнил, как возились у «Линкольна» Чарли с Джимом, как гудел работающий двигатель...

*

К женщинам побежал с самого утра. Но перед их домом подумал, что они еще спят.

И пускай себе спят.

Вошел в ворота и на фоне двухэтажного домика увидел две незнакомых личности.

Догадался, что они из уголовной полиции.

И еще увидел Чарли. И «Линкольн». Пустой, конечно. Уолтер, я мог себе это хорошо представить, уже лежал на столе для вскрытия. Судебные эксперты, пожалуй, сейчас натягивают перчатки и выбирают скальпели.

Джима во дворе не было. Наверно, вылакал свою ночную дозу и дрыхнет. Может, ему снится греческий миндаль или греческие проститутки, которые изваяны не из мрамора; мраморные руки ломаются. А может, греческие скульпторы пользовались и не только мрамором. Анита знала бы такие вещи.

Почему вдруг вспомнилась Анита? Правда, с Уолтером ее связывал стол в морге...

«Не много ли трупов на моем пути», — подумал я. Что ж, чем дольше живешь, тем чаще с ними сталкиваешься. Даже если ты не медик. Но мне всего лишь двадцать семь. (Наверно, тогда я думал: «Мне уже целых двадцать семь».)

Ко мне подошел один из незнакомцев в штатском.

— Вы кого-нибудь ищете? — спросил он довольно вежливо.

— Об этом же я мог бы спросить и вас.

Он отогнул лацкан пиджака и показал полицейский значок.

— Если не секрет, ваша фамилия? — его голос прозвучал жестче.

— Врач Тулейкис.

— Вот вы нам и нужны. Вы были здесь сразу же после происшествия?

— Нет. Спустия три часа.

— С такой точностью установили?

— Нет. Я только предполагаю, господин инспектор полиции.

— Как вы думаете, какая причина смерти?

— Выхлопные газы автомобиля.

— А как они образовались? Кто включил двигатель?

Я пожал плечами:

— Это уж по вашей части.

— И еще вопрос. Какие были взаимоотношения между Уолтером Купером и так называемым Джимом?

— Почему так называемом?

— Подлинное его имя Антанас. Какие у них были отношения?

— Этого я не знаю. Мне кажется, Джим или Антанас играл роль бедного родственника или даже слуги.

— Вы полагаете, доктор, его влияния здесь не было?

— Мне кажется, в этой семье — единовластие. А монарх сейчас стоит, прислонившись к двери гаража.

Я кивнул на Чарли.

И тогда меня отпустили, иначе говоря, перестали расспрашивать, хотя я знал, что таскать еще будут.

Женщины уже проснулись. Дверь открыла госпожа Купер. Айрини еще лежала. Увидев меня, она натянула одеяло до подбородка. Застенчивость — главная добродетель американских девушек.

Или даже единственная.

Ведь могло же быть так, что американки созданы только из скелета и добродетелей, заменяющих им мышцы и кровеносные сосуды.

Не знал я девушек из этого далекого мира. Знал только Айрини.

Теперь мне показалось, что я снова люблю ее.

— Айрини,— сказал я,— все раны заживают. И все оставляют шрамы. Косметические шрамы могут удалить хирурги, а душевных не удалит никто. Даже время. Но раны время залечивает, они перестают кровоточить.

— Если можешь, помолчи,— сказала Айрини.— Я еще хочу спать. Какими наркотиками ты меня охмурил?

— Никакими. Это не наркотики. Успокаивающие.

— Уходи, если можешь,— предложила Айрини.— И сегодня больше не приходи.

— А завтра?

— Мы знаем только про сегодняшний день. И о прошедших. К счастью, не знаем, что принесет завтра. Не верю, чтобы в мире было что-нибудь, кроме ужаса.

«Есть еще золото»,— хотел добавить я, но сдержался.

В прихожей госпожа Купер сказала:

— Вы уж ее простите. Когда проснулась, первые ее слова были: «Уолтер правда умер?» Она думала, что это ей приснилось. А потом ворвались эти.

— Кто «эти»?

— Полиция. В штатском. Искали Джима.

— У вас?

— Будто они знают, где искать. Может, подумали, что он мой любовник. Я еще не старая женщина.

Тогда меня и осенило, что женщина-то она не молодая, но как знать, не связывало ли ее что-нибудь с Джимом. В этой семье всякое могло быть.

— Вы чудесно выглядите, госпожа Купер, и не надо сердиться на этих баранов, если им пришла в голову такая непристойная мысль. А куда делся Джим?

— Полиция тоже у меня об этом спрашивала. И у Чарли, наверно. И у вас.

— Нет. У меня они об этом не спрашивали.

— Они в чем-то подозревают Джима, Каролис.

«В чем-то! Перед кем играет эта женщина — перед собой или только передо мной?»

Вернулся на улицу, минуя двор. Не хотелось видеть ни полицию, ни Чарли, ни «Линкольн». После полудня зашел на кафедру судебной медицины. В морг идти не хотелось. Все, что осталось в моей памяти от Уолтера — это его чудесная кудрявая шевелюра. Ему не требовалась завивка.

На кафедре застал одного из младших ассистентов.

— Не слышали, какие результаты вскрытия Уолтера Купера?

— Угар.

— Это я и сам знаю. Следов насилия не нашли?

— Нашли. Но Купер пропитан алкоголем. То есть сам себя пропитал, изнутри. А печень у него такая, что он не дожил бы даже до ранней старости.

— А следы насилия?

— Пьяница падает, разбивается — не разберешь, от чего синяки. Есть следы пальцев, но его брат утверждает, что этот парень рвался куда-то ехать, а они не пускали.

Да. Если эксперты ничего не нашли, то и полиции останутся одни догадки. Почему исчез Джим? И куда? Неужто бросился с железнодорожного моста в реку с горя, что погиб его собутыльник?

В полицию меня вызвали на следующий день. На этот раз меня не везли на машине. Явился в это красивое снаружи здание по своей воле и на своих ногах.

— Антанас Мотуза, или как он себя обамериканил — Метьюз, уже за пределами Литвы, — сообщил мне следователь, пригласив садиться. Это был тот же мужчина, который вчера утром остановил меня на дворе Куперов.

— Или Джим, — вставил я.

— Или Джим. Документы у него в порядке, выехать мог в любую минуту. Но на нашей границе его отбытие не отмечено. Значит, границу перешел нелегально.

— Откуда вам известно, что он за границей?

— Связались с Интерполом. С Международной уголовной полицией. Они за ним следят.

— Значит,— сказал я,— вы сможете его вернуть.

— Переход границы без документов еще не дает на это права. В Германии его наказали денежным штрафом — вот и все. А улик на него у нас нету.

— Может, это он с горя от смерти друга?

— Вы, доктор Тулейкис, сказали это с иронией, а Чарли Куприс, или как его там, Купер, сказал это же самое без всякой иронии.

— Ему неизвестно, что такое ирония, господин следователь. Иронию нельзя ни купить ни продать.

— Вижу, вы правда сердечные друзья, доктор. Так что же, по-вашему, произошло: самоубийство или убийство?

— Могло быть и то, и другое.

— Да, вы действительно сообщили нам нечто новое.

— Я от вас ничего не скрываю. Но я ничего и не знаю. Не стану же потчевать вас своими догадками. Интуицию под микроскоп не положишь — это не папиллярные линии пальцев. То, что я видел, как Чарли и Джим копались в автомобиле — не улика. Они или играли в карты, или пили, или возились с «Линкольном».

— Машина в порядке. А угореть можно и в самой прекрасной машине, особенно в пьяном виде. Спасибо, доктор. Подпишите протокол, что ничего не знаете, и дело придется прекратить. А этот мистер Метьюз — темная личность.

— Согласен с этим.

— Жаль, что не поделились со мной своими догадками. Это тоже было бы интересно.

Вышел из здания полиции.

На улице светило нежаркое весеннее солнце.

Я думал: «Убили или нет? Узнаю ли когда-нибудь? И станет ли от этого лучше?»

А потом вспомнил Айрини. Нет, к ней я не пойду. Пускай позвонит сама.

И что это у меня за судьба такая, что на своем пути встречаю только богатых женщин! Кроме Викте, конечно.

И еще я подумал, что Викте была искреннее Ирены. И Анита была искреннее Ирены.

Резко отогнал всех девушек прочь и направился на улицу Мишко. Большая честь — работать в частной больнице профессора Хаберланда. Сейчас я положу под микроскоп свои догадки и, увеличив их в сотни раз, увижу виновника смерти Уолтера.

Более верного способа не было.

Х

Отпуск профессор представил мне в мае.

На двери своей квартиры я вывесил карточку, что пациентов буду принимать только с первого июня.

Сам не почувствовал, как пролетели первые десять дней отпуска. Ходил с Иреной и госпожой Купер в кино и в оперу. Чарли был занят делами, его не занимала вся эта суeta. Скрепя сердце, он даже согласился, чтобы мы втроем съездили на неделю в Палангу: американки еще не видели литовского взморья. Обе они умели водить автомобиль, и Чарли, хотя и не очень доверяя, предложил «Линкольн». Но Ирена категорически отказалась.

Мы гуляли живописными тропами Фреды, аллеями ботанического сада и советовались, поездом поедem или самолетом.

— Не люблю самолетов, — сказала госпожа Купер. — Я земное создание, люблю ходить на собственных ногах.

— В поезде вы тоже на своих двоих ходить не будете, — заметил я. — Разве что из купе в туалет. А с самолета Литва кажется прекрасной: реки, красные башни костелов, и никаких покосившихся лачуг, никаких нищих перед костелами. Одна беда, что на самолет билетов не достанем ни на завтра, ни на послезавтра.

Мы пешком вернулись в город, прошли по железнодорожному мосту и едва спустились на набережную, услышали выкрики продавцов газет.

— Страшный пожар в Паланге! Триста домов превратилось в пепел! Полторы тысячи человек без крова! Два миллиона литов убытка!

Я купил газету. Пробежал глазами сенсационную заметку.

— Вопрос нашего путешествия решился в доме настоятеля Паланги,— сказал я.— Там начался весь этот пожар. Нет больше городка. Море и песок, конечно, не сгорели. А вы знаете, что такое Паланга? Прильнувшие друг к другу деревянные дома, бедные еврейские лавчонки, каменный костел и каменная синагога. Если раньше в городке царила нищета, то сейчас там царит ужас.

— Я была в Лос-Анджелесе, когда там затряслась земля. А пожар видела в Бруклине. Горел тоже квартал бедноты. И знаете что? После пожара там выстроили большие приличные дома. Пожары очищают города, они необходимы!

Госпожа Купер говорила об этом с таким пылом, что я не пытался ее переубедить.

— Мы можем съездить в Качергине,— сказала Айрини. Наверно, ей тоже надоели рассуждения матери.— Бор, дятлы стучат.

— В детстве я провел там не одно лето,— добавил я, словно этот факт придавал больше очарования Качергине.— На берегах Немана — трава, а полевые цветы пахнут медом.

— Мед укрепляет сердце,— сказала госпожа Купер.— Если бы люди каждый день съедали по яблоку и по ложке меда, ваша профессия была бы ненужна.

— Даже те, кто живет в подвалах с недействующим отоплением? Или в деревянных лачугах с обледевшими стенами?— усомнился я.— Боюсь, им не помогут даже калифорнийские апельсины, не только яблоки.

— Чем быстрее умирают нищие, тем лучше. Я говорю о порядочных людях, которым положено жить.

— Да перестань ты, мама,— резко оборвала ее Айрини. Это, конечно, еще не означало, что она придерживается другого мнения. Просто ей надоела мамина болтовня. А может, она не хотела слышать слово «умирать»?..

— Посмотрите, господин доктор, что хорошего в театрах. В деревне воздух пахнет медом, но ноги чешутся от блошиных укусов.

Я открыл страницу объявлений.

— Двенадцатого мая, в четверг, балет «Тайна пирамиды». А послезавтра комедия «Верблюды в иголье ушко». Вы, госпожа Купер, величаете меня то Каролисом, то даже господином доктором.

— «Тайна пирамид». Это должно быть интересно. Вы не можете объяснить, как им удавалось бальзамировать трупы?

— Нет, не могу, госпожа Купер. Не знаю. Если бы знал, пожалуй, открыл бы бальзамировочное заведение.

— Не можете найти другую тему?..— рассердилась Айрини.— Мне все равно, как я буду выглядеть после смерти. Можете отрубить голову и положить у ног. Кажется, так поступали с ведьмами?

— Этому нас на медицинском факультете не учили, Ирена.

Дальше разговор протекал мирно, так как мы заговорили о веселых материях. На проспекте Витаутаса почувствовали, что проголодались. Солнце, утром едва пробивавшееся сквозь неплотные тучи, уже скрылось, тучи сгустились, заложив все небо.

Пообедали мы в ресторане «Централь». Это заведение трудно было назвать рестораном—ни оркестра, ни нарядных залов, ни роскошных люстр. Зато его кухня считалась лучшей в городе, по крайней мере, так утверждали каунасские снобы. На десерт съели немало раков, которые в газетных объявлениях ресторана назывались экспортными.

На следующий день мы— снова втроем— сидели на палубе парходика, который шел вниз по реке, так и не договорившись заранее, где сойдем— в Качергине,

Кулаутуве или Вилкии. Плыть дальше не было смысла, пароходы пыхтели очень уж медленно. Добравшись до какого-нибудь Смалининкай, мы не успели бы в тот же день вернуться в Каунас, а провинциальных гостиниц госпожа Купер боялась. И не без основания. Блох и клопов там хватало.

Путешествие оказалось менее приятным, чем мы надеялись. Температура воздуха не превышала семи градусов, тело обволакивала сырость, над рекой тянул холодный ветер. Хотя мы были тепло одеты, госпоже Купер надоело восхищаться с палубы лесами на берегах, и она выразила желание спуститься в каюту.

— Только Айрини может взбрести в голову шальная мысль тащиться куда-то в такую погоду, — сказала госпожа Купер, поставив ногу на ступеньку трапа. — Здесь не Лос-Анджелес и не Майами. Здесь — холодная Литва.

— Иногда в мае донимает жара, — попытался я заступиться за Литву, — и люди тоже прячутся в каютах, но от солнца.

— Я останусь на палубе, мама, — сказала Айрини. — Можем сойти в Лампеджый и вернуться на автобусе. Не знаю, почему ты вечно ворчишь.

Слова предназначались маме, но она вряд ли их расслышала. Каблучки уже стучали по ступенькам внизу трапа.

— Ирена, — сказал я. — И твоя мама и твой брат не дают нам остаться вдвоем. Неужели они так мне не доверяют?

— Может они не доверяют мне? — рассмеялась Айрини. — Да и какая разница?

— Ну, некоторая разница все-таки есть.

— Я прихожу к тебе, и мы целуемся, Каролис.

— Я люблю тебя, Ирена.

— Тебе недостаточно поцелуев?

— Мы даже не можем поговорить толком, — сказал я, не отвечая на вопрос. — В Литве нет миллионера, за которого Чарли мог бы тебя выдать. Один Вайлокайтис женат, другой — ксендз. За еврея тебя не отдадут. Да и еврей на тебе не женится. Разве дохода врача

нам бы не хватило на жизнь? Неужели твоему брату даже ты должна приносить доход? Удивляюсь, как он еще не выдал замуж свою маму. Госпожа Купер еще весьма привлекательная женщина.

— Оставь ее в покое. Ей уже хватит, намучилась с моим отцом. К счастью, он догадался повеситься. Из-за какой-то шлюхи, которая шантажировала его, требуя черт знает сколько денег. Когда мой отец спал с ней, их фотографировали, и эта девка угрожала опубликовать фотографии. Когда отец повесился, она потребовала денег у Чарли. Тот ее просто спустил с лестницы, вот и кончился весь шантаж. Состояние отец выиграл на бирже, он скупил акции, их курс поднялся, и он собирался их продать, потому что ему сообщили, что курс упадет, но это была неправда. Так что он вовремя покончил с собой. Видишь, какая у нас семья? Кругом деньги. Даже в любви. Но я выйду за тебя, если ты действительно на мне женишься. Ты — другой. Зарабатываешь немалые деньги, и даже этому не радуешься. Станный человек, впервые такого вижу.

— И только поэтому я тебе нравлюсь?

— Нет, Каролис. Наверно, ты будешь чудесным любовником. Но об этом я узнаю только после свадьбы. Иначе ты перестал бы меня уважать.

Мы миновали Лампеджюй, забыв, что собирались здесь сойти.

Ничего, сойдем в Качергине.

Перед домиками на самом берегу кое-где уже, наверно, раскрывалась сирень. Еще не хватает тепла. Но завтра-послезавтра сирень расцветет, хотя сюда, на середину реки, все равно не долетит ее аромат. Здесь пахнет машинным маслом. На маленьком пароходике, куда ни повернешься, он всюду преследует тебя. Даже домой ты принесешь этот запах, впитавшийся в одежду. Или это только покажется. Не все ли равно? А может, сирень уже цветет на берегу? С парохода не видно — Неман достаточно широк.

— У моего отца тоже была любовница, — ни с того ни с сего сказал я. — Рыженькая крошка Хеля из страхового общества. И я его оправдываю. Он был очень

несчастен. А несчастному мужчине надо, чтоб кто-нибудь им восхищался, ласкал его, говорил о любви. Это нужно каждому мужчине, а уж несчастному — тем более. Отец переживал, что бедно меня одевал, а я, представь себе, даже не помню этого, мне кажется, я с самого детства был элегантен. И, понимаешь, я не слышал дома ссор, родители цапались, когда мы с сестрой уже спали. Нет, отец-то не ругался, ему самому доставалось от матери, что другие зарабатывают больше его. Проклятые деньги! И хотя ссор мы не слышали, мы чувствовали что-то неладное — в нашем доме не было тепла. Может поэтому мне так хочется тепла сейчас.

— И ты женишься на девушке, которая будет пилить тебя, что мало зарабатываешь.

— Но я зарабатываю много.

— Это я в шутку. А может, и всерьез.— Она взяла мою руку и стала играть моими пальцами.— О какой свадьбе ты говоришь, если и двух месяцев не прошло с гибели Уолтера?

— Мы можем пожениться и без марша Мендельсона, и без твоего свадебного платья, шлейф которого несли бы две маленькие девочки.

— Еще не время.

— Когда же, Ирена?

— Когда исполнится год с того ужасного дня. Осталось десять месяцев. Только десять месяцев.

Пароход загудел. Почему он гудел, ему одному известно. Может, потому, что уже недалеко была Качергине.

Но я еще не видел на левом берегу ни одного домика, даже деревянной пристани.

— Знаешь что?— сказал я.— С понедельника в «Форме» новая картина. Хоть нам хватает приключений и в жизни, посмотрим их на экране.

Я вынул из кармана плаща газету и ткнул пальцем в объявление. Наши лица соприкоснулись. Тепло ее щеки заструилось в меня словно электрический ток, заряжающий аккумулятор, но я почему-то почувствовал себя опустошенным, может, из-за этих десяти ме-

сяцев, которые придется ждать. Мы читали молча, хотя губы Ирены медленно шевелились:

Премьера

Мария Андергаст и Альберт Шёнхальс
в новой ленте с приключениями и интересными
ситуациями

ЕЕ БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Убийство знаменитого боксера. Шантаж со стороны
мнимого друга. Необычайная карьера продавщицы
газет.

Ю-ю — продавщица газет.

Ю-ю — актриса театра.

Ю-ю — жена инженера.

Действие происходит в Америке и Европе.

Пароход загудел снова.

Ирена не была ни продавщицей газет, ни актрисой
театра. Она не была даже Ю-ю.

Но она не была и Иреной. Только Айрини.

Она прочитала объявление, отодвинулась от меня
и о чем-то задумалась. Может, она просто забыла, где
живет — в Америке или в Европе?

*

А на следующий день, получив телеграмму о болезни тети Антоси, я отправился в избушку неподалеку от Шештокай. Сообщил об этом Айрини по телефону и услышал ее «буду ждать».

Не надеялся, что болезнь будет легкая. Телеграмму из литовской деревни по пустякам не пошлют. Рассчитывал на самое худшее.

Положение оказалось даже хуже, чем я думал. За тетей ухаживали чужие женщины, потому что старая родственница Антоси, которую видел, когда навещал отца, проектирующего мельницы над Каунасом, сама уже гнила в земле. В этом нет ничего удивительного, она была старше Антоси.

И никакой особенной болезнью тетя Антосе, наверно, не страдала. Говорю «наверно», потому что един-

ственное, чем я располагал для диагноза, был стетоскоп и мои ощущения.

Слишком изнашивался организм, вот и все. В деревне здоровы только молодые женщины. А если старая и не очень зажиточная — здоровья не ищи. Работа от зари до зари, постоянный страх, что придет судебный пристав и опишет единственную корову за долги, вечера у керосиновой лампы с зеленым абажуром...

За Антосей я ухаживал сам. Конечно, помогали и женщины, такие же бедолаги, как моя тетя: я-то был мужчиной, и тетя меня стеснялась.

Так прошло десять дней в избенке на опушке небольшого леса.

Похоронив тетю, я вернулся в Каунас. Не было у меня рецепта на эликсир молодости. Я был подавлен и удивлен: по своим годам Антосе могла жить и жить. Но мне казалось, что жить ей уже не хотелось. Ничто не привязывало ее к земле, даже цветущая сирень под окном.

Теперь единственными владельцами избы, крохотного огорода, коровы, кур и небольшого клочка земли стали мы с сестрой. Я не сообщил сестре о болезни тети Антоси и не был уверен, правильно ли поступил. Что ж, все это имущество я передам сестре, откажусь от своей доли.

Сразу к нотариусу не пошел. Вернувшись в Каунас, я первым делом позвонил Айрини. Телефон не ответил. С матерью ходит по магазинам, наверно... Когда не дозвонился и вечером, подумал, что могли уехать с Чарли за город. За эти дни потеплело, и в конце мая неприятно дышать городской пылью.

Прогуляться вышел поздно, когда на улицах уже давно горели фонари, а зарево заката успело поблекнуть.

В окнах госпожи Купер не было света. Вошел во двор. Гараж заперт, машины во дворе нет. В окнах над гаражом, в квартире Чарли, тоже темно.

Рассердился на себя, что не расспросил днем дворника. Ладно, успею узнать. Скорее всего, Куперы отдыхают на одной из своих дач в Лампеджяй. Неужели

Чарли настолько жаден, что сдаст все до единой, не оставив даже уголка для своей семьи?

Проснувшись позже обычного (после дежурства у тети Антоси я все не мог отоспаться), с утра улаживал дела у нотариуса. Все это заняло больше времени, чем я предполагал, и все равно формальности не были еще закончены. Нотариус и не обещал быстро все уладить. Предстояло доказать на все сто процентов, что мы с сестрой — единственные наследники, что нет других претендентов.

Дворник орудовал метлой перед гаражом.

— Добрый день, — сказал я. — Куперы, наверно, уехали?

— Уехали.

— На автомобиле, конечно?

— На поезде. Автомобиль они продали.

— Как это — продали?

— Взяли да продали. Вам лучше знать.

— Почему? У меня автомобиля нету — не знаю, как их продают. Не говорили, когда вернутся?

— Кому? Мне? Со мной о таких вещах не говорили.

— Ну, простите. Вы правы. Подождем, пока вернутся.

— А вам, барин, долго придется ждать.

— Не понял вас.

— Дядя вам объяснит. Дядя моего бывшего хозяина. Он в собственном доме живет, в гостинице. Не в том с барышнями, а в приличном, рядом с собором.

Я поблагодарил и, начиная тревожиться, вышел на улицу. Мне показалось, что дворник, хоть и говорил вежливо, все-таки надо мной посмеивался. Я-то знал, в каком доме живет этот старый американец, только очень уж не хотелось идти к нему.

И все-таки я пошел.

Дядю Чарли я застал дома. Горничная долго не хотела меня впускать, допрашивала почти как Стасюкайтис. Правда, ногами все-таки не пинала.

Наконец в раздвижных дверях показался сам богач Купер. Может, мне только показалось, но с того памятного банкета он постарел еще больше. И кожа лица

пожелтела. Тогда, при ресторанном освещении, я этого вроде не заметил.

— О, доктор! Заходи. Я должен был чек послать, только не знал, куда.

— Какой еще чек?

— Ты за столом мне советы давал.

— Не давал я вам никаких советов. Вы сами о болезнях рассказывали.

— А мне кажется, что давал. Если нет — тем лучше. Я здоров, как лошадь, вот только живот пучит. Может, пощупаешь меня? К докторам ходить не люблю, вызывать тоже не хочется. А раз ты сам пришел...

— Могу и пощупать, только я не за тем пришел.

— Из-за Чарли?

— Да.

— Он и тебе должен?

— Нет. Послушайте, все говорят одними догадками.

— А ты откуда? С луны свалился?

— Из деревни приехал. Из-под Шештокай.

— Мне кажется, и до Шештокай такие вести доходят. Чарли сбежал.

Хоть убей, я все еще ничего не понимал.

— От кого сбежал?

— А просто так. Решил, что в Литве богатым людям становится беспокойно, и сбежал.

— Гитлера он не боялся.

— Зачем же нам, доктор, теперь прикидывать, чего он боялся. А по случаю этих страхов и меня обокрал.

Меня не волновало, что Чарли надул своего дядю. Стоит ли переживать из-за драки двух пауков?

— А Айрини? — спросил я. — Ирена? Где же она?

— Вместе с ним. Айрини — тоже часть его имущества. Чарли дорого ее продаст. Своего брата тоже безносой запродаст. Получал ли ты хоть что-нибудь от Чарли? Он умеет только брать. Это не так уж плохо, иначе не станешь богатым. Хотя надо уметь и давать — иногда это приносит еще большую прибыль. Только голова у Чарли для этого слишком тупая. Свое я, конечно, верну, и за океаном его достану. Не отдаст по-хорошему — самую дорогую цену заплатит. — Не

ожидая моего вопроса о том, как его обокрал племянник, старик продолжал говорить. Я между тем осматривал комнату. Что ж, моя квартира была куда лучше. Новенькая мебель, сверкающая светлым лаком, могла потрясти только невежественного сноба. Таким и был мой собеседник. Я подумал: как таким примитивным личностям удастся сколотить капитал? Ведь даже жулику нужна сообразительность.— Видишь ли, доктор, он уступил мне половину «Женева», ресторан — бывший чемпион Литвы по боксу у двери, кого следует вышибает, рост два метра, оркестр с бывшим учителем музыки, еще гостиница, а люди не ангелы, и святые семь раз на дню грешат, я ему деньги вручаю, договариваемся через три дня акт купли-продажи по-казенному составить, а он эту свою половину взял да еще раз продал — и все трое через границу!.. Об этом мне потом в полиции сообщили. А задержать его нельзя — деньги плачены без свидетелей. Знал я, что подлец, но дядю, думал, не посмеет надуть, потому что дядя и его пожестче будет.

— А остальные дома?

— Тоже продал. Даже не очень-то дорого. И на мою голову кое-где новых совладельцев посадил. А убытки, так сказать, с меня урвал. А ты чего нос повесил-то? Можно подумать, не меня обокрали, а тебя. Сейчас пиджак сниму, расстегнусь, а ты давай мой живот пощупай.

В тот день я ходил как лунатик. Не понимал уже — люблю я Айрины или ненавижу. Наверно, и то, и другое. А она? Не будь я в деревне — удалось ли бы мне ее удержать? Может, и уговорил бы остаться, спрятал бы даже.

Говорил себе «может» и знал, что это не так. Семени одного дерева падают неподалеку. Иногда бывает, подхватит семя ветер и унесет вдаль. Но Айрины не из таких.

Однако семья Куперов не все распродала. Дамский револьвер с инкрустациями из слоновой кости остался мне. Я вытащил обойму. Отливали медью маленькие пульки. Как знать, дрогнет ли рука, если прицелиться

в Чарли? Сильное тело, приспущенные веки, бледное лицо и искусственная улыбка.

Нет, я не смог бы нажать на курок. Пожалуй, с удовольствием выстрелил бы в эту улыбку, а вот в тело — нет. Может, это сделают другие — кого наймет старик Купер. Может, Джим, которому старик заплатит больше, чем платил Чарли.

Я спрятал маленький пистолет.

Единственная память об Айрини.

Вечером пошел в «Женеву». Бывший чемпион в тяжелом весе оценил меня, видимо, положительно, потому что пропустил. Ресторан был набит битком.

— Вот с местами плохо, — сказал чемпион. — Знакомых не видите?

— Не хочу я никаких знакомых.

Сунул ему в руку пять литов.

Столик нашелся у самого оркестра. Пожалуй, этот маленький столик принесли специально для меня. Бывший учитель гимназии играл на скрипке. Играл довольно скверно, покачивая головой и всем телом. Но в целом оркестр звучал сносно.

Танго «Аргентина».

Ко мне под села белокурая красавица. Даже не спросила разрешения, только улыбнулась и села.

— Что тебе заказать? — спросил я.

— Все равно. Что подороже. Нам приказано так заказывать.

— Ты — искренняя девочка, — сказал я. — Как ты сюда попала, в этот бордель?

— Вы не из полиции?

— Разве полиция заказывает?

— Нет. Чудные вопросы задаете. Другие угощают и сразу ведут наверх.

— А я буду угощать и не поведу тебя наверх.

— Тогда вы первый такой мужчина. Правда, были еще такие, но они. . . Они — другие.

— И я другой.

— Э, я не об этом.

— А все-таки, как ты здесь оказалась?

На вопрос она не отвечала долго. Объяснила только, что публичных домов в Литве нет, а комнату в гостинице имеет право снять любой мужчина. И я в том числе.

Потом, после нескольких рюмок крупникаса, рассказала, что ее обманул любимый, женившись на другой. А она была даже чемпионкой по плаванию Панявежиса. И гимназию не кончила из-за этого парня. А родители ее даже не искали. Еще три сестры и два брата дома. Младше ее.

Я сунул ей в руку банкнот. Девочка и правда была неиспорчена — не хотела брать денег за несделанную работу.

Вышел из ресторана.

На вокзале лязгали, сталкиваясь, вагоны. Наверно, товарные. Звуки эти долетали до улицы Бажничюс, когда я еще был гимназистом.

Не помню, о чем еще думал по дороге домой. Только не об Ирене.

Поднявшись на удобном лифте, я снова оказался среди своей мебели красного дерева.

ЭПИЛОГ

или
АЛДОНА-ЮЛИЯ

I

Я проснулся в холодном поту посреди ночи и долго не мог понять, ни где я, ни кто я.

Мне приснилась улица Жемайчу, круто спускающаяся, потом так же круто поднимающаяся, узкие переулки с покосившимися лачугами и добротными деревянными домами, с садами, террасами, уходящими вниз, словно здесь не Литва, а какой-нибудь горный край. Я почему-то сворачиваю на улицу Вайсю и едва успеваю сделать по ней несколько шагов, как на углу переулка на меня накидывается огромная лохматая собака. «Песик,— говорю я,— хороший песик, я не в твои владения иду, а улица принадлежит всем. Оставь меня в покое». Но глаза собаки налились кровью, и собака уже не собака, а скорее оборотень, и не оборотень даже, а Тадас Стасюкайтис, а может, сутенер Викте: это сон, мне не обязательно точно знать, кто из них на меня набросился; наконец они оба били меня ногами по голове. Оборотень, а может, Стасюкайтис или сутенер, все ближе, и меня охватывает ужас, потому что оборотень этот не говорит ни слова; уж лучше это была бы собака — с собакой еще можно столковаться.

Чудовище совсем близко — вот-вот схватит меня за горло и задушит, или повалит на землю и снова будет бить башмаками по голове,— но я вспоминаю о револьвере Айрины. Сую руку в карман, но вытащить

уже не успеваю — схватили за горло. Стреляю через карман — раз, другой, третий... Горло свободно, я могу дышать. Думаю: «Опять попал в живот». Сейчас я уже знаю, как прошли эти пули — через кишки в брюшную артерию, а потом — в позвоночник или в почки...

Просыпаюсь в холодном поту и считаю выстрелы: четвертый... пятый... Сбиваюсь со счета. Целая очередь. Значит, стреляю не я, у меня в руках нет оружия — ни монтекристо, ни дамского револьвера.

— Что с тобой? — спрашивает Алдона-Юлия. Когда я просыпаюсь, она тоже всегда вскакивает.

— На улице стреляют.

— Ведь каждую ночь...

— Каждую ночь, — повторяю я. — Приснилась какая-то чушь.

— Логичных снов не бывает, — говорит Алдона-Юлия. — Спи, милый.

И она засыпает.

Я подсовываю локоть под ее голову. Знаю, она это любит, хоть ей и не очень-то удобно, да еще боится, что у меня рука онемееет. А когда ее голова лежит на моем локте, я чувствую себя в полной безопасности.

Редкое чувство в годы немецкой оккупации.

Теперь сон не сморит меня до самого утра, я знаю это. Не велика печаль — крепче буду спать завтра.

Наконец-то я докопался до корней этого кошмара. Сны ведь не возникают из ничего. Иногда корни у них длинные и уходят в далекое детство. Иногда они во вчерашнем дне.

Так случилось и со мной.

На улице я встретил Стасюкайтиса.

Видал ли он меня? Не знаю. Я-то его увидел. И тут же смешался с прохожими, стучащими деревянными подошвами по тротуару, потому что лишь богачи могли купить обувь из эрзац-кожи. А вот я не стучал ни деревяшками, ни каблуками из кожаменителя. Я был в ботинках из настоящей кожи.

Стасюкайтис разгуливал в штатском. А ведь в первые дни немецкой оккупации он вышагивал по улицам Каунаса в фашистском мундире.

Кончалось лето тысяча девятьсот сорок второго года.

Уже мало действовали угрозы оккупантов: «За каждого убитого солдата германской армии будет немедленно расстреляно не менее сотни местных жителей литовцев».

Наскочив на мину, взлетели в воздух немецкие грузовики. Валились под откос поезда. Не один немец сложил голову на оккупированной территории Литвы.

И не один литовец, служивший фашистам.

Вот почему полицейские боялись по ночам появляться на улицах, а литовцы-гестаповцы полюбили штатскую одежду.

Тадас Стасюкайтис тоже.

Заметил ли он меня? Наверно, нет. Но если я его разглядел, он тоже мог меня увидеть. Я притворился, что не заметил его; то же мог сделать и Стасюкайтис.

А ведь из Каунаса в Вильнюс я перебрался отчасти по его вине.

Подчеркиваю: отчасти.

Главной причиной была Алдона-Юлия.

Неужели нужна была жестокая война, чтобы мы наконец нашли друг друга?

За окном давно смолкли выстрелы. Я живу в сравнительно спокойном месте. Тихая улица Чюрлёниса, большой каменный дом. Две комнаты, которые я снимаю — только часть просторной квартиры.

Остальные жильцы — поляки. Одни — местные (у них я и снимаю эти комнаты), другие — беженцы, пытавшиеся уйти от немцев три года назад, когда рухнула панская Польша.

Но фашистские полчища настигли их и здесь.

У нашей квартиры два выхода, это я хорошо изучил. Мне кажется, соседи-поляки знают об этом не хуже меня. Через кухонную дверь можно попасть во двор. Но по лестнице можно подняться и на чердак. Там под самой крышей можно пробраться на чердак соседнего дома и оттуда спуститься в другой двор.

В такое время, когда за одного убитого солдата могут полететь головы всех жильцов дома, а уж муж-

чин — без всякого сомнения, надо знать географию дворов.

Как знать, кто и когда пристрелит врага у твоего подъезда.

Но выстрелы, которые только что отгремели — не у нашего дома. Поэтому не надо одеваться и прислушиваться — не подъехали ли военные машины, не гремят ли по лестнице кованые сапоги.

*

Как же мы снова сблизились с Алдоной-Юлией?

Еще до того дня, как на Каунас однажды утром нагрянула война, меня тянуло зайти к ней. Может, воскресли старые воспоминания, связывавшие жениха и невесту? Ведь мы были помолвлены, пока между нами не встала тень Аниты. Говорю «тень», потому что Ани-та исчезла, а Алдона-Юлия по-прежнему ходила в свою поликлинику, а на досуге читала пухлые медицинские книги или играла на пианино — ее пальцы оставались гибкими, как и положено окулисту. А может, по вечерам она играла в карты с отцом и матерью? Зенонас Кубилявичюс, ставший Кубилюсом, не пожелал портить свою репутацию браком с полуеврейкой, которую из-за этого даже не приняли в филистеры корпорации. Да и сколько может продолжаться любовь? Это чувство не положишь на весы и не подсчитаешь в виде золотых сливок, а Кубилюс любил конкретность.

Да, наверно, я жалел Алдону-Юлию. Я даже перестал здороваться с Зенонасом, словно развод оскорбил меня лично. Не думаю, что это его огорчило, но что он удивился, в этом я не сомневался. Может, даже обиделся.

По утрам я уже не ходил в клинику профессора Хаберланда, потому что он со всей семьей репатриировал в Германию, а его клиника была закрыта еще раньше. Я работал в городской больнице.

К Палёнисам я пришел в первый же день войны. Фронт приближался, его отголоски слышны и видны

были и в Каунасе. В городе уже раздавались выстрелы: личности, нацепившие на рукава белые повязки, стреляли из-за угла в советских солдат. А солдаты казались растерянными, война для них была неожиданностью. Уже раньше о ней говорили вполголоса, но это казалось слишком страшным, чтобы могло превратиться в действительность.

Палёнисы не удивились моему приходу. Госпожа Цецилия, может, и была несколько холодна — как-никак я был женихом ее дочери, и свадьба расстроилась по моей вине.

— Заходи,— сказала Алдона-Юлия.

Квартира не изменилась. На стене тихо струилась река Жмуйдзинавичюса, а часовой Шимониса все еще охранял древний замок.

— Интересно, убережет ли он покой вашего дома,— сказал я, кивнув на часового.— Вашей семье надо эвакуироваться. Еще не поздно. Плюньте на вещи. Спасайте жизнь матери.

— Ты считаешь немцев зверьми?— спросила Алдона-Юлия.

— Немцев — нет, а фашистов — да. Разве ты не читала, как поступают с евреями в Германии? И не только с ними.

— Неужели ты веришь всему, что пишут газеты?— довольно равнодушно сказала моя бывшая невеста. Она казалась встревоженной, но думала, что ее семьи война не коснется. Пронесется мимо, а квартира останется. Как оазис среди пустыни.

— Если в газетах есть хоть крупица правды, вы должны эвакуироваться немедленно.

На этих словах вошел доктор Палёнис. То ли потому, что я давно не видел его, то ли от последних событий, он казался постаревшим.

— Куда эвакуироваться?— спросил он.— С кем эвакуироваться? С русскими?

— К эвакуации готовятся и многие литовцы, доктор.

— Литовцы-коммунисты, коллега Тулейкис.

— И антифашисты,— возразил я.

— А вы? Вы уезжаете?

Я растерялся. На самом деле, о себе я даже не подумал.

— Разумеется. Уеду вместе с вами.

— Как мило, что ты о нас вспомнил,— с горечью сказала Алдона-Юлия.— Вот мама, например, никуда не хочет уезжать. Ей не нравится, что национализировали дома. Ей не нравится этот строй. Ей не нравится, что арестовали много народу.

— Алдона-Юлия,— сказал я.— Я жил в доме очень богатого человека. Пять этажей с полуподвалом и мансардой. А эта мансарда — уже шестой этаж. Но я не об этом. Господин Хаймович прибежал прятаться даже ко мне. Когда шли аресты. В конце концов вернулся в свою квартиру, и его забрал НКВД. Может, не только за то, что он был богачом, может, утаил какую-то часть имущества, не сообщил о нем, я в этом не разбираюсь.

— Вот видите,— вставил доктор Палёнис.

— Да,— продолжал я.— И мне кажется, что НКВД, увозя его из Каунаса, вопреки воле господина Хаймовича даровал ему жизнь. В России ему голову не снимут, а при немцах он не сносил бы головы.

— Абсурд,— сказал доктор Палёнис.

Больше мы этой темы не касались. Я посидел, даже выпил чая. Послушали противоречивые сообщения по радио, но ясно было одно: гитлеровский удар оказался сокрушительным.

Ночью я слышал шум на улицах, грохот солдатских обозов, автоматные очереди, ругань и стоны. Из своей квартиры с мебелью красного дерева я вслушивался в то, что творится внизу, в мире простолюдинов. И хотя я уже успел в какой-то мере превратиться в сноба, все-таки понял, что оставаться здесь не следует.

Я не сомневался, что в город войдут гитлеровские войска.

Они появились раньше, чем я предполагал.

Госпожа Цецилия Палёнене не захотела носить звезду Давида. Она перестала появляться на улице. Но в аккуратных книгах гестапо она была зарегистрирована как еврейка, и доктор Палёнис получил приказ развестись с ней.

Во второй половине июля ей и Алдоне-Юлии предстояло переселиться в Вилиямпольское гетто.

Госпожу Цецилию увезли туда силой. Алдону-Юлию — нет.

Алдона-Юлия несколько дней скрывалась у меня, а когда в Каунасе появился Стасюкайтис в форме гестаповца и в моей квартире стало небезопасно, мы нашли для Алдоны новое убежище — у пожилой женщины, тоже глазного врача. Тогда я еще не знал, что эта женщина войдет в историю Литвы. Она спасла много человеческих жизней.

Семья Палёнисов перестала существовать. Осталась лишь квартира с идиллическими картинами, старинным серебром, удобными креслами и вдруг состарившимся доктором среди роскошной обстановки.

Когда дворник предупредил меня, что в моей квартире побывали гестаповцы, я понял, что и мне в Каунасе не место.

Но разве я мог оставить Алдону-Юлию?

*

Медик без интуиции — только половина медика. Конечно, никакой метафизики в этом нет. Интуиция — это сгусток опыта, запечатленный в подкорке мозга. Из этой подкорки он прорывается в сознание неожиданно, и тогда кажется, что вяло ползущие мысли озаряет молния.

Но что общего с медициной имело мое желание побывать во дворе бывшей клиники Хаберланда? Что меня туда влекло? Конечно, и в этом не было никакой мистики: решив оставить Каунас, я хотел взглянуть на те места, с которыми связаны воспоминания.

Калитка была сорвана с петель, а сад переливался всеми цветами радуги. Но разве могут быть фиолетовые листья? Конечно, нет. Взяв в руки лист, я увидел, что он бархатно-зеленый. А издали дерево казалось фиолетовым.

Лето уже заканчивалось, в саду преобладал золотой цвет.

Я подошел к корпусам и остановился. Сквозь раду-гу листьев я не разглядел военных грузовиков. Два солдата тащили в корпус железную койку.

Я повернул обратно.

— Стой!— услышал резкий окрик. (Конечно, это было: „Halt“.)

Топча блестящими сапогами золотистые листья, ко мне приближался немецкий часовой. Он подтолкнул меня дулом автомата в сторону корпуса.

Я попытался объяснить по-немецки, почему я сюда пришел и что раньше я здесь работал. В ответ мне приказали закрыть пасть.

В павильоне увидел сдвинутые к стенам еще пустующие койки и понял, что здесь готовят госпиталь.

За белым железным столиком сидел немецкий офицер.

— Роберт!— крикнул я.— Простите, доктор Хаберланд!

— Откуда ты?..— с меньшим удивлением спросил тот по-литовски.

Часовой опустил автомат и, поняв, что совершил оплошность, прицелкнул каблуками.

— Тянет в старые места,— сказал я.— Этому парню показалось, что я собираюсь взорвать ваш госпиталь.

— Война есть война, Тулейкис. Не думал, что доведется встретиться.

— Как профессор Хаберланд? Как госпожа Аусма? О ней спросил, конечно, из вежливости.

— Долго рассказывать. А мне как раз придется уезжать. Кстати, завтра я перебираюсь в Вильнюс. Моя специальность — устройство госпиталей.

— А как операции?

— Приходится... Чаше оперирую, чем играю в теннис.

— Роберт,— начал я, подстегнутый неожиданной мыслью,— а меня ты не мог бы подбросить до Вильнюса? На поездах теперь штатским сложно, пешком — еще сложнее.

— Жарко стало, Тулейкис?

— Немного.— Решил поставить все на карту.— Есть тут у меня школьный товарищ, готов с меня живьем шкуру содрать. Теперь в гестапо работает.

— Что же, столько я могу.

— С женой,— добавил я.

— О, поздравляю. Кто она?

— Дочь доктора Палёниса.

— Ну-ка, ну-ка... Помню. Развод с мужем. Рассо-
вая история.

— Да. Как и у твоего брата.

И испугался. Не стоило мне этого говорить. Но Роберт Хаберланд пропустил это мимо ушей.

— Она не в гетто?

— Нет.

— Кажется, она может избежать гетто. Надо только пройти стерилизацию. Тебе придется ее бросить, Каролис. Заставят.

— Наверно. Но теперь нам надо в Вильнюс.

— Что ж... Чего не сделаешь ради старой дружбы...

Вот так вечером следующего дня мы с Алдоной-Юлией оказались в Вильнюсе.

II

Сначала мы поселились на улице Полоцко. Дома высились почти на самом обрыве Вильняле. Обмелевшая речушка журчала по камням, но это журчание не заглушало гула танков и самоходок.

Немецкая техника катилась на восток.

Год назад Oberkommando der Wehrmacht объявляла, что взятие Москвы — вопрос дней.

Теперь говорили о Сталинграде.

Немецкие газеты писали: «Имя Сталинграда упоминается во всех разговорах. Все взгляды и все мысли концентрируются вокруг этого символа большевистской власти, который должен пасть и который падет».

Даже сейчас, тридцать лет спустя, я помню это предложение слово в слово. Я знал: если погибнет Сталинград, погибнем и мы — я, Алдона-Юлия, старый доктор Палёнис, Каунас, Вильнюс, Литва.

А госпожа Цецилия уже исчезла из этого мира. Доктора Палёниса строго предупредили не слоняться возле ворот каунасского гетто. И все же он нашел способ поддерживать связь с женой.

Но связь оборвалась. Видимо, став когда-то женой Палёниса, госпожа Цецилия совершила второе преступление. Первым было то, что она родилась в еврейской семье.

За два преступления уничтожают раньше, чем за одно.

«Уничтожают» стало таким же привычным словом, как «воздух» или «вода», и более частым, чем «хлеб» — хлеба было мало. И слово «уничтожают» звучало нейтрально, технически, как будто речь шла о дезинфекции или избавлении от клопов в квартире. Никого уже не удивляли колонны, бредущие в Панеряй. Выстрелы в гетто стали привычнее карканья ворон. Кровь на улице пугала столько же, как и разлитая краска, которой можно запачкать одежду. Правда, красок уже не было. А крови еще осталось.

На улице Полоцко мы жили у дальних родственников Палёниса. Это были порядочные и осторожные люди, но осторожность у них чуть-чуть преобладала над порядочностью, потому что однажды они, не глядя нам в глаза (подлецы-то не боялись бы нашего взгляда), сказали, что не могут из-за нас рисковать жизнью. За меня-то они не беспокоятся — я и прописан, и работаю в больнице святого Якова, а с Алдоной-Юлией дело плохо. Правда, в паспорте у нее написано «литовка», но ведь вильнюсскому гестапо наверняка уже сообщили о ней из Каунаса.

Конечно, Алдону-Юлию я в полиции не прописывал. Целыми днями она сидела дома, но ведь стоило, чтоб любопытный глаз заметил ее — и не сдобровать всему дому.

Опасения родственников были не лишены основания.

Комнаты на улице Чюрлёниса я снял по рекомендации коллеги врача-поляка. Это был старый человек, уже под семьдесят, а может, и за семьдесят, опытный терапевт, работавший рядовым врачом, хотя все мы постоянно консультировались у него.

На улице Чюрлёниса люди жили (так мне казалось) с поддельными документами под чужими фамилиями. Они приняли нас недоверчиво, и только доктор Рудзинский наконец убедил их нас не бояться.

Алдону-Юлию я и здесь не стал прописывать.

С хозяевами мы договорились: если случится непредвиденный обыск, они объявят, что Алдона-Юлия только сегодня (или вчера) приехала из Каунаса. В паспорте у нее стояло «Кубилене», но вряд ли гестапо не знало этой фамилии. Однако патрулей, ищущих скрывающихся евреев, такая фамилия могла бы удовлетворить.

Девичья фамилия — тоже.

Доктор Палёнис не навещал дочку, чтобы не подвергать ее еще большей опасности. Ведь версия Палёниса, что дочка пропала без вести, вряд ли убедила гестапо. Конечно, у этого учреждения были и другие заботы, не только дочка Палёниса, которая раньше или позже объявится, если только не ушла на Восток.

Вершилось явное, ничем не прикрытое истребление людей.

*

Проснулся я в холодном поту, как уже рассказывал. За завтраком (ломтик хлеба, напоминающего глину, с мармеладом из кормовой свеклы и чашка кипятка, настоянного на листьях малины) я смотрел на Алдону-Юлию и удивлялся, что, несмотря на страх, голод и отсутствие свежего воздуха, волосы ее все еще были пышными и крепкими (красить волосы перекисью Алдона-Юлия отказалась, наконец, важнее были документы, а не цвет волос), зубы здоровыми и красивыми (хотя она улыбалась редко), только на лице

проступила синева, словно девушка только чуть-чуть устала, словно она не зверь, за которым идет охота.

По дороге в больницу я раздумывал, как реализовать план, который уже два дня созревал в моей голове. Конечно, пришлось бы вовлечь в заговор еще двух человек — регистратора больницы, в распоряжении которого был больничный архив, ну и кого-нибудь из патологоанатомов, не обязательно врача, это мог быть обычный лаборант... Но как убедиться, что среди них нет предателя?

План не отличался сложностью, и не я первый его придумал. Надо было в книгах и в истории болезни (ее пришлось бы сочинить) умертвить Алдону-Юлию, а документы умершей «стопроцентной арийки» вручить Алдоне-Юлии.

Но даже это было почти невозможно, потому что возраст и внешность умершей должны были соответствовать возрасту и внешности моей жены. (Говорю «жена» — так оно и было, хотя формально пожениться мы не могли.) Умершая должна быть одинокой, ведь Алдоне-Юлии нельзя встретить ни одного человека, который бы знал умершую...

Но эта авантюра была единственно возможной. В Вильнюсе, конечно, были отличные специалисты, подделывавшие документы, но я их не знал. Большая часть вильнюсцев числилась в подполье, но я оставался в стороне. У коммунистов было свое подполье, у польских националистов — свое, а я был ни то ни се, неорганизованный антифашист. Польские националисты были моими врагами, коммунисты тоже не считали меня своим. Да и где я бы мог найти этих коммунистов?

Работа в больнице была особенно противной. Не хватало лекарств, их можно было купить только на черном рынке. У нас были только травяные настои и таблетки, которыми лечились еще наши деды... Больные жили впроголодь, как и большинство жителей города, за исключением «победителей» и спекулянтов. Чем же мы тогда лечили своих больных? Наверно, одним внушением. Что ж, и это неплохо... Вся беда в

том, что мы сами не верили в то, что говорили. Значит, и внушения не было...

Я вышел из палаты, в которой, к счастью, лежали здоровые молодые люди, увливающие от принудительного путешествия в Германию. Все жаловались на боли, хотя легкие у них работали как кузнечные мехи, сердца — как отличные насосы, только кишки верещали. От голода.

Разумеется, я не писал, что эти люди здоровы. Приходилось порядком поломать голову, чтобы найти болезнь. Даже гемоглобин, как на грех, чаще всего был отличный. Оставался только авитаминоз — им страдали все. Но и такой диагноз больше подходил весне, а сейчас была только середина сентября.

Итак, я вышел из палаты и наткнулся на врача Навицкаса. Курчавый брюнет — и настоящий ариец! Редкое везение. Правда, фюрер тоже брюнет...

— Читали? — спросил Навицкас.

— Берегу нервы и не читаю.

— Мне кажется, уже можно и почитать... В этих победных фанфарах гремит отчаяние, доктор Тулейкис. Но хватает и прежнего бреда с манией величия.

Я оглянулся, не слышит ли кто.

— Что же нового сегодня? — спросил я.

Навицкас вытащил газету и торжественно прочитал:

«В газете „Deutsche Arbeit“, которая посвящена вопросам колонизации Востока, рейхсфюрер СС поместил такую передовую статью: «Наша задача — не германизировать Восток в старом смысле, т. е. навязать живущим здесь людям немецкий язык и немецкие законы, а позаботиться о том, чтобы на Востоке жили люди только с подлинно немецкой, германской кровью».

— Все ясно, — сказал я. — Нам с вами предназначено место за Уралом или на небесах.

— Скорее на небесах. Статья названа «Германизировать?» — с вопросительным знаком, доктор Тулейкис. Перепечатано из еженедельника „Das Schwarze Korps“. А за правильность перевода на литовский не отвечаю.

— Не по-литовски написано, хоть слова и литовские. Я рад, что вы не собираетесь служить «Новой Европе». А вот наш коллега Аленас собирается в стройбат.

— Его мобилизовали.

— Нет, коллега Навицкас. Он идет добровольцем. Он ненавидит большевиков, которые национализировали кулацкое хозяйство его родителей. Кровная месть. Самое забавное, что немцы это хозяйство его родителям не вернули — прислали колониста-немца. Однако немцам мстить он не собирается.

— Слишком хорошо вы все знаете, — засомневался Навицкас.

— В гестапо не работаю. Надеюсь, вы тоже.

— Черт знает, что делать, Тулейкис. Хоть ищи дорогу в Руднинскую пущу. Но встретят ли нас там с распростертыми объятиями?

Навицкас рассмеялся. По коридору со сводчатым потолком торопливо приближалась сестра милосердия, и мы замолчали.

«Руднинская пуща, — подумал я. — Все чаще слышу о ней. И не так уж далеко отсюда».

Осматривая больных в другой палате, подумал, что единственная возможность спасти жизнь Алдоны-Юлии — Руднинская пуща. А если суждено погибнуть, то лучше от голода, чем подстреленной и недобитой ждать в панярайских песках, пока на живое тело не упадут другие трупы.

Вильнюс знал, что происходит в Панярай.

«Не успею достать для нее фиктивные документы, — размышлял я, отправляясь домой после работы. — Даже если меня не заметил Стасюкайтис. Но он и так найдет меня. Ведь я исчез из Каунаса. А найти человека, который не скрывается, легко не только гестаповцу. Меня-то он живым не возьмет, но Алдона-Юлия...»

И еще вспомнил, что дома спрятал игрушечный револьвер Ирены. Инкрустации из слоновой кости не помогут, не объяснишь, что это антикварная редкость или сувенир. Обнаружив оружие, фашисты могут рас-

стрелять ни в чем не повинных людей, всех жильцов квартиры.

«Оружие должно быть при мне. Без причины на улице обыскивать не станут, а если остановят — значит, собираются взять. Если меня заберут, живым я не выйду. Не так уж много живых вырвалось из подвалов гестапо».

Буду носить револьвер в заднем кармане брюк. Обойма небольшая, но несколько предателей уложить можно, а последний патрон — себе. Надо только уметь стрелять. В других, и особенно в себя. Рука не должна дрогнуть, это главное.

По дороге домой меня донимали дурные предчувствия. В магазине по карточке я получил кусок хлеба и немного суррогатного кофе. Мяса не было. Жиров не было. Что ж, на карточке было написано: «Некоторые товары, при недостаточных поставках производителями, могут не отпускаться». Видно, производители и в эту неделю поставили недостаточно мяса и жиров. Мяса — четверть килограмма на неделю! Да и то лишь на бумаге. Зато сахар я получил — все сто двадцать пять граммов. Тоже недельную норму. Пряча в карман карточку, прочитал, в который уже раз, предупреждение, напечатанное зеленой краской наверху листка: «Береги карточку, потеряешь — другую не получишь!»

Алдона-Юлия встретила меня улыбкой, и на ее щеках появились ямочки. «Тебе — тридцать лет, — подумал я. — А еще так недавно мы были на первом, на втором курсе, и, лавируя с тобой по залу кафе, я не знал, куда девать руки».

— Что в городе, Каролис?

— А, целый ворох новостей. Штрафы за нарушение светомаскировки. Женщинам, не выполнившим трудовой повинности, придется отправиться копать картошку. В учреждениях ставят новые штампы на паспорта служащих. Отдельных лиц еще не трогают.

— Значит, подходит моя очередь.

— Какая очередь, Алдона-Юлия? Мы с тобой сбежим в Руднинскую пущу.

Она посмотрела на меня как на ребенка.

— И будем жить как Робинзон Крузо. Питаться ягодами и сырыми грибами?

— Не намного лучше питаемся и сейчас,— уточнил я.

— Будем спать под раскидистыми соснами.

— Как на картине Жмуйдзинавичюса в твоей гостиной в Каунасе.— Сказал и пожалел: не надо воспоминаний. В тяжелые времена надо думать и говорить только о ближайшем дне.— Правда, не знаю, какие там в Руднинской пуще реки. Значит, не по Жмуйдзинавичюсу. Зато там есть партизаны.

— Ты всегда был фантазером.

— Не сказал бы. Кстати, в Бернардинском саду бешеная кошка поцарапала детей. Вот и все, о чем пишут газеты.

— Я боюсь только людей.

— Вот поэтому, Алдона-Юлия, мы должны уехать из Вильнюса.

Вечером, когда жена заснула, я составил себе план. В Литве свирепствует сыпной тиф. В Шяуляй меня не пошлют, там есть свои врачи. А какая-нибудь Варена — это уже во владениях Вильнюса. Надо только так предложить, чтоб не вызвать никаких подозрений. А кто станет по пути проверять, почему со мной женщина? Алдона-Юлия на еврейку непохожа. Подозрение вызывают прежде всего мужчины.

Завыли сирены воздушной тревоги. Мы ни разу не ходили прятаться в подвал. Не могли бы пойти туда, даже если бы стали рушиться стены дома. Алдона-Юлия существовала только для меня и молчаливых соседей, которые в отношении нас были слепы и глухи. У них хватало своих забот, они тоже не уходили в убежище.

Я не любил воя сирен. Лучше уж бомбы. Но они не падали. Заснул и не слышал, когда отменили тревогу. И Стасюкайтис мне не снился.

*

На следующий день после обеда, гуляя по улице Чюрлёниса, я встретил Роберта Хаберланда.

— Так и не зашел ко мне,— упрекнул он.

— Знаю, что невежливо. Но меня пугают ваши часовые.

Бывший коллега жил неподалеку от меня, на той же улице, поближе к парку Вингис, в здании военного госпиталя. Я был благодарен Роберту за то, что он доставил на военной машине меня и Алдону-Юлию в Вильнюс, но ходить к нему в гости не хотелось.

Вот и теперь, шагая с ним по улице Чюрлёниса, чувствовал себя неловко. Хорошо еще, что здесь, на краю города (а в те годы это действительно была окраина), не надеялся встретить знакомых. Прогулка с немцем в форме компрометировала каждого литовца.

— Неудобно со мной идти, верно?

— Говорил уже, Робертас, что боюсь мундиров.

— И я, дружище, охотнее бы надел костюм из добротного английского материала.

— Фюрер, кажется, собирается завоевать и Англию,— сказал я.— Тогда у вас будет вдоволь добротного английского материала.

— Фюрер подарит нам по небольшому участку, Тулейкис. Столько, сколько нужно, чтоб растянуться на земле. Точнее — под землей.

— Это уже что-то новое,— сказал я.— Раньше ты говорил иначе.

— Я и теперь говорю иначе. С другими. А здесь нас никто не слышит. Даже если ты сотрудничаешь с гестапо, я смогу отречься от этих слов.

— Не сотрудничаю я с гестапо, Роберт.

— Пошутил. Кладбищенский юмор. На картине вашего Чюрлёниса — гроб на всю ширину полотна. Это мое будущее.

— Может не так уж плохо,— вежливо возразил я.

— Помнишь Альберта?

— Твоего брата? А как же. Славный малый.

— Помнишь. И знаешь, что его жена — еврейка. Альберта отправили на передовую восточного фронта — он не захотел разводиться с женой. А Аду — в Аушвиц или какой-то другой концлагерь. Какая раз-

ница. Оттуда не возвращаются. И с передовой восточного фронта тоже.

— Да,— сказал я.— Невесело. Профессор жив?

— Что там от него осталось, глаза да скелет. Может и их с мамой уже нет... Там, в Германии, бомбят днем и ночью. Геринг утверждал, что ни один вражеский самолет не проникнет в рейх, а теперь англичане и американцы бомбят что попало.

— Родители в Берлине?

— Нет. В Штутгарте. Отец работает в обыкновенной больнице обыкновенным хирургом. Ну как, Тулейкис, зайдешь ко мне? Есть французский коньяк — такими вещами нас снабжают. Как твоя жена?

— Скрывается.

— Долго ли можно скрываться? Не хочу тебя огорчать, но ее ждет судьба Ады.

— А твоя Аусма?

— Она весело проводит время в Берлине. Когда нет налетов. Опекает офицеров — отпускников. Конечно, если они не инвалиды.

Миновав часовых, мы очутились в госпитале, который занимал часть здания медицинского факультета. За дверьми стонали раненые.

Поднялись на третий этаж.

— Красивый вид на город из окна,— сказал я.

— На город? Знаешь, как-то не обратил внимания. Да и мало бываю здесь. Все госпитали налаживаю. Послезавтра еду в Даугай.

Я подумал, что неплохо бы перебраться туда. С Алдоной-Юлией. Отвезет ли меня Роберт и на этот раз? Я побоялся заговорить об этом в помещении. Знал, что и у стен бывают уши, даже тогда, когда говорят политовски.

И все-таки не выдержал:

— Меня тоже собираются отправить в те края. На борьбу с сыпняком.

Бессовестно врал.

— А твоя жена, Тулейкис?

— Еще не знаю.

— Там крепко проверяют, кто, откуда. В лесах объявились бандиты.

Хотел поправить: «Люди их называют партизанами», — но снова вспомнил о стенах и ушах.

— Этого не знаю, — прикинулся я простачком. — Но в эпидемиях недостатка нет.

Так мы и договорились — если захочу поехать, приду к нему послезавтра ровно в восемь утра. И, пропуская рюмочку прекрасного краденого коньяку, судорожно думал, какие документы я смог бы раздобыть для Алдоны-Юлии.

III

Назавтра после встречи с Робертом, отработав свои часы в больнице, я поднимался по улице Сераковского.

Город кишмя кишел немецкими солдатами, проститутками, нищими. И почти не было видно молодых мужчин. У тех, кто смел появляться на улице, были «железные» удостоверения. Нередко фальшивые, правда.

Никто не хотел отправляться на работы в рейх или во «вспомогательную службу» на фронт.

У меня тоже было удостоверение, а в заднем кармане брюк — оружие Ирены. Оно было такое миниатюрное, что через материал не проступали даже контуры.

Конечно, ходить вооруженным в такое время — чистое безумие. Безумие — вообще ходить. Даже жить было безумием. Казалось, что так было всегда и так будет до скончания века. Понятие времени стерли объявления «запрещается», «смертная казнь», с трудом отовариваемые продуктовые карточки, обувь на деревянной подошве, бордели для немецких солдат, сообщения Oberkommando der Wehrmacht.

Правда, эти сообщения вселяли надежду. Сталинград в них упоминался ежедневно, и казалось, что немцы вот-вот возьмут да сорвут его, как яблоко. Но яблоко поднимается все выше, и рука не может дотянуться до него.

Почему-то я остановился, подходя к своему дому. С моей медицинской интуицией это не имело ничего общего. Вообще, медицина в годы войны имеет значение только на фронте. В тылу знахарь может сделать не меньше, чем врач. В последнее время они расплодились — чародеи, хироманты, астрологи, маги.

Проснувшийся во мне ясновидец предложил остановиться на углу улиц Кудирки и Чюрлёниса. Как бы поправляя шнурок, бросил взгляд на свой дом.

На улице, напротив входа, стоял автомобиль.

Имело ли это отношение ко мне? Наверно, нет. И все-таки, почему здесь автомобиль? У гражданского населения машин не было. Улица Чюрлёниса была тихая, по ней только проносились в госпиталь санитарные машины. Зато по соседней улице Басанавичюса с ревом поднимались и спускались танки, рычали заполненные солдатами грузовики, стрекотали мотоциклы с колясками.

«Пойду, — решил я. — Для нашей квартиры эта машина не опасна».

И тогда я увидел, что из подъезда выходит Алдона-Юлия. Шла она спокойная, прямая, — говорю «спокойная», потому что она не вырывалась — выражения лица разглядеть не успел, хотя расстояние было не так уж велико. Двое в штатском проследовали за ней и тоже сели в машину. Потом вышел еще один в штатском; дверца автомобиля была открыта, но он махнул рукой, чтобы машина уезжала, и неторопливо повернул в сторону церкви, удаляясь от меня.

«Все-таки ты заметил меня тогда, Стасюкайтис, — сказал я себе. — И Алдона-Юлия тебя меньше всего интересовала. Это — месть мне».

Я стоял за углом. Машина пронеслась мимо меня по улице Кудиркос и свернула по улице Сераковского вниз — к лукишкской тюрьме или гестапо. Значит, все... Я смотрел на едущую мимо меня машину и не успел увидеть лица Алдоны-Юлии. В автомобиле сверкнули глаза гестаповца: каждый человек, стоящий на углу улицы — подозрителен.

Гестаповцы боялись подозрительных людей. Машина уехала. Что ж, эти парни в автомобиле не знали меня—с ними я не листал альбом об обороне Севастополя в Крымскую войну. А у Алдоны-Юлии, которая наверняка увидела меня, не дрогнул ни единый мускул лица. Такая уж она была. Может, не тогда, в довоенном Каунасе, а сейчас,—она же прошла сокращенный курс жизненной мудрости с начала войны.

«Что ж, Стасюкайтис, поговорим,—решил я.—С глазу на глаз. Если хочешь жить, отпустишь Алдону-Юлию».

И тут же усомнился, может ли он ее отпустить...

Не дойдя до церкви, Стасюкайтис повернул налево. Значит, он не пойдет на улицу Пилимо. По лестнице, зажатой между горой Таурас и женской гимназией, он спустился в центр.

И здесь же — гестапо.

Лестница была крутая, с верхней ее части, как на ладони, виднелись разноцветные крыши домов, излучина Нерис, голые поля за рекой. Небольшие деревца, а может, рослые кусты, что тянулись вдоль лестницы вниз, оделись в золотой наряд. Это золото переливалось с левой стороны лестницы, а по правую руку была гора Таурас, заросшая рыжеющей травой.

Стасюкайтис ни разу не оглянулся. Может, потому, что был день, а может, он считал себя в безопасности—в Вильнюсе мало кто знал его. В штатском он выглядел лучше, чем в форме. Никто не сказал бы, что это идет убийца.

И только начав спускаться по лестнице, он вдруг обернулся.

— Вот мы и встретились, господин Стасюкайтис,—сказал я.—Руки прочь от кармана, а то не закончим разговор.—Я вытащил игрушку Ирены раньше, чем он успел засунуть руку в карман. Стасюкайтис был не дурак, моего совета послушался.—Не торопись, я хочу с тобой потолковать. Можешь идти вниз, только не слишком быстро.

— Не умею ходить задом, Тулейкис,—сказал он.—Чтоб мы могли потолковать, надо идти рядом.

— Я не Тулейкис,— возразил я.— Доктор Тулейкис или господин Тулейкис.

— Не дури, господин Тулейкис. Застрелить меня не застрелишь, потому что тебя в гестапо на крюке подвешат. Вот за это место, под подбородком. Повисишь, пока не сдохнешь. Есть приказ арестовать тебя за укрывательство еврейки.

— Полуеврейки.

— Полуеврейки. Но нигде не прописанной. Не слышал про приказ Мурера о полуевреях? Поляков этих тоже расстреляют. Хозяев квартиры. Не было места в машине. Их возьмут потом.

— Причем здесь они? Они ничего не знали об Алдоне-Юлии.

— Укрывали человека без прописки. Сейчас время военное. Кстати, у тебя есть возможность спастись. Пойдешь со мной в гестапо, и я скажу, что ты явился добровольно. Это смягчающее обстоятельство.

— А Алдона-Юлия?

— Не знаю. Это от меня не зависит. Если согласится на стерилизацию...

— Месть за Ирену?

— За американочку-то? Какая месть? Она же за тебя не вышла.

— Остановись, а то мы правда подойдем к гестапо. Предупреждаю: остановись.

Стасюкайтис послушался. Вверх поднимались какие-то люди, я увидел их издали. В штатском. К счастью Стасюкайтиса: если бы шли военные, мне пришлось тут же прикончить его и бежать по лестнице вверх.

— Обдумай мое предложение, Тулейкис.

— Есть только господин Тулейкис, я уже предупреждал. Пропустим этих людей.

Я не сомневался, что Стасюкайтис захочет воспользоваться этим. Лево́й рукой я столкнул его с лестницы на траву.

Две женщины и двое пожилых мужчин, отдуваясь, поднимались в гору.

Мы вернулись на лестницу. В правой руке я сжимал оружие. Подумал: если бы Стасюкайтис меня

толкнул или полез в свой карман, я от волнения не нашел бы спуск. Я исправил ошибку. Палец снова был на нужном месте.

— Чудной разговор, — сказал Стасюкайтис. — Хочешь прикончить меня, но тебе невыгодно: сам тоже погибнешь, не успеешь даже порадоваться. Предлагаю тебе вот что: отправляйся вверх или вниз, куда тебе угодно, ты своей дорогой, а я своей. В гестапо, вижу, сам не пойдешь. А в Вильнюсе есть где спрятаться. Тебе, солидному врачу, непристало играть в ковбоев. А насчет девушки не грусти: были у тебя и немка, и американка, и еврейка... Полный набор. Сейчас опять найдешь какую-нибудь шлюху, мой богатый доктор, помогающий красным.

Стасюкайтис издевался надо мной. Он перестал меня бояться. Я понял, что он вот-вот отберет у меня оружие, ударит под ложечку, будет бить башмаками по голове, как когда-то, а потом пристрелит.

И когда я все это понял, мой палец нажал на спуск. Разум не успел приказать руке — рука все сделала сама.

— Все-таки! .. — сказал Стасюкайтис. Обеими руками он схватился за живот. Мне почудилось, что я вижу путь, которым прошла пуля. А выстрел получился негромкий, почти щелчок.

— Да, — сказал я. — За Алдону-Юлию. За ее мать. За всех, которых ты убил.

Потом еще раз нажал на спуск. Уже из милосердия. Мучиться не должен даже палач. А может, я подумал, что он успеет сказать, кто его застрелил.

Отскочил в сторону, чтобы он не упал на меня. Первый выстрел только ранил его. Угрызений совести не чувствовал, меня даже не затоснило. Внизу снова слышались голоса.

Побежал по лестнице вверх. Револьвер не выбросил в кусты. В обойме еще были патроны.

Если что — последний мне.

В свою квартиру поднялся как лунатик. Подумал, что там может ожидать засада — правая рука была наготове. Один труп, два, три трупа — не все ли равно?

— Бежите все отсюда!— едва отперев дверь, сказал хозяину квартиры. Гестаповцев не было. Заглянул в свои комнаты — все вверх ногами. Схватил чемоданчик с медицинскими инструментами.— Бежите!— повторил. И добавил:— Все. Не успеете — расстреляют.

И побежал вниз. А по улице шел спокойно, даже торжественно. Подумал, что убийца я еще неопытный. Надо было взять документы Стасюкайтиса — прошло бы немало времени, пока его хватились. А теперь поиски убийцы начнутся сразу.

В обойме еще были патроны.

Последний — мне.

Я чувствовал себя обложенным зверем, хотя охотников еще не было видно, и даже гончие не лаяли.

Роберта нашел у него в комнате. Конечно, часовой меня не пропустил, пока не справился у доктора по телефону. Не помог даже мой немецкий язык. По требованию часового пришлось открыть чемоданчик: инструмент врача. Солдат махнул рукой: отправляйтесь наверх.

— Роберт,— сказал я,— ты в Даугай едешь завтра?

— Завтра утром. В восемь ноль-ноль.

— Мне надо сегодня вечером.

— Невозможно.

Я приглушил голос:

— А я должен бежать из Вильнюса.

— Даже так?

— Даже так.

— Изнасиловал немку?

— Убил литовца-гестаповца.

— Литовца? Не так уж страшно. Достанется полякам. Тебя видел кто-нибудь? Ну, там?

— Нет.

— А когда входил ко мне?

— Хвоста не было.

— Выедем в закрытой санитарной машине. Военной. Если и будет нас проверять, то только полевая жандармерия. Дела гестапо их не касаются. А санитарных машин боится даже жандармерия — наши солдаты тоже болеют сыпняком. На тебе лица нет.

— Убить человека — не так-то просто.

— Если считаешь гестаповца человеком — ты еще наивен, Каролис. Я уже излечился от этой болезни.— Он достал непечатую бутылку французского коньяку.— Переночуешь у меня. А завтра, запомни, будешь говорить со мной только по-немецки.

*

Дорога была ухабистая, ее изрыли танки и самоходки, и санитарная машина, подпрыгивая и покачиваясь на рессорах, медленно продвигалась вперед. Говорю «медленно», потому что ехали мы в колонне. Я не мог понять, почему немцы двигаются не на фронт, а от фронта, ведь еще не отступление; что ж, военные действия — область, в которой я меньше всего смыслю.

Разговаривали мы по-немецки, только изредка, когда, обгоняя нас или с ревом проносясь мимо, появлялось бронированное чудовище, мы вполголоса обменивались короткими литовскими фразами.

Конечно, новых америк мы не открыли, но от Роберта я узнал, что старшая сестра клиники профессора Хаберланда Ирина в свое время тоже репатрировалась в Германию, отыскав в семейных документах немецкую бабушку, и погибла от английской бомбы в каком-то тихом городке, где не было ни одного завода, кроме мармеладной фабрики. Православные святые не спасли ее. Бомбы падали на дома, соборы, жилые кварталы больших городов, минуя крупные предприятия. Наверно, святые Ирины спасали заводы, а может, даже и фабрикантов. Им не хватало времени подумать о рядовой белоэмигрантке.

Я рассказал Роберту, что Зенонас Кубилиус приобрел кабинет расстреленного врача еврея с прекрасной рентгеноустановкой, кварцевыми лампами и аппаратурой для диатермии, заслужив пренебрежение порядочных врачей, но это его не волновало. Роберт спросил о моей сестре. Я ответил, что уступил ей свою квартиру со всей мебелью и что сестра путается с немецким чиновником из генералкомиссариата.

— Проклятые золотые фазаны, все пробрались туда по протекции, чтоб избежать фронта,— сказал Роберт по-немецки, не опасаясь, что нас слышит шофер; видно, ненависть армии к гражданским властям была настолько сильна, что Хаберланд не считал нужным скрывать это.

Потом мы разговаривали о новом кафе в Вильнюсе «Элизиум», которое славилось «первоклассной капеллой» и «артистической программой». Я все не мог понять, все это „nur für Reichsdeutsche“ или и для простых смертных. Если ты не немец — официантки приносят на стол суррогат пива, суррогат кофе и суррогат пирожного, а скрипки и барабан напоминают суррогат музыки: дозволена только немецкая и союзническая музыка, и ни Бетховен, ни Моцарт не соответствовали духу такого кафе.

Потом я поинтересовался, почему санитарная машина не обгоняет эти ползущие по-черепаший чудовища.

— Дружище,— ответил Роберт,— ты видишь эти деревья? За каждым из них может быть засада. Бандиты не станут стрелять по вооруженной машине, а отдельная машина — уже цель.

Это и был разговор, которого я ждал.

— Говорят, в Руднинской пуще есть партизаны,— сказал я. Немного испугался, что не употребил слова «бандиты», но не поворачивался язык. Шофер не слышал, кругом рычали грузовики, да и Роберт не обратил внимания.

— В каждом лесу они есть, Тулейкис. Хочешь их разыскать? Ухлопают, даже не спросив, кто ты и откуда. Они разъярены, а ты слишком хорошо выглядишь, чтоб тебе можно было доверять. Кстати, я говорил тебе, что мы едем в Алитус?

Мне было настолько безразлично, куда мы едем, что я даже не вспомнил, говорил ли Роберт об этом. Нет, кажется, он называл Даугай. Перед глазами у меня стояла Алдона-Юлия, как, прямая и спокойная, она села в машину гестапо. Стасюкайтис, которого я толкнул в кусты, вылетел из головы, словно и не было

на свете этого человека. А ведь по его милости я сейчас удираю из Вильнюса.

Удираю, не зная, ни к кому, ни куда. Роберт говорил правду — партизаны вряд ли распахнут объятия, увидев меня. Да и крестьяне не покажут дорогу к партизанам такому господину.

А вот в руки военной жандармерии или литовской полиции я угодить мог. Что ж, может, и легкомысленно носить при себе дамское оружие, в обойме которого недостает двух патронов. Самому мне хватило бы одного. Надо только засунуть дуло в рот и не позволить дрогнуть руке. Крохотная пулька сразу оборвет жизнь. Это миниатюрное оружие было достаточно мощным.

— В Даугай я заеду на обратном пути из Алитуса, — объяснил Хаберланд. — Но в этом городишке тебе нечего делать. Они ведь позвонят в Вильнюс и узнают, что такого борца с сыпным тифом никто не посылал. Лучше всего тебе подошел бы поселок или обычная небольшая деревушка. Там ты сможешь играть Чичикова.

— Вижу, ты знаком даже с русской литературой.

— О, Гоголя я очень люблю. Да, Каролис, неважные у нас с тобой дела. И нас обоих ждет пуля. Меня-то — русская, а ты погибнешь от любой из воюющих сторон. Все погибнут. Мне кажется, после этой войны никого не останется в живых.

— Все-таки... — сказал я и вспомнил, что эти слова выкрикнул Стасюкайтис, когда я вогнал ему пулю в живот.

Вылез из машины, не доезжая села Алове. Мы с Робертом решили, что большего захолустья не найти. Шоферу объяснили, что господин доктор прибыл сюда на борьбу с *Fleektyphus*. Я взял в руки чемоданчик. Роберт сунул в него две жестянки мясных консервов.

— Наверно, не увидимся больше, Каролис, — сказал он по-литовски.

— Кто знает, Роберт. Бывают на свете чудеса.

— Если пристанешь к тем, не стреляй по санитарным машинам. В одной из них могу сидеть я.

— Думаю, у них есть мишени поважнее санитарных машин,— сказал я.— Хотя не всегда санитарные машины возят больных. Иногда они полны оружия.

Роберт промолчал. Водитель военного грузовика покрикивал на нас, что мешаем движению.

А наш автомобиль стоял на самой обочине.

— Пора,— сказал Роберт.— Видишь, какие нервные стали солдаты? В начале войны санитарная машина для них была святыней. Ну, держись. Помнишь, как славно мы встречали Новый год?

— Не забыл.

— А если не хочешь встретиться с бандитами, держись подальше от леса Субартонис. Он недалеко отсюда.

Санитарная машина тронулась. Я видел, как она удалялась, покачиваясь на выбоинах.

К концу сентября даже пыль на дорогах иная — бурая, как бы спелая. Я свернул с дороги. Любому немцу фигура в штатском у дороги кажется подозрительной. Я шел по лесу, под ногами шуршали пожелтевшие, увядшие листья. Рев моторов удалялся. Я боялся проселочных дорог, даже тропинок. Сбежал от реальной смерти в Вильнюсе и приближался к возможной смерти в деревне. Но деревни пока не было видно — отдельные деревья, какой-то бывший лес...

Алове уже далеко.

«За каждым деревом может быть засада», — зазвучало в моих ушах.

Деревьев было много, но засады все нет как нет.

Я не страшился засады. Партизанской, конечно.

Впереди — деревня Субартонис. Там может быть гарнизон полицейских или немцев. Туда идти незачем. Если они получили сообщение из Вильнюса, что гестапо ищет Каролиса Тулейкиса — мне крышка. Ведь уже не секрет, в чьей квартире нашли полуеврейку. И может, не так уж трудно связать это с гибелью Стасюкайтиса.

Деревня Субартонис отпадает. Но существует лес Субартонис. И в этом лесу есть партизаны. Об этом я

краем уха слышал и раньше, в больнице, — рассказывали коллеги.

Робинзон Крузо питался тропическими плодами. В лесу Субартонис ни ананасы, ни бананы не растут. Даже кустики диких ягод уже опустели, во мху не растет земляника. Правда, у Робинзона Крузо не было немецких консервов. Две большие жестянки лежали в чемоданчике.

Хоть воду, черт возьми, здесь найду?

Странное дело, когда бредешь среди деревьев, сам не зная — скрываешься ты или хочешь, чтоб тебя увидели, тебе кажется, что весь мир — это редкие деревья, скупое солнце ранней осени, шуршащие под ногами листья, и ты, один только ты.

Сколько времени я так шел? Два, три часа? Стрелка моих часов давно застыла на шести, а заводить не хотелось. Какая важность, который час, если нет Алдоны-Юлии, если не надо торопиться домой? Чемоданчик я нес то в одной, то в другой руке, пока обе не устали. Отыскал кочку и сел. Трава была не желтая, не зеленая и не серая. Какая-то необычная, невиданного цвета.

Змею заметил не сразу, ее кожа не выделялась в этом лиственном лесу. Она медленно ползла, извиваясь, в нескольких метрах от меня, потом остановилась, подняла голову, наверно, изучала меня.

— Не собираюсь тебя убивать, — сказал я. — Меня самого хотят убить, я тоже прячусь. Ступай своей дорогой, а я отдохну и тоже пойду.

Нам удалось договориться. Змея отвернулась от меня, словно я был такой же неделимой частью леса, как кочка, на которой сидел, или кусты, в которые она уползла.

Услышал тарыхтение телеги. Не автомобиль, это уже хорошо. Но и на телеге могли сидеть полицейские. Так или иначе, дорога была рядом. Осторожно, то и дело оглядываясь, я направился к дороге. Упавшие веточки хрустели под ногами. Шуршали листья. Я мог наступить на другую змею. Видно, здесь их хватало.

Змей я не боялся. Боялся людей.

Тарахтение замолкло. Наверно, дорога свернула, или вместо гравия начался песок, по которому с трудом ползут колеса.

Кусты стали гуще. Острые ветки цеплялись за рукава плаща, хлестали по лицу. Внезапно кусты кончились, и я оказался на дороге.

Остановился и вздрогнул.

На заросшей травой узенькой лесной дороге стояла телега, а на облучине сидел человек и смотрел на меня в упор.

Не оставалось ничего другого, как подойти ближе. Один на один — не страшно. Даже если это немецкий прихвостень.

— Добрый день,— сказал я.— Лошадь притомилась? Отдыхаете?

— Добрый день. Мне кажется, это вы притомились. Зачем продираться сквозь чащу, когда дорога рядом?

— Не знаю этих мест,— признался я. Но на этом мои признания и кончились.— Меня послали в ваши места на ликвидацию сыпного тифа.

— Сыпняка? Да вроде не слыхал-то. Скарлатиной ребятишки болеют или другой какой хворью — я их не разбираю, а вот про сыпняк не слыхать. Чудно как-то вас отправили — может, так и шли пешком всю дорогу?

— Нет. От Алове.

— Значит, в Алове были.

Мне показалось, что этот человек допрашивает меня. В заднем кармане брюк у меня был миниатюрный сувенир с инкрустациями и несколькими патронами в обойме. Я почувствовал себя смелее.

— Не был я в Алове. Чего мне там делать?

— А теперь куда путь держите, барин, если не секрет?

— В Субартонис.

— В Субартонис? Там уж точно больных нету. Разве что в Меркине. Но туда можно и не пешком добраться.

Я ничего не ответил. Теперь мы ехали молча. Я подумал, что выговор у этого человека не дзукийский. Скорее всего, он сюда прислан.

Решил сыграть открытыми картами. Не своими, конечно. Свои-то я скрывал.

— Партизан не боитесь?— поинтересовался.— Едете один по лесу.

— Партизан?.. А кто они такие?

Я понял, что он издевается надо мной, хоть и говорит вроде вежливо.

— Может, вы их бандитами зовете,— пояснил я.— Немецкие чиновники так их называют.

— А вы— не немецкий чиновник?— уже совсем нагло спросил владелец телеги.

— Я— врач.

— Разные врачи бывают.

Мы снова замолчали.

А потом свернули с дороги. Я не спрашивал почему. Если замечу, что мы приближаемся к немецким укреплениям, может, успею выскочить. Но в этих лесах не было линии фронта. Откуда здесь взяться немецким укреплениям? Фашисты сидели в городах, иногда в больших селах. В леса они отправлялись целыми отрядами, окружали лес, прочесывали— и опять торопились назад.

Телега грохотала по лесной просеке. Лиственных деревьев становилось все меньше, появились хвойные, лес густел.

Мои часы перестали тикать. Нет, бессмысленно заводить их, мое время все равно остановилось. Сейчас, сидя на перекинутой поперек телеги доске, я вспомнил палаты больных, в которые надо было являться с точностью до минуты, вспомнил дом, где в условленный час меня ждала жена. Правда, ее время остановилось еще раньше; с того мгновения, когда стало ясно, что она полуеврейка, ее мир сжался до двух комнат.

Солнце спряталось в тумане; туман, пожалуй, вскоре заслонит и деревья.

Тишина. Покой леса нарушал лишь грохот нашей телеги.

Мы не разговаривали.

Потом я задремал. Но сперва подумал об Алдоне-Юлии, о том, где она сейчас, и обвинил себя в предательстве: надо было подбежать к машине и перестрелять гитлеровцев. Вряд ли они позволили бы мне приблизиться, а тем более вытащить это игрушечное оружие. А позволить увести себя в гестапо — значит, позволить себя расстрелять. Я знал приказ Мурера об укрывательстве евреев и полуевреев.

Я оправдывал себя и снова обвинял. Устал я от борьбы с собой на этой дребезжащей телеге.

Мой спутник, или точнее — владелец телеги, подтолкнул меня в бок.

— Слезайте, докторок. Сегодня больше ни одной вши не найдете, а эти люди вас примут переночевать.

На меня уставились любопытные глаза мальчика. Ему было лет двенадцать, а может, чуть больше. В окне покосившейся избушки мелькнуло лицо женщины. Мелькнуло и скрылось так быстро, что я не разобрал — старуха там или девушка. Так ли уж это важно?

Слез с телеги. Взял чемоданчик. Заметил, как мой спутник подозрительно покосился на него.

— Гранат не везу, — сказал я. — Врачебные инструменты. Ими кормлюсь.

— Да, да, — сказал человек как-то бесстрастно — нельзя было понять, соглашается он со мной или не верит.

— Спасибо, что подвезли. Но я так и не знаю, где нахожусь.

— Недалеко от Субартонис. Выспитесь и пешком дойдете. Сейчас-то вам в деревне нечего делать, никто даже ночевать не пустит. Человек человека боится.

— Вы же меня не боитесь?

Человек ничего не ответил, только улыбнулся и дернул вожжи.

*

Меня разбудил страх, пришедший из глубины сна и вновь погружившийся в сон.

Но я уже очнулся.

В неосвещенной избе заметил какие-то тени, но не сообразил, чьи они.

— Вставай,— сказал грубый мужской голос.

«Значит, предали»,— мелькнула мысль. Эта фраза настойчиво вертелась в мозгу, заглушив все остальные мысли. Полез за оружием; я спал не раздеваясь, и револьвер впился в тело.

Холодное дуло автомата уперлось мне в грудь.

— Без шуток,— сказал тот же грубый голос.— Обыщи его, Юозас. Прости, что разбудили, барин. Но дорога у тебя была приятная— сначала на машине, потом на телеге. А сейчас выходи-ка!

«Вот и все. Передадут в гестапо, помучают и расстреляют».

Мы уже шли по лесу.

— По-моему, нечего канитель разводять,— заговорил другой голос.— Прикатил на немецкой машине— это раз. Вооружен— это два. Гражданские с оружием не ходят.

Ни один из них не говорил на дзукийском диалекте. Как и человек, который привез меня. А старая женщина и мальчик, у которых я ночевал, говорили.

И только теперь мелькнула запоздалая мысль, что это не полицейские. Не потому, что они не были в форме, хотя одеты как-то странно: не то по-военному, не то в штатском— откуда мне знать, как одеваются деревенские полицейские. Ведь эти люди хотят застрелить меня потому, что я приехал на немецкой машине!

— Кто вы такие?— спросил я.— Полицейские или партизаны?

— А кого бы ты предпочел?— вопросом на вопрос ответил грубый голос.

Третий мужчина шел впереди и молчал. В тусклом ночном освещении я заметил его галифе. И все-таки это могли быть полицейские.

— Я врач,— сказал я.— Загляните в чемоданчик.

— А мы уже заглянули,— сказал грубый голос.— Не потеряй, Юозас, видно, там сокровища. Верно, доктор?

— Смотри в чьих руках. В ваших — ничего не стоящие побрякушки.

— Не болтай много, — буркнул Юозас. — Немецкие консервы — тоже врачебный инструмент? Зачем мы его ведем?

Последние слова, касающиеся меня, предназначались, конечно, для других.

— А ты не горячись, — сказал грубый голос. — Ты кто, фашист? Хочешь без суда с человеком расправиться?

— Ребята, — крикнул я, — зачем же меня расстреливать?! Я же от фашистов сбежал!

Замолчал, потому что снова мелькнуло — а вдруг это провокация полицейских? Что ж, если это полицейские — мне все равно конец. В Вильнюсе уже вынесен приговор.

— От немцев да с немцами сбежал, — зло сказал Юозас.

«О Хаберландах им рассказывать бесполезно. И не поймут, и не поверят».

— Если у вас такая хорошая разведка, что знаете даже, на чьей машине ехал, — сказал я, — тогда наведите справки обо мне в Вильнюсе. Хоть у гестапо спросите.

— Болтаешь много, — предупредил меня грубый голос.

Я притворился, что не расслышал, и продолжал:

— Из той игрушки, что отобрали, я убил гестаповца. Стасюкайтис его фамилия. Тадас Стасюкайтис. В госпитале святого Якова справьтесь, и узнаете, что меня разыскивают. Не за гестаповца — никто не видел, как я его прихлопнул, меня могут только подозревать. Конечно, для гестапо и этого достаточно, но ищут меня за укрывательство еврейки. Думаю, знаете, чем это пахнет. И дома у меня можете справиться. Адрес в паспорте, который вы забрали. Вот и вся болтовня, больше мне нечего сказать.

— А он с фантазией, — язвительно заметил Юозас.

Шагавший впереди человек обернулся, и я впервые услышал его голос:

— А если говорит правду, что тогда?

— Я знаю только, что его подвезла фашистская машина,— отрезал Юозас.

— А теперь остановись, докторок,— сказал грубый голос.— Завяжем тебе глаза. Вот так. Идти будет неудобно, так что держись за мою руку.

Дальше мы шагали молча. Только я, спотыкаясь, ругался.

Даже теперь, тридцать лет спустя, я помню маленькую вырубку в лесной чаще. В конце октября выглянуло солнце, перестал моросить дождь, даже ветер не шуршал желтыми листьями.

Я сидел тогда на пне, человек без настоящего и с неясным будущим.

Ко мне подошел комиссар отряда.

— Вот что, браток,— сказал он.— Насчет гестаповца, так это фантазия, никакой гестаповец в тот день убит не был.

— Вот тебе раз! У горы Таурас, лестница деревянная, ближе к улице Сераковского. Там его уложил.

— Не подтвердилось. А что гестапо тебя разыскивает, это факт. Подтвердилось. И ты—на самом деле ты, а не шпик с документами доктора Тулейкиса.

— Наконец-то,— вздохнул я с облегчением.— Все время подозревали.

— Редкий, знаешь ли, случай, чтобы немецкий офицер нам нового партизана подкинул. Если, конечно, захочешь остаться с нами.

— Еще подумаю,— сказал я зло.— Может, вернусь в гестапо и попрошу, чтоб меня расстреляли.

— Не сердись, не сердись. Приходится нам быть подозрительными. А сейчас, хоть ты и доктор, выдадим и тебе новое оружие. Настоящее. А эту игрушку хочешь оставить себе на память?

— Обязательно.

— Рукоятка из слоновой кости, говоришь?

— Инкрустации. Говорю, инкрустации из слоновой кости.

— Не знаю такого слова. А Юозас поправится?

— Поправится.

Тот самый Юозас, которому не терпелось меня расстрелять.

Через полгода, когда мы уходили от карателей, я получил сквозное ранение в голень, и Юозас вынес меня на руках.

IV

Здесь можно бы поставить точку под этой историей. На партизанскую тему написано немало воспоминаний. Я чаще всего сидел в землянке, волей-неволей став хирургом, и радовался, что в свое время ассистировал Вольфгангу Хаберланду, который хотел сделать из меня хорошего специалиста, но этому помешало мое упрямство.

И все же кое-что я запомнил из этих случайных уроков, даже то, что позабыл, иногда всплывало. Конечно, хирургом я был скверным даже для партизанского отряда, но ведь другого в отряде не было.

Пришлось, конечно, и отстреливаться при отступлении, и менять базу лагеря, я даже — как уже говорил — был ранен. Когда падает давление воздуха, я чувствую в правой ноге тупую боль, трудно опереться на стопу, хотя пострадала голень. Кажется, весной или осенью иногда даже прихрамываю — со стороны виднее. Может, это даже замечают мои пациенты, когда, с болью в ноге, я вхожу в палату. С хирургией, конечно, снова распростился.

Моя специальность — внутренние болезни, как и раньше. У меня большой стаж и, насколько довелось слышать, немалый авторитет.

Часто я иду по улице Чюрлёниса. И каждый раз бросаю взгляд на дом, из которого вывели Алдону-Юлию. О ней я так ничего и не узнал, кроме того, что вскоре после ее ареста доктор Палёнис покончил с собой в Каунасе. Эстетически — не вешался, не прыгал из окна, а как подобает медику — ввел себе смертельную дозу морфия. Это и было доказательством гибели Алдоны-Юлии: будь хоть малейшая надежда, что она жива, Палёнис бы так не поступил.

Не узнал, что случилось с хозяевами моей квартиры и моими соседями: вернувшись в Вильнюс, застал сгоревший дом. Фашистские зондеркоманды не обошли и это здание. Фосфор сжигает все — даже железные перекрытия. Удивительно, как уцелели наружные стены. Теперь вечером в окнах снова зажигаются огни. Я прохожу мимо, и мне кажется, что ничего не случилось, что Алдона-Юлия ждет меня с работы. Иллюзия, длящаяся какую-то долю секунды: ведь в те годы окна были затемнены. Даже крохотный луч света не мог прорваться наружу...

Потерялся и след моей сестры: связавшись в годы войны с чиновником генералкомиссариата, она удрала на Запад вместе с отступающими фашистами. Успела ли она прихватить дорогую мебель? В старой квартире ее не оказалось. Аптекарь, едва кончилась война, умер, да и вряд ли он интересовался своей сбежавшей женой и дочкой. В аквариуме плавали золотые рыбки, а в кровати его согревала пышнотелая служанка. Даже библейский царь Давид не дождался лучшего конца своих лет.

Правда, я попытался разыскать сестру через Красный крест — и нашел. Жила она в Чикаго, бумажку с номером дома я потерял и тут же забыл. Думал — написать ей или нет? Наконец решил: если захочет, пускай напишет сама.

Что ж, я одинок как перст, по пословице. Когда остаюсь в четырех стенах своей квартиры.

Но не в те часы, когда бываю с молодежью.

Смотрю на юные лица студентов (а студентов много не только в аудиториях, но и у больничных коек) и вижу себя, Алдону-Юлию, Пятраса Старкуса, только Зенонаса Кубиливичюса не вижу. Это не значит, что его нет среди моих юных коллег. Но никто не позволит ему воспользоваться кабинетом убитого врача, потому что и врачей теперь не убивают и частные кабинеты — редкость. А Пятрас Старкус, иначе говоря — сегодняшний его дубликат, — окончит университет. Ему не придется сидеть в тюрьме или скрываться от полиции.

Что ж, теперь и мне не пришлось бы работать ночным сторожем в Земельном банке.

Но в свою молодость я больше не вернусь.

Может, только в воспоминаниях.

*

В свою молодость я вернулся на исходе лета.

Мне позвонила по телефону гидша «Интуриста» и сказала, что обо мне спрашивал один литовец из Америки. Завтра он уезжает из Вильнюса. Да, да, гостиница «Неринга». Я спросил фамилию, но в трубке уже раздалась гудки.

Но я запомнил номер комнаты.

Зашел под вечер. Шторы в комнате были спущены, в ней царил приятный полумрак. На полу стояли раскрытые чемоданы. Воздух был пропитан ароматом американских сигарет. Приятно, когда не куришь сам.

Я не узнал человека, находившегося в комнате. Немного сутулый, атлетического телосложения, он улыбнулся так, что сверкающие золотые зубы озарили комнату. Глаза его скрывали толстые роговые очки.

— Каролис Тулейкис,— представился я.— Я не ошибся? Гидша говорила, что вы меня искали.

— Привет, Каролис,— сказал американец. Голос был знакомый.— Не узнаешь школьных товарищей?

Он снял очки. Может, хотел в меня всмотреться— если был дальнорорким,— а может, помогал мне узнать его.

Чарли!

Я едва не закричал. Не знал даже, как мне реагировать. На меня нахлынули картины прошлого, точнее — обрывки картин, начиная с балкона, с которого мы смотрели на чудеса акробатики и магии.

И вдруг все исчезло. Все картины. Осталась пуста и прищуренные глаза Чарли.

— Привет, Чарли,— наконец буркнул я.

Мы похлопали друг друга по плечу.

— Приехал заглянуть на родину. У нас всякое говорят. Рассказывали, все разрушено, а вы стоите в очередях за хлебом.

— Не боялся приехать?— спросил я.

— Ты ведь знаешь, что я ничего не боюсь.

— Это правда. Хотя кое-чего ты боялся. Например, получить слишком маленькую прибыль.

Чарли хохотнул.

На меня снова нахлынули воспоминания.

— Как Айрини?— спросил я.

Мне вдруг показалось, что ей все еще девятнадцать, что мы снова встретимся. Потом между мной и ею скользнула тень Алдоны-Юлии. И я подсчитал, что Ирене уже пятьдесят два.

— Так и будем разговаривать стоя? Садись, будешь моим гостем.

— Нет, ты будешь моим,— сказал я.— Можем поехать ко мне.

— Женат?

— Нет. Вдовец еще с войны. И дома у меня тоскливо. Лучше я отвезу тебя туда, где весело.

— У вас в Вильнюсе есть неплохие рестораны,— констатировал Чарли.— Ужинал вчера в центре. А ты меня отвези куда-нибудь за город, в какой-нибудь хлев, где подают сосиски из конины.

Это был американский, а может, индивидуальный юмор Чарли Купера.

По телефону я вызвал такси.

Мы приехали в Жирмунай.

— Вот и пригород,— сказал я.— Только лошадиных сосисок не гарантирую. На сосиски лошадей не хватает, лошадей можно найти только в школе верховой езды, в цирке и зоопарке. Ну, и в колхозах. Правда, там их держат больше из традиции, чем по необходимости.

— Агитируешь?

— Сам можешь убедиться.

К нам подбежали сразу два кельнера.

Оркестр заиграл мелодию из «Моста Ватерлоо».

— Наша мелодия,— удивился Чарли.— Вчера в ресторане девушка пела тоже по-английски. Думал — для туристов.

— Почему же. Английский у нас распространен. Я тоже ходил на двухгодичные курсы. Для владеющих. Хочешь, можешь поговорить.

— Нет. На родине хочу говорить по-литовски. Завтра уезжаю из Литвы.

— А ты не забыл язык. Так где же Айрини?

Чарли замолчал. Официант наполнил наши рюмки.

— «Охотничья»,— прочитал Чарли.— Айрини уже давно нет.

Мы помолчали.

— А тогда ты сбежал из Каунаса в ужасной спешке. Я разговаривал с твоим дядей. Он жаловался, что ты его надул.

— С лихвой получил свое. Вернул ему все, когда он прикатил в Америку. Он так быстро все распродал в Каунасе, что обрадовался тем деньгам, словно нашел их на улице.

— Оказывается, ты бываешь и филантропом,— заметил я, стараясь, чтобы голос звучал не слишком насмешливо.

Сам пил мало, но американцу подливал. Айрини для меня все равно была молодой. Ей было только девятнадцать. Когда расстаешься с человеком, время останавливается. Я вдруг вспомнил часы, которые остановились когда-то. Эти часы я так и не завел. Когда Алдона-Юлия попала в гестапо, я не хотел, чтоб часы шли. Словно это могло остановить время и гибель моей жены. А пульс больных считаю по хронометру.

— Все мы меняемся,— после очередной рюмки сказал Чарли.— Мне кажется, от жизни больше получили те, которые не гонялись за деньгами.

— Нищета тоже не приносит радости,— заметил я.

— Я не о том. И не притворяйся, что меня не понял.

— А от чего умерла Айрини?

— От чего или почему? Это разные понятия, Каролис.

«Он уже не так примитивен, как когда-то», — подумал я. Но сказал совсем другое:

— Я любил Ирену, и ты это знал. Ты ее у меня похитил.

— Может, еще скажешь, что мы из-за тебя уехали? Ты же сам видел, что богатым людям становилось жарко. Тебя в городе не было, мы даже попрощаться не смогли. Неужели ты думаешь, что Айрини бросила бы свою мать?

— И тебя, — добавил я.

— Да, и меня.

— Лучше поговорим о другом. Ты приехал как индивидуальный турист?

— Да. Немножко в Вильнюсе, немножко в Каунасе, ну и Ленинград. Я каунасец, меня в Каунас тянуло. Там для начала и побывал.

— В Каунасе хорошо кормят в ресторанах, — сказал я. — И еще там галерея Чюрлёниса, но она тебя не интересовала.

Чарли обиделся.

— Ты не считаешь меня литовским патриотом?

— При чем тут Чюрлёнис и патриотизм? — отрезал я. — Стоит сходить, конечно. Если картины не нравятся, можно восхищаться кондиционированным воздухом.

— О, эр кондишин! Вы уже умеете это делать? Жаль, что не зашел.

— Еще музыка колоколов, — продолжал я, — но надо прийти вовремя. Не всегда играют. А кормят, повторяю, лучше чем в Вильнюсе.

— Так почему ты живешь в Вильнюсе, а не в Каунасе?

— А почему ты в Нью-Йорке, а не в Каунасе?

— Ты всегда любил шутить, Каролис.

— А мне кажется, что это ты любил.

Воцарилась неловкая тишина.

У стола тут же появился кельнер. Представители этой профессии тоже отличаются интуицией.

— Что-нибудь еще?

Я заказал горячие блюда, хотя был сыт уже от закусок. Сейчас я ему покажу, как едим мы, литовцы.

— Сколько товарищей было в классе, а забыл всех, кроме тебя и того полицейского, которому ты в ресторане «Метрополь» попал бутылкой в голову.

— В плечо,— сказал я.

— Метил-то в голову. Забыл его фамилию.

— Не стоит вспоминать. Представь, забыл и я. После этого я целился в него еще раз. Из пистолета Айрини. В живот.

— Убил?

— Да. Но он бессмертен. Зло всегда бессмертно.

Я рассказал ему о случае на лестнице рядом с горой Таурас.

— Наша страна тоже воевала с Гитлером,— торжественно изрек Чарли.— А ты, смотри-ка, и на фронте побывал.

— Не совсем на фронте, но на фронте,— объяснил я, внеся еще большую путаницу в голову Чарли.

— А о каком бессмертии зла ты говоришь, если уложил этого полицейского?

*

Вот что я рассказал Чарли.

Только, конечно, другими словами. Ведь беседа происходила в ресторане, а за столом, накрытым белой скатертью, слова льются совсем иначе.

Десять лет назад самолет санитарной авиации доставил меня в крупный райцентр на консультацию.

В хорошо оборудованной больнице меня ожидал квалифицированный хирург.

— Как полет?— спросил он.

И, не дожидаясь ответа, стал излагать историю болезни. У пациента надо извлечь инородное тело, застрявшее в позвоночнике. Мужчина крепкий, пятидесяти лет, но давление повышенное, электрокардио-

грамма посредственная, а операция все-таки сложная. Раньше это инородное тело не тревожило, а теперь вот свалило человека. Можно ли оперировать при таком давлении и с таким сердцем?

— Почему не переправите к нейрохирургам?— спросил я и понял, что допустил бестактность — когда-то сам видел, как этот врач проходил практику в нейрохирургическом отделении.— Правда, ведь сами вы...

Попросил историю болезни.

Взял и остолбенел.

— Тадас Стасюкайтис,— прочитал я.

— Слышали об этом человеке?

— А что я должен слышать? Знакомая фамилия. Но ведь такая фамилия — не редкость. И имя может совпасть.

Подумал, что совпадает и возраст, но промолчал.

— Может, пойдем к больному?— спросил хирург.

— Для того и прилетел.

В опрятной четырехместной палате лежал пожилой человек. Ему можно было дать и все шестьдесят.

На меня уставились пронзительные глаза. Когда наши взгляды встретились, больной не потупился. А я отвел глаза в сторону, словно обдумывая что-то.

Обдумать, конечно, было что. Выдержит ли больной, и тот ли это человек на самом деле. За двадцать лет меняются люди до неузнаваемости.

Разумеется это был он.

— Железное здоровье у вас, Стасюкайтис,— сказал я.— Такие, как вы, сто лет живут.

Хотел добавить: «А жаль», но в палате были другие больные, а меня стеснял белый халат. Эта простенькая одежда ко многому обязывает.

Стасюкайтис ничего не ответил.

В кабинете хирурга я сказал, что оперировать, по видимому, можно и нужно. Видно, пуля сместилась, и черт знает, какие еще могут быть осложнения.

— Откуда вам известно, что это пуля? Может, небольшой осколок шрапнели? Для пули маловата.

— В данном случае — пуля, — заверил я. — Гарантирую своей профессиональной интуицией. Застреляла со стороны полости живота.

— Хорошо читаете рентгенограммы, — похвалил меня хирург. — Я как раз забыл вам сказать, откуда вошла пуля. Парню когда-то повезло.

— В него попали две пули. Вторая — навывлет. А вообще-то он мне не нравится, — сказал я. — Глаза плохого человека.

— Волшебник вы, что ли? Год назад он вернулся из тюрьмы. Насколько мне известно, получил пятнадцать лет, но отсидел одиннадцать, и его выпустили.

— Я бы такого расстрелял, — сказал я. — Но суду виднее.

Больше я не интересовался этим пациентом. Может быть, увидев меня, он даже отказался от операции. Без всякого сомнения, он узнал меня. Вдруг он не поверил в мою объективность? Или, скорей всего, давно выздоровел? Может, теперь охотится за мной? Да нет, наверно. Прилетал я в райцентр десять лет назад. Достаточно времени, чтобы принять решение.

*

Проводил Чарли в гостиницу.

Он звал зайти в номер или в бар на одну рюмку («на один дринк», как он выразился), но у меня уже не было желания. Сослался на неотложные дела.

К концу лета вечерами бывает прохладно. Но этот вечер выдался особенно теплым. Почему же мне вспомнился лес в Субартонис? Может, потому, что когда-то я грелся на солнышке, а комиссар отряда сказал, что никакой гестаповец не был убит.

Комиссар говорил правду.

Когда он объяснял мне это, ласково светило осеннее солнце, а сейчас был летний вечер (пускай и в конце лета), и эти мгновения связал отсидевший в тюрьме гестаповец, вынырнувший из моей памяти.

Я старался побыстрее выбросить его из головы. Не обиделся ли Чарли, что я — пускай непрямо — сопоставил его со Стасюкайтисом? Все-таки Чарли у нас в гостях, а гостей оскорблять не принято. А я ведь сказал: «Чем вы вообще отличались? Вас обоих погубило стремление к богатству. Ты — сын богача, он — прачки, и оба вы стремились к одной цели. К богатству любой ценой. Чего же вы достигли? Он потерял одиннадцать лет и здоровье, и его прошлое забрызгано кровью. А ты? Ты тоже потерял самых близких людей. Одиноким ты вступаешь в старость, в преддверие смерти. Не сделав ничего хорошего. Не оставив даже приличной памяти о себе».

Нельзя было говорить такое гостю. И вообще, это звучало как нравоучение. Но разве можно требовать от врача, чтобы он говорил как Иоанн Златоуст?

Чарли тогда пробормотал: «Ты говоришь правду. Но ведь человек не всю жизнь одинаков. Как врач, ты знаешь, что каждые семь лет в теле человека меняются все клетки. Значит, я уже не тот, что был тогда».

Не дурак сейчас Чарли. Но я все равно ему не поверил.

*

Ночью мне снилась женщина. Не мог понять, кто — Айрини или Алдона-Юлия.

Во сне не потребуешь удостоверение личности.

С эротикой этот сон не имел ничего общего, хотя во сне я тоже был молод.

Да, мне приснилась Алдона-Юлия. У нее было право на первое место в моей жизни. Но она тактично растворилась в воздухе, ни в одном спектакле Жизель так плавно не возвращается в свою могилу, как Алдона-Юлия.

Айрини я тоже увидел.

Она лежала на постели, а на ночном столике был рассыпан порошок. Героин? ЛСД и прочая отравы тог-

да еще не были изобретены. Да и те наркотики, которые уже появились на черном рынке, могли приобрести только богачи.

Муж Айрины был богат. Как в кино: толстый, старый, некрасивый. А вокруг молодой красивой жены увиваются одни аполлоны, сошедшие с афиш кинозвезды (мужского пола), скупающие донжуаны, профессиональные совратители.

Кому мстила Айрина, изменяя с каждым, кто попался под руку? Мужу? Чарли? А может, отчасти и мне? За мою нерешительность, за то, что я бросил ее на волю матери и Чарли?

«Не надо было травиться, Ирена,— говорю ей,— это ведь сон, и ты можешь еще проснуться. Давай остановим киноленту! Когда ты принимаешь смертельную дозу, у тебя вздрагивает рука, и ты рассыпаешь порошок. Что ты наркоманка — ничего страшного, мы тебя вылечим. Гипноз делает чудеса. Правда, ты знала много мужчин — ну что ж, иногда я буду ревновать, но от ревности тоже вылечиваются. Только живи, Ирена. Все, о чем рассказал мне Чарли, ложь, не правда ли?»

Айрины не просыпается, и в сон снова вступает Алдона-Юлия. Я хочу спросить, как она погибла, но слова, которые произношу, беззвучны. Во сне так бывает. И еще не проснувшись, я понимаю, что это сон.

Проснулся и почувствовал, что ненавижу Чарли.

И вспомнил, что утром должен проводить его в аэропорту.

Сувениры? Готовил для латышских коллег, — министерство намеревалось послать меня в Ригу, на симпозиум, но поехал другой. Есть из чего выбрать для Чарли.

Смотрю на будильник.

В моем распоряжении еще два часа.

Звонок меня разбудит. С партизанских лет я сплю очень чутко.

Сейчас уже погружаюсь в сон без сновидений. И моя ненависть к Чарли тускнеет.

Через несколько дней после проводов Чарли, в уверенности, что мы больше не встретимся (об этом я и не жалею), я снова перенесся в прошлое.

Было воскресенье, самое начало осени. Завтракая в ресторане, я встретил свою сокурсницу. Давным-давно, когда я работал в прозекторской, она в день поминовения усопших собирала пожертвования за упокой душ умерших в тюрьме заключенных.

Ведь мы-то препарировали тогда тела арестантов.

Сокурсница и теперь держалась молодцом, седые волосы только украшали ее — лицо оставалось совсем юным. И ее муж, тоже врач, выглядел совсем бодро. Его я знал по конференциям и семинарам.

— Поехали в Алитус? — предложила сокурсница. — Мы-то со вчерашнего утра шатаемся по Вильнюсу. Даже ночевали здесь.

— В Субартонис отвезете?

— Конечно. Шашлык там зажарим. У озера Пакелинис.

— Завтра мне на работу.

— Поедешь утренним автобусом.

Их «Москвич» мчался довольно быстро. И шоссе было отличное. Я вспомнил, как мы с Робертом Хаберландом тряслись на ухабах в санитарной машине.

И еще вспомнил, как эта солидная врачиха, тогда юная студенточка, собирала пожертвования.

И как Пятрас Старкус агитировал жертвовать не на поминовение душ, а для живых заключенных.

— Старкуса помнишь? — спросил я. — Пятрас Старкус. Не закончил факультет, сметоновцы не дали.

— Смутно, — ответила она. — Почему он так тебе запомнился?

— Когда вижу тебя, Уле, вспоминаю и его.

— Не знал любовных историй своей жены, — сказал ее муж, сидящий за рулем. — Что же там было, Уршуле?

— И я не помню, Кястутис. Кроме того, Каролис любит сказки рассказывать. Так что же с этим Старкусом?

— Ничего. Погиб, так и не успев стать партизаном. На планере врезался в дерево в вырубке Руднинской пуши.

— На планере?

— Да. Планер, конечно, был прикреплен к самолету. И такие путешествия бывали, Уле.

— Из России летел?

— Да.

— А ты как в партизаны попал?

— Длинная история. Партизаны едва меня не расстреляли. За шпика приняли. Их человек меня на дороге остановил, подвез, и я чудом не распрощался с головой. И знаешь, кем был доверенный партизан? Старостой! Не каждый тогда мог на лошадке разъезжать.

Невелика Литва... Алитус показался мне почти рядом, под боком у Вильнюса.

Мои коллеги жили в сказочном коттедже с теплицами, фонтаном — на холме, у самого леса.

Когда они предложили пообедать у них в Алитусе, я возразил:

— А кто обещал меня отвезти в Субартонис?

— Может, попозже?

— Вечером? Нет, Уле, давай без обмана. А то пешком пойду. Только сердце у меня неважное. Освобожден от воинской повинности.

Как знать, на самом ли деле тогда у меня сердце шалило, но такую невинную ложь можно себе позволить. Тем более, что теперь сердце и правда сдает. Да вроде и пора.

«Москвич» снова едет по местам, которые каждый раз кажутся мне новыми и незнакомыми.

Уле помогает мужу жарить шашлыки. В выкопанной канавке тлеют угли. На шампур нанизаны куски мяса.

Мы — у озера Пакелинис.

На холмике, среди деревьев, кладбище деревни Субартонис.

Дальше — сама деревня. Сегодня я не пойду туда. В музее писателя Креве наверняка все те же скромные экспонаты.

А озеро отливает зеленым, коричневым, черным цветом, смотря откуда на него глядишь.

С трамплина прыгают в воду юные спортсмены.

Им не холодно, хотя лето уже прошло.

Я опускаю руку в воду. Терпимо.

Шашлык зажарят без меня.

Но самое красивое озеро, какое я только видел, это небольшое озерцо Линмарке.

Говорю друзьям, что скоро вернусь, и по лесной тропинке иду к Линмарке. Это совсем рядом.

В другой стороне — озеро Кампинис. Тоже чудесное.

Пакелинис — между этими двумя озерами.

Но для меня чудесней всех — Линмарке.

На кустах успели созреть и осыпаться последние ягоды. Хотя они растут в лесу, не дикие это кустики. Когда мы партизанили, ягоды были сладкие. Разве что теперь одичали.

И орешник.

И золотые листья под ногами.

Вот я и у Линмарке.

Роберт Хаберланд, если ты жив, приезжай в Литву. Ведь ты не можешь быть фашистом, если антифашистом стал еще в военные годы. Покажу тебе озеро, которое увидел впервые благодаря тебе.

А может, оно кажется красивым только мне?

Круглое, даже чуть овальное, заросшее камышом или другими травами, скоро оно совсем исчезнет, если этого пожелают мелиораторы. Исчезнет и без их помощи, если никто не вычистит дно этого озера,

Но кто станет его чистить?

Высокие сосны окружают озеро и отражаются в воде с точностью фотографии.

Плещется рыба. Господи, есть еще жизнь в этом озере!

«Товарищи бойцы, Советская Армия гонит немецких оккупантов на Запад...»

Канонада все ближе. Перекатилась через нас. Уже на западе.

И на озере снова тихо.

И жизнь продолжается.

А мы браконьерами не были, хотя нередко хотелось ухи. Граната предназначалась для врага, не для рыбы.

И взрыв гранаты не должен был привлечь врага.

Зеленые озера под Вильнюсом? Красота. Озеро Рипца на Кавказе? Просто чудо. Морское Око в польских Татрах? Волшебство.

Все это я видел.

И не поменял бы на Линмарке.

Поезжайте и взгляните сами. Знаю, что скажете: «Таких озер в Литве много. Ничего особенного».

Если будете смотреть глазом фотообъектива.

Ведь вы не увидите в воде лица партизан, Алдону-Юлию, мебели красного дерева, Ирену, акробатов цирка Труцци, пепел сгоревшей Аниты.

Вы не увидите там мою юность.

Красивой она не была.

Но это была юность. И именно моя.

Что ж, наверно, у каждого есть свое озеро. Может, оно и не в лесной чаще. Может, оно в чистом поле. А может, оно совсем крохотное, как бокал вина.

А может, оно еще меньше? Оно ведь может быть размером со слезу.

*

— Доктор Тулейкис, а-у!

Меня уже ищут.

Уле — хорошая хозяйка. Она и ее муж.

Нельзя опаздывать. Нельзя огорчать хороших людей.

Деревья снова скрывают Линмарке.

Я снова у озера Пакелинис.

— Ну, как Линмарке?— спрашивает Уле.

— Таких озер в Литве много,— говорю.— Ничего особенного.



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Часть первая. Викте</i>	5
<i>Часть вторая. Анита</i>	32
<i>Часть третья. Ирена</i>	202
<i>Эпилог, или Алдона-Юлия</i>	307

ИБ № 735

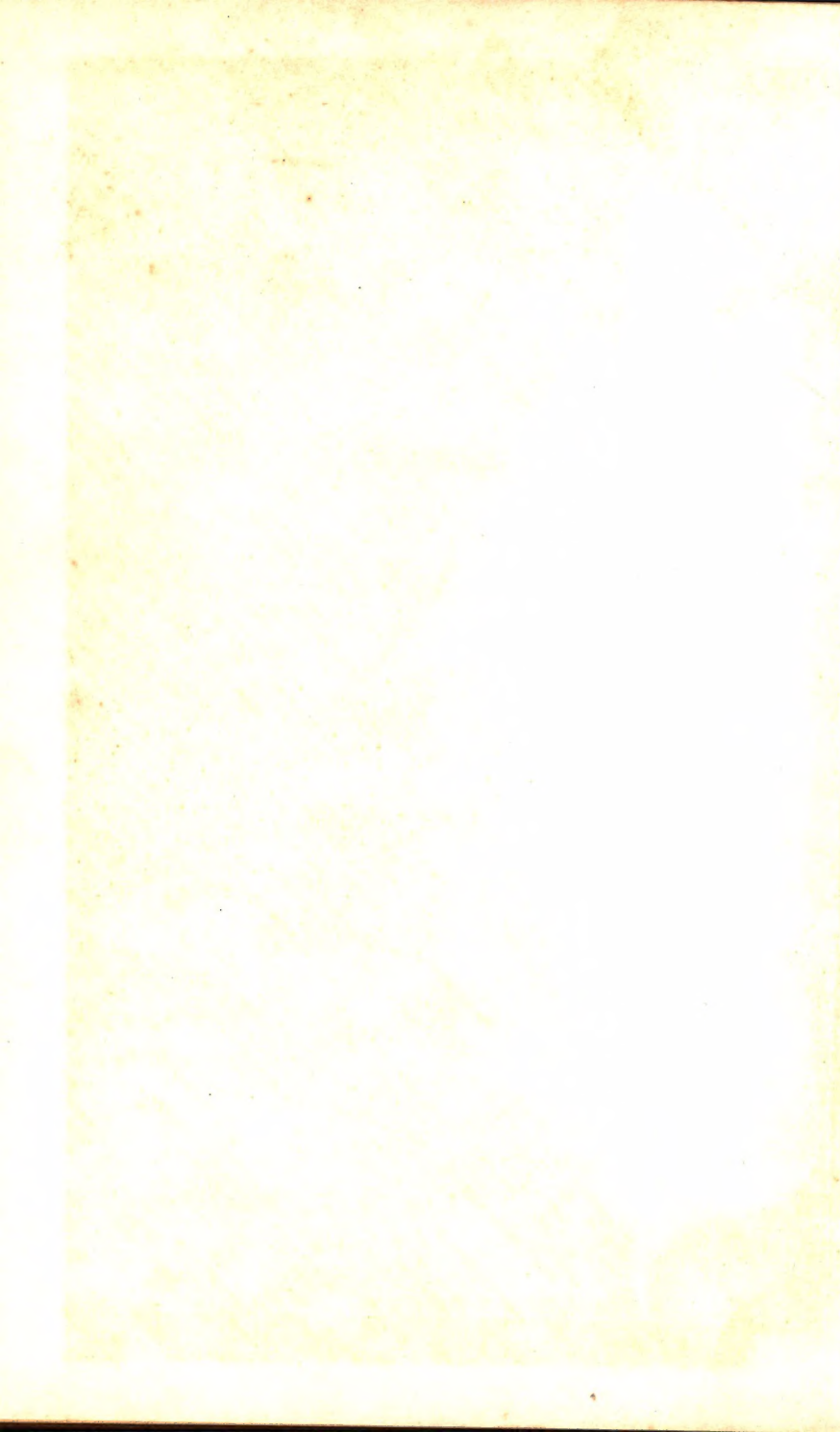
В. Сириос-Гира. РАЙ КРАСНОГО ДЕРЕВА * Редактор В. Чепайтис. Художник В. Калинаускас. Техн. редактор В. Лямбутене. Корректор Л. Ленгертене * Сдано в набор 3.II.1977. Подписано к печати 29.III.1977. Издательский № 8645. Типографская бумага № 2, формат 84×108¹/₃₂ — 5,625 бум. л.=18,9 печ. л.; 17,4 уч.-изд. л. Тираж 30 000. Заказ № 660. Цена 1 руб. 22 коп.

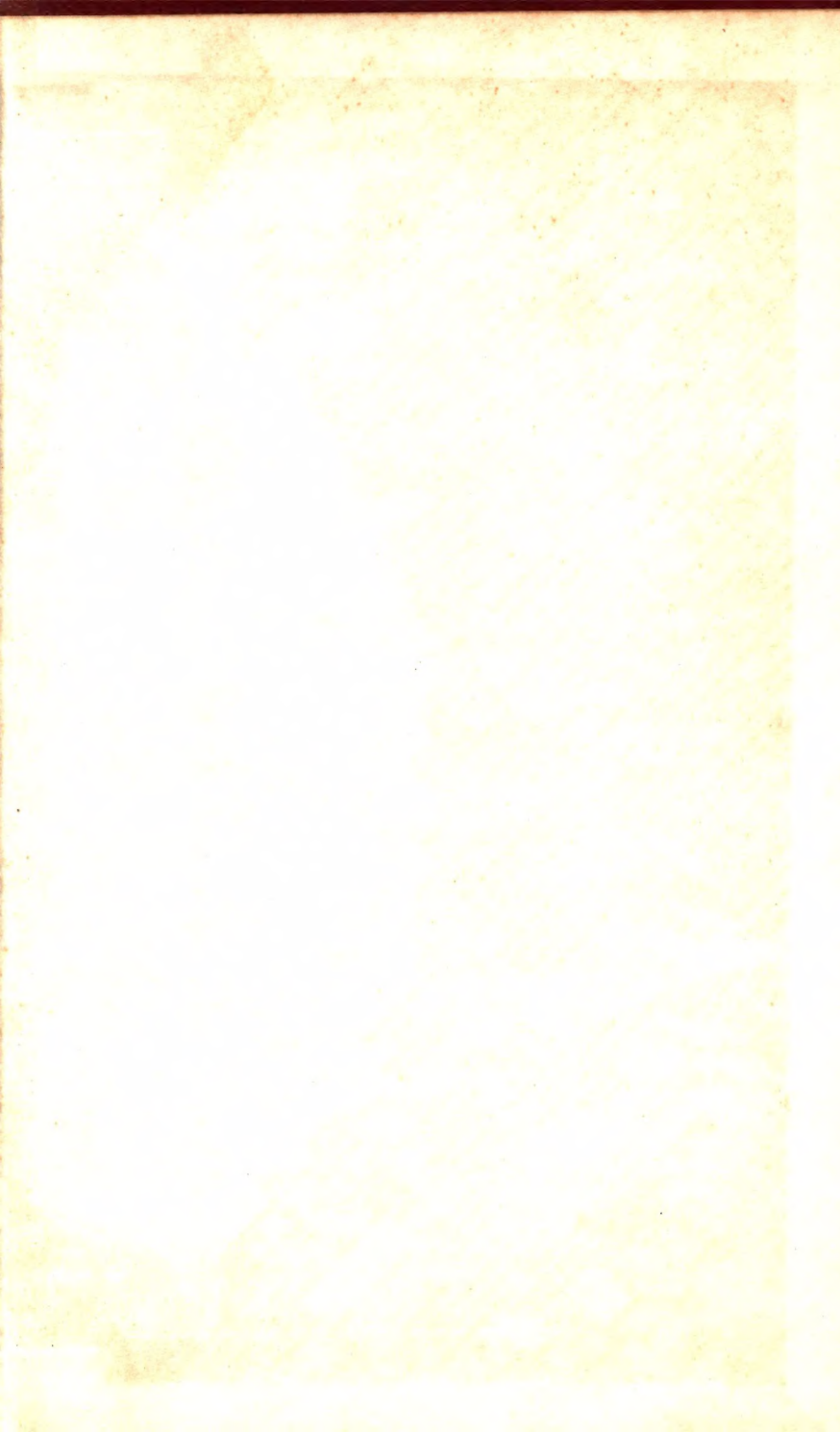
Издательство «Вага», Вильнюс, пр. Ленина 50
Отпечатано в типографии «Вайздас», Вильнюс, Страздялė 1

С $\frac{70303-177}{M852(10)-1977}$ зак.— 77

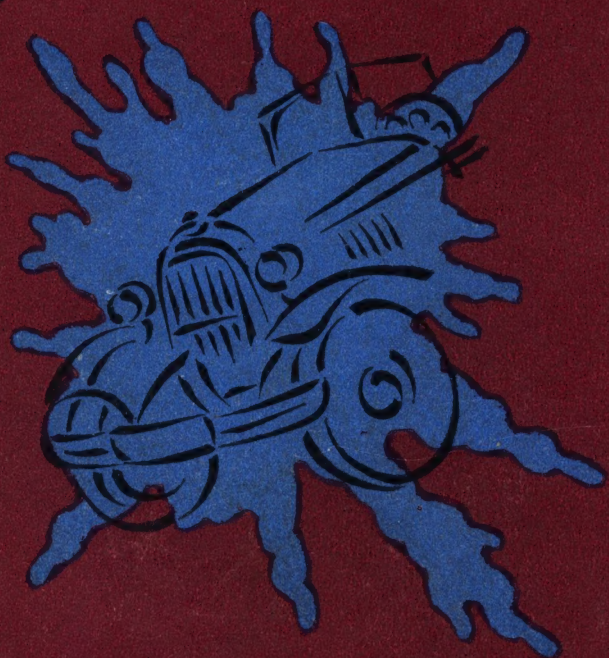
Л 2
С 40







Цена 1 руб. 72 коп



БНТАУТАС - ТМФА